

«Без цензуры» № 71

Александр ВИН
Евгений Савченко
Сергей Калабухин
Георгий Кулишкин
Сергей Игнатъев
Павел Рыков
Алексей Караванов
Дарья Странник
Игорь Книга
Илья Цой
Игорь Бézрук
Эрих фон Нефф
Карен Мирó
Вячеслав Кушнир
Дмитрий Учитель
Яков Курдяпин
Вадим Волобуев
Тимофей Николайцев

«Без цензуры»

UNZENSIERT № 71

СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЛИТЕРАТУРНЫМ КЛУБОМ
ASTRA NOVA



EDITA

UNZENSIERT

№71

Межрегиональный проект

www.editagelsen2023.com

2024

Серия альманахов UNZENSIERT ("Без цензуры")
была основана в 2010-м году
в целях ускорения редакционной обработки
авторских материалов

Тексты публикуются в авторской редакции

Литературная редакция:

Сергей Булыга, *Евгения Халь, Сергей Катухов, Мария Шурыгина*
Редактор по связям с общественностью — Кирилл Берендеев

Графика обложки — pexels-pixabay-65911

Издатель и главный редактор — Александр Барсуков

Copyright © 2024 bei Autoren
Alle Rechte in dieser Ausgabe vorbehalten

ISBN 978-3-910935-40-2

Gesamtherstellung Edita Gelsen e.V.
logobo2023@gmail.com

Printed in Germany



РАССКАЗ

Александр ВИН

Калининград

ДВА БРАТА и «КРАСНАЯ РОЗА»

В январе сорок шестого года токарь Славка Коровкин уехал по комсомольской путёвке в бывший немецкий город Кёнигсберг и там пропал.

Успел только со станции послать домой, маме, телеграмму о том, что добрался он до Кёнигсберга хорошо, что идёт устраиваться в общежитие, прописываться.

И всё.

Больше Славку никто не видел...

В тот год весна в Москве получилась неожиданно тёплой.

Черёмуха собралась цвести недели на две раньше обычного, веселее как-то получались дела у людей, на улицах смех стал слышаться чаще, казалось, что и всё остальное вокруг становится каким-то добрым и правильным.

— Варька, ты уроки сделала?

— Да, сразу же после школы села, вечером ещё заданную книжку прочитаю. А что?

— А картошку почистила?

— Так она же закончилась, ещё в понедельник.

Мишка огляделся, почесал затылок.

— Тогда... Пошли маму с работы встречать, хочешь? Там в заводской столовой все вместе поедим, а дома вечером ещё и чайку попьём... Согласна?

— Ура! Я очень даже согласная!

Маленькая, шустрая Варя подпрыгнула на диване.

— Пошли!

От их небольшого кирпичного дома в Тёплом переулке до шёлко-тацкого комбината «Красная Роза», где работала мама, они дошли за привычные пять минут.

Мишка шагал молча, с улыбкой рассматривая начинающие вовсю зеленеть деревья; Варя болтала, то и дело принималась скакать на одной ноге.

— А ты почему всегда раньше мамы с работы приходишь?
— Так положено. У нас на комбинате для учеников разных профессий предусмотрен сокращённый рабочий день.

— А долго ты будешь учеником?

— Пока не научусь...

— Скоро научишься?

— Дела, Варька, дела мне предстоят, важные... Как только с ними справлюсь, так и настоящим рабочим стану.

— Ой! Я же тебе тоже очень важное про себя не рассказала!

— Школьное?

— Да!

Вокруг них всё тоже было важным: и красивые деревья, и вечернее солнце за ними, и ровные расчерченные «классики» на асфальте.

Варя ненадолго отвлеклась, умело попрыгала в «классиках».

— Нас скоро будут принимать в пионеры!

— Ого, здорово!

— На следующей неделе будет собрание совета дружины. Ты придёшь в школу, когда меня принимать будут?

— Отпрошусь.

— А тебя отпустят?

— Обязаны отпустить! Я потребую. У меня два отгула есть.

Варя замолчала, шевеля губами.

— А у меня секрет есть. Ты никому не скажешь?

— Не расскажу.

— Точно?!

— Точно, не беспокойся.

— А то, если секрет узнают другие люди, то нашу маму могут сильно наказать.

Варя бережно достала из кармана белую тряпочку, в которую была завернута другая, красная.

— Вот что у меня есть!

— Ну и что? Обыкновенный галстук. У меня такой же был, когда меня в пионеры принимали, наш, розовский. В заводском магазине мама с отцом мне купула, я помню.

— Ничего ты не понимаешь! Этот галстук необыкновенный! Он сделан из той самой ткани, которую мама на своем станке, своими руками, выткала, вот! Мама рассказывала, что недавно у них в цеху была наладка станков, ну, и часть ткани, которую они делают для пионерских галстуков, немножко там замяло, её отрезали, вроде как она по всем правилам стала непригодная. Вот мама и отстригнула ножницами кусо-

чек этой никому не нужной ткани, принесла домой, сама обметала мне на швейной машинке. Мой пионерский галстук сделала моя мама! Только ты никому об этом не говори — это тайна!

— Никому не скажу, не бойся.

— Обещаешь?!

— Честное комсомольское.

Варя вспомнила, нахмурилась. Порылась в карманчиках платья, нашла, достала небольшую картонку.

— Вот, ещё и эту бумажку мама мне принесла, она артикул называется. Я её на торжественной линейке для всех прочитаю, когда меня в пионеры принимать будут. Нас учительница предупредила, что всех октябрят обязательно попросят рассказать какую-нибудь правдивую историю про пионерский галстук! Или героическую... Я и прочитаю всем октябрятам эту бумажку, ну, артикул. И расскажу ещё как наша мама рекордно работает на множестве ткацких станков одновременно и делает самую лучшую ткань для пионерских галстуков! Мамина история самая правдивая и героическая!

— Прочитай мне, пока идём.

— Хорошо, слушай.

С выражением, громко, не обращая никакого внимания на прохожих, Варя начала читать.

— Артикул! Пионерские галстуки! Ширина ткани — сто один сантиметр! Основа нить ацетатная крашеная, номер девяносто! Уток нить ацетатная крашеная, тоже номер девяносто! Переплетение полотняное! Проробка рядовая, перевивка номер шестьсот! Вот так! Все миллионы советских пионеров должны знать, что галстуки для них делает моя мама! И что она у нас самая лучшая...

Варя замолчала, отвернулась.

— Ну, ну, не нунь... Ты молодец, Варька, что такое придумала. Нашей мамой можно гордиться.

Огромные старинные краснокирпичные здания ткацкой фабрики «Красная Роза» даже на расстоянии гудели движениями тысяч станков. Из высокой трубы шёл серый дым, откуда-то снизу — белый, пушистый пар.

У проходной они ждали всего минутку.

— Мама! Мамочка!

Нетерпеливая Варька бросилась в толпу женщин, выходящих из стеклянных дверей.

Столовая, устроенная в главном здании заводоуправления, работала для всех рабочих смен, почти круглые сутки.

Варька звонко закричала на весь просторный зал, совсем пустой в это неурочное время.

— Я буду котлету и компот!

Они поставили подносы на ленту, прошли вдоль раздатки, Мишка шёл последним, задержался возле кассы, оплатил.

— Мама, Мишка у нас совсем как взрослый! Получку уже получает! И талоны, и рабочие карточки! Он же тебе все деньги отдаёт?!

— Да, взрослый...

Мама устало улыбнулась.

Сели за свой привычный столик у большого окна.

Мишка собрал подносы, протянул сестрѐнке бумажный кулёчек.

— Держи, егоза! Это тебе и маме.

— А что это?!

Варька спрашивала, а сама уже нетерпеливо раскрывала бумажку.

С восторгом захлопала ресницами.

— Ой, пироженки! Полоски с помадкой! И тебе, мама, смотри!

Достала две простенькие пироженки из песочного теста с розовой помадкой поверху. — А тебе, Мишка?! Ты почему себе не взял?

— Не хочу.

Мама улыбнулась.

— А ты поделись с братом, отломи ему кусочек. И я отломлю ему тоже.

— Держи, Мишка! Не стесняйся. Вкусно же!

Все вместе смеялись, Варька стучала ложкой по тарелке, тараторила, рассказывала про школу и про знакомую ей серую кошку.

На вечерней летней улице было тепло и тихо.

— Не спеши, пойдѐм помедленнее, прогуляемся, я что-то немного устала...

Мишка кивнул.

В безветрии высокие тополя и сами не шумели, и хорошо скрывали далѐкие звуки.

Варя умчалась по пустынному тротуару вперѐд, торопясь догнать до перекрёстка грузовик с мебелью.

— Ну как там, мам? Что они сегодня говорили? Ты звонила им?

— Звонила.

Мама шла устало, безо всякого внимания и интереса смотрела себе под ноги, теребила в руках косынку.

— В милицию?

— Да, в милицию.

— Ну и что?

— Забежала на минутку в перерыве к себе в профком, Галина дала оттуда позвонить, по её телефону. Времени было в обрез, много не говоришь... Ну, там, в милиции, дежурный, сказал, мол, пока ничего нового. Я отпросилась у мастера, на послезавтра взяла отгул, сама схожу в отделение, поговорю с начальником подробно, может какие-то мелочи от меня потребуются, сведения...

— Я тоже заходил в заводской комитет комсомола, там девчонки говорят, что ещё раз запрос в Кёнигсберг написали, в парткоме согласовали, по полной форме, и послали.

С радостным криком навстречу им бежала раскрасневшаяся Варя.

Мама поспешно замолчала.

— Ладно, Миша, потом, дома обо всём поговорим...

Варя подскочила, запыхавшаяся, дёрнула брата за рукав.

— Мишка, а ты в нашу школу больше никогда не пойдёшь? Всегда только работать будешь?

— А на комбинате тоже есть школа, только она называется рабочей, фабрично-заводской. Мы теперь со знакомыми ребятами там учимся. И работаем. Ты грузовик-то догнала? А то я заговорился с мамой, не заметил.

— Догнала, ещё как! Я быстрее всех в классе бегаю! И пою тоже громче всех.

Из-за угла неловко вывернулся и сразу же попал навстречу им дядька-инвалид, в пиджаке с медалью, на тележке со скрипучими подшипниками.

Он был ниже их, смотрел только на асфальт и с угрюмым молчанием толкался вперёд деревянными, обмотанными тряпками, утюжками.

Мама немного отстала от Вари и Мишки, пропуская инвалида, поднесла косынку к глазам. Вытирая слёзы смотрела на детей.

Дома Мишка сразу же уговорил сестрёнку лечь в комнате на диван с книжкой.

— Я её читал, там на сто двадцатой странице будет самое интересное...

Сам умылся, причесался, в майке, сел за кухонный стол, положил руки на стол.

Мама, сложила остатки хлеба в небольшую кастрюльку, накрыла её крышкой и убрала в шкафчик.

Задумалась.

Обернулась, заметила Мишку.

— Ты чего это?

Мишка кашлянул, пристукнул кулаком по столу.

— Мама, я всё решил...

В этот день Мишка действительно всё решил и сделал огромное дело.

С самого утра он, ещё не вставая к своему токарно-винторезному станку, безо всяких лишних церемоний поднялся на второй этаж, к двери директора фабричной школы.

Их директор Иваныч был небольшим, крепеньким фронтовичком-здоровячком, с коротким седоватым ежиком и смышлёными энергичными глазами, полными доброжелательного любопытства.

Иваныч обращался со своей рабочей пацанвой как отец-командир со вверенным ему рядовыми. На работу он ходил в военной форме со следами от споротых погон, с колодкой наградных планок и ввинченной в гимнастерку единственной медалью, на которой было написано «Гвардия».

— Чего тебе? Со станком проблемы?

— Не-ет, со станком всё в порядке... Мне уехать надо.

И в комитете комсомола Мишка действовал тоже решительно.

Дверь открыл без стука, закричал прямо с порога.

— Давайте мне направление! Я тоже хочу ехать туда, куда вы послали моего брата! На тот же самый завод! Он токарь и я токарь.

Мишка заранее знал, что будет грозно ругаться на секретаря их комсомольской организации, на всех, кто будет в комитете, и станет размахивать руками.

— Я никого здесь не прошу! Я ответственно требую, чтобы вы меня направили в Кёнигсберг! Там же нужны рабочие специальности, а ещё... Многие здесь, на комбинате, на нашей улице, во дворе, считают, что мой старший брат Славка испугался в Кёнигсберге трудностей, скрывается от работы и занимается там нехорошими делами. Но это же совсем не так! Я поеду туда и сам узнаю про всё, что там с ним произошло! Я буду работать, буду искать в Кёнигсберге Славку и докажу, что он честный человек! Он же сильный, очень сильный, он гирию тридцать раз правой рукой поднимает! Просто с ним сейчас что-то случилось и ему нужна моя помощь. Я в этом уверен! Оформляйте мне комсомольскую путёвку. Пишите документы, я от вас никуда без документов не уйду.

Мишка решительно поставил стул на середину кабинета и сел.

Из угла испуганно пискнула знакомая девчонка.

— А ваш Иваныч что? Он знает? Он согласился?

Иваныч знал.

Ещё тогда, утром, после разговора, он крепко взял Мишку за плечи.

Отодвинул от себя, посмотрел прямо в глаза.

— Правильно решил, сынок! Своих бросать нельзя, ни в бою, ни в жизни... Будет тебе там трудно — сообщай. Поможем, чем можем, и тебе, и Славке пропавшему, и матери твоей с сестрёнкой. Делай своё дело. Успехов!

— Вот так, мама.

Мишка ещё раз стукнул ладошкой по столу.

— И не плачь, пожалуйста. Я уже взрослый, сам отвечаю за свои дела и поступки!

— Молчи уж, взрослый...

Мама тихо ревела, вытирая глаза передником.

— Одного убили, второй пропал, теперь вот третьего неведомо куда своими руками отправляю... Ты хоть о нас-то с сестрёнкой подумал?! Варя же ума лишится, если и с тобой что нехорошее там получится... Не уезжай, Миша, не уезжай, а?!

Подошла близко, близко, обняла тёплыми руками сына, погладила по кудрявому чубу.

Упрямый.

Как отец...

Евгений Савченко

Ростов-на-Дону

«НАПОЛЕОН И ФЕДЯ»

Они пересеклись в интернете. На одном из бесчисленных сайтов, где знакомятся люди, которые давно заслужили и желали жить с некоторой порой для себя самым естественным и полноценным образом.

Пересеклись, заметили друг друга...
Познакомились...

— Федор, — представился он.

— Без отчества? — написала она ему.

— Вам можно без, — ответил он.

— А можно Федя? — уточнила она.

После некоторой паузы он ответил:

— Вам можно.



- Вы не сразу ответили. Раздумывали, разрешать или нет?
- Мне надо было глазки закапать.
- Проблемы с глазками?
- Никаких!
- А капаете зачем? Для профилактики?
- Да. У меня линзы стоят.
- Поняла.

Так у них началась переписка. Быстро проявилась схожесть позиций в глобальных видах на эту часть бытия, что добавило обоим доверия и взаимопонимания. Обычно спрашивала и делилась она, Федя соглашался и отвечал. Рассказывали и говорили о простом и разном. Дни общения незаметно переросли в недели... Незаметно миновал месяц. И обоим вместе вдруг стало ясно: а ведь хорошо бы встретиться, поглядеть друг на друга и сблизиться, если всё так ладно.

Но сомнения не оставляли её душу. И она отважилась посоветоваться со старшим сыном:

- Ну, вот... поддалась твоим... познакомилась с человеком.
- Молодчина, мама! И как?
- Переписываемся в сетях. Даже телефонов пока не давали...
- Проблема в чем?
- Вроде решили встретиться...
- Вроде или решили?
- Разговора конкретного не было, но, можно сказать, решили.
- Чудесно. Где, что? Помощь нужна? Говори, какая?
- Помощи точно не надо... Думаю, у меня. Мне так спокойнее.
- Раз спокойнее, так и делай.
- Но... как-то беспокойно...
- Перестань. Следуй совету великого полководца...
- Суворова?

— Александр Васильевич, конечно, великий, но не он в данном случае.

- А кто тогда? Может этот... на коне в Москве?
- Наполеон Бонапарт, мама.
- Хотела же сразу сказать! И что он рекомендует?
- Главное ввязаться в драку, а там будет видно... И это не только

про сраженья, поверь.

- Так ты считаешь... связываться?

— Нет, ввязываться. А там видно будет. Иначе мечты останутся мечтами, желания желаниями, одним словом, всё так и останется. И уже навсегда. Безысходная философия.

После такого разговора она сама написала Федору про встречу. Ответил он тут же:

— Я за! Сам хотел на днях поднять вопрос... А когда? А где?

— Мне сначала хотелось бы услышать мужское мнение, тем более если мысли были...

— Я думаю, правильной будет не у меня... При встрече, объясню.

— Удивительно, но я так же думала — лучше у меня.

— А вот не поверишь, я сразу заметил, мы подходим, потому что одинаково думаем.

— Тогда предлагаю пятницу... Впереди два дня для раздумий и подготовки. Часов... в семь.

— Никаких раздумий, гут.

— Договорились. Номер телефона отправляю... Соответственно жду в ответ... Ну, тогда auf wiedersehen, коль вы окончательно перешли на немецкий.

— Ух, ты! Даже по-немецки!?

— Итак, пятница, в семь.

Жизнь научила её быть деятельной и практической. Сразу занялась меню. Стол должен быть с одним главным блюдом. Разумеется, мясным. К нему набор из овощей, ненавязчивый салат, немножечко сырно-копченной нарезки, ну и десерт. По десерту она решила спросить Федора, больше для порядка, убедиться, что желание у него не переменилось.

— По десерту... Испечь небольшой пирог с ягодами? Или...

— Или даже не думай! — перебил её Федя. — Это за мной и шампанское. Забыл спросить, ты сладкое или полусладкое?

Она подивилась такому бесцеремонному переходу Федей на «ты», при обсуждении выбора спиртного, и написала:

— Знаете, Федор, я предпочитаю полусухое.

— Есть и такое?

— До сих пор было.

— Значит будет и у нас.

Деланная уверенность Фединых обещаний её не успокоила — скорее, насторожила. Выпить у неё всегда что было, а вот десертом посчитала нужным подстраховаться, и в магазине при «Интуристе» выбрала четыре оригинальных пирожных.

Немного заботило главное блюдо: из какого мяса. Но и эта забота отпала сама собой. Сын был в гостях у старых друзей-фермеров на Ставрополье, где ему «на дорожку» вручили домашнего гуся и утку. И то, и другое он привез ей. Утка с розмарином напрашивалась сама со-

бой, все ингредиенты были в наличии. Сыры, копчености для нарезки — дело одного часа, магазинчик «Мясо-колбасы-сыры» через три дома.

В пятницу в нескольких минутах после шести раздался звонок от Феди.

— А это я...

— Слушаю, Федя.

— А мы едем...

— А сколько вас?

— Двое...

— Второй кто?

— Сын.

— Его что, не с кем на вечер оставить?

— Есть с кем, с невестой...

— Тогда не понимаю.

— Он мне помогает...

— В чем?

— Добраться и вино с конфетами купить.

— А самому сложно?

— Ну, почему... Справился бы и сам... Наверно.

— Так в чем дело?

— Он сам вызвался помочь. Глазки закапал и говорит, папа, я тебя отвезу и купить все помогу.

— Внимательный сын!

— Очень внимательный. Он у меня архитектурный закончил... Теперь жениться хочет.

— Вы уже ко мне едете?

— Конечно! Только вино купим...

— Называется, начать и кончить. — пробормотала она.

— Что? Не расслышал...

— Говорю, спасибо, что предупредили. Будете задерживаться, звоните.

— Мы не опоздаем!

— Очень бы хотелось.

Она пошла взглянуть на утку и приступить к нарезке. У неё все шло по плану. Последние двадцать минут перед семью часами были отведены на спокойное переодевание и легкую корректировку косметики. В парикмахерской она побывала ещё до обеда.

Звонок Феди её всколыхнул и насторожил, но не отменять же встречу за... сорок две минуты до начала? «Что будет... кто будет и как будет, то и будет. Наполеон говорил, что главное связаться... нет, как-

то по-другому... Ввязаться! А там будет видно. Вот именно! Великий полководец зря болтать не станет.» — старалась успокоить себя она. И тут же подумала некстати: «Наполеону хорошо было, он мужик. Но я-то женщина!»

Стол был накрыт, только утка держалась в теплой духовке. Перед тем как отправиться на вечернее переодевание, позвонила Феде. Телефон не отвечал. Она присела на стул у зеркала в спальне. Кажется, сюжет закручивается... В этот момент зазвонил телефон.

— А это я! — услышала она радостный голос Феде.

— Я же просила предупредить...

— А я что делаю?

Она поморщилась от неуместной остроты.

— Вы где?

— Стоим у магазина, а тогда у кассы были. Расплачивались. Сын на себя всё взял.

— Я уже поняла. Федя, а можно дать ему телефон?

— Легко... Сынок возьми... поговори, пожалуйста.

— Добрый вечер! — услышала она.

— Надеюсь. Вы по времени можете ориентиры дать? У меня же кухня...

— Да-да. Извините, с вином проблемка... Не сразу нашли.

— Не брали бы, или что есть...

— Что вы!... Папа так не может...

— И?..

— Взяли такси. Тут езды 15-18 минут... Если бы папа предупредил заранее насчет сорта вина, я бы... а он бумажку потерял, а так забыл. Извините, машина подъехала... Папа! Ты куда?! Женщина, не толкайте его, он с вами не поедет... Папа, эта наша... Извините, мы с машиной немного напутали...

— Поняла, поняла... Не потеряйте папу.

— Постараюсь...

Приехали они через двадцать семь минут.

— Мы недооценили пробки в час пик, — виновато сказал сын, — Извините, пожалуйста.

— Об этом можно было догадаться, — немного растерянно произнесла она. — В конце концов у меня спросить...

Федя растерянно глянул на сына.

— Сынок, мы виноваты?

— Ещё как! Вот... пожалуйста... — он передал ей пакет. — Тут вино и... другое. Ради бога, простите. Мне следовало повнимательней быть...

Она взяла пакет и невольно рассмеялась:

— Федя! Ну, а цветы... Такие прекрасные розы, а вы их в пакет спрятали...

— Мой опять промах! — вступился за папу сын. — Папа, вынь... хотя, чего теперь. Я убегаю. Хорошего вечера! Папа, постарайся быть хорошим и понравиться... И не забывай — ты не дома!

Последние слова он добавил, уже сбегая по лестнице.

— Ладно, заходим, раздеваемся... Вешалка справа. Тапочки...

Какие подойдут... — пригласила она.

— Каак... у тебя просторно! — войдя, восторженно воскликнул Федя. — И...

— Что?

— Очень хорошо...

— Да? По-моему, обыкновенно.

— А мне верхняя пуговица...

— Что с ней?

— Не поддается... Поможешь расстегнуть?

Она подошла и помогла снять куртку.

— А почему не на змейке? Удобно же.

— Змейки у меня ломаются.

— Ванна налево. Полотенце коричневое.

— Спасибо, мне пока не ... ой, в смысле, руки... да... спасибо.

С пакетом она пошла на кухню. Надрезала у роз стебли и опустила их в полупрозрачную вазу с отстоянной водой. В дверях кухни показался Федя.

— А вот и я!

— Берем вазу и пакет и идем за стол... Вон туда, пожалуйста.

— Гут, гут...

Они расположились в удобных креслах гостиной у журнального столика.

— Я подумала, здесь как-то уютнее будет, чем за большим столом... Места хватает. Свет подходящий...

— Правильно решила. Мне страшно нравится.

Федя достал из пакета шампанское и коробку конфет. Конфеты протянул ей.

— Тебе.

— Ну, как мне... Это наш десерт.

— Так я открываю и разливаем?

— Gut, Федя, gut. Давно пора. Только, по возможности, без пены и других эффектов.

На удивление, Федя справился с откупориванием отменно и даже не пролил через края бокалов.

— Федя, за мужчиной первый тост...

— Да... да... Секундочку.

Федя начал приподниматься.

— Сидя можно! — разрешила она.

— Да? Гут. Ну, тогда... За нашу встречу!

— За встречу!... Прекрасный, оригинальный тост.

Они отпили по паре глотков.

— Если не против, у меня и второй есть...

— Наверно, не менее оригинальный...

— Да уж... Но... позвольте освежить...

Федя встряхнул бутылкой, от встряски вино забурлило и пена полилась на стол.

— Простите...

— Ничего, ничего, — успокоила она. — Салфеточками промокнем...

Слушаю тост.

— Я сидя... За то, чтобы на этой встрече... мы перешли на «ты». И предлагаю на брудершафт!

— Сразу третий?

Федя смешался.

— Ну, разделим... Брудершафт будет следующим.

— Тогда второй я должна пить сама, получается... Ты давно перешел, а я вот только сейчас. Но я тебя приглашаю выпить вместе! За то, что мы теперь оба на «ты»!

Они допили бокалы и с удовольствием закусили.

— Федя, может пора серьезно покушать? В духовке утка томится...

— А третий? Брудершафт...

— Ну, коль ты так решительно настроен...

— Да, очень настроен решительно.

— Поднимаем и поднимаемся!

Стоя, они переплели руки, выпили и поцеловались.

— Да будет дружба! — провозгласила она.

— Дружба? — растерянно протянул Федя. — И всё?

— Федя, друг мой дорогой, ты что против дружбы имеешь? А?

— Против дружбы я не имею, но мы же не в школе...

— Полагаешь, дружат только в школе? Ошибаешься, дорогой. Дружить можно всегда. И я пошла за уткой... Под неё можем продолжить о дружбе.

— Ой, и мне надо...

- Так иди.
- Я не про то.
- Неважно. Надо, иди.

Разрезая дымящуюся утку и раскладывая посыпанные зеленью укропа и петрушки порционные кусочки на блюдо, она не могла отбиться от мысли, которая вдруг возникла в её голове и не отступала: «Ну, вроде всё по теории — я ввязалась. И что?... От того, что видно, пока только грустно.»

Тут она почувствовала, что сзади её трогают за плечи. Она обернулась. Круглая физиономия Феде тянулась к её щеке, чтобы поцеловать. Она слегка отклонилась.

— Ради нашей дружбы, не мешай мне... Я с острым ножом... могу пораниться. Уже заканчиваю... Поможешь отнести блюдо.

— Конечно! Как пахнет!... С ума схожу.

— Рано, ты еще не попробовал.

Она вручила Феде блюдо.

— Идем. Кстати, если есть желание, то можно по рюмочке коньяку... У меня есть настоящий дагестанский, семилетний.

— Почему бы и нет? — согласился Федя. — Хотя... я же таблетки пью... За ними ходил, забыл в куртке. Вот.

Федя продемонстрировал выдавшую виды таблетницу.

— Вижу, ты с ней не расстаешься. Так идти за коньяком?

— Не знаю...

— Может у сына спросишь? Но чего спрашивать? Шампанское он разрешил, значит не будет возражать и против ста граммов коньяку. Это как сосудорасширяющее...

— Точно! Я же как раз для головных сосудов пью. Сегодня заменю их коньяком.

— Что там у тебя еще? Не навредим?

— Остальное мелочи... Желудок, склероз...

Она застыла с бутылкой коньяка.

— Федя, ты уверен? Может все-таки сыну?...

— Не-не, уверен, сегодня он разрешит. Коньяк гут.

— Ладно, смотри сам. Gut, так gut.

— Тогда давай тарелку. — Она положила ему утиную ножку. — Рюмочки. Наливай.

Федя налил рюмки до самых краев.

— Федя, ну, ты щедрая душа. Моя очередь говорить. Буду такой же оригинальной, за здоровье!

Выпили, не чокаясь — жалко было расплескивать.

Федя склонился над ножкой:

— Дух... дух какой!... Голова кружится.

— Так закусывай, закусывай.

— Не. После первой не положено. Это даже я знаю.

— Оказывается, ты знаток застольных традиций. Спорить не буду.

Gut, наливай.

После второй Федя раскраснелся, отпустил угол галстука. Откусив маленький кусочек, предложил:

— По третьей и нормально кушаем.

— Вообще-то я уже. Это тоже, согласно традиций?

— Само собой.

Третья рюмка окончательно раскрепостила Федю. Он снял через голову галстук и расстегнул вторую пуговицу рубашки. С удовольствием поедал утку с овощным салатом, нахваливал и восхищался.

— Волшебная утка... просто сказочная. С чем она, говоришь?

— С розмарином.

— Не ведаю, что это такое, но умопомрачительно вкусно. Ты будешь мне её готовить?

Она внимательно на него посмотрела:

— Федя?...

— Ну, хотя бы по праздникам?

— Придешь в гости, конечно, приготовлю.

— В гости? А я разве тебе не нравлюсь?

— Нрависься.

— Да, правда? И мы... Ой, мне закапать надо, а то линзы помутнеют и глаза воспалятся. Закапаешь?

— Закапаю. Где капли?

— В куртке, сейчас принесу.

— Федя, давай я. Сиди. В каком кармане?

— В левом внутреннем.

— Тут какой-то сверток... Принесу целиком.

Федя положил сверток на угол столика и развернул. В нем оказался остроносый пузырек с каплями, зубная щетка и бритвенный станок.

Она восхищенно покачала головой.

— Джентльменский наборчик... А зубная паста? А личный шампунь для головы и тела? А крем для и после бритья где?!

— А надо было? Значит, упустили... Сын упустил. Ну, я ему!...

— Знаешь, он от того, так быстро и убежал... Видно вспомнил, что много чего не положил.

— Какая незадача... Может я позвоню, чтобы привез?

— А он где?
— Дома! С невестой. У них тоже свидание.
— Нет, не стоит. У молодых вечер... они отдыхают... И тут твой звонок. Здравсьте, я ваша тётя! Бросай невесту и вези мне... Совсем не gut, Федя, согласиись.
— Соглашусь. Что мне тогда делать?
— Домой ехать, Федя.
— Д-домой?... Как домой? А разве мы...
— Что?
— Не будем...
— Что?
— ... Ужинать? Мне розмарин и утка так понравились!
— Федя, будь откровенен, ты же не ужин имел ввиду... Ужинать обязательно будем. Голодным я тебя не отпущу. И с собой вкусенького положу. Может конфеты возьмешь? Без обиды. Я не открывала. Приедешь, с холода чаек с конфетами попьете...
— Нет, конфеты это уж совсем. Сын обидится.
— Ладно. Давай закапываться. По сколько капель?
— По три. Или по две... Не помню.
— Ну, ты даешь, друг Федор... Ладно, про сорт вина забыл... Записывай, если память подводит. По три закапаю, хуже не будет... Не звонить же сыну.
— Как он меня подвел! Надо было самому все, а я понадеялся...
— Да успокойся... Все в порядке. Сейчас покушаем...
— Ничего себе! Через полгорода из-за него тащиться... Я вообще не запомнил, как отсюда выбираться.
— Я тебя провожу, не волнуйся. Один глазик пролечен... Сейчас второй... И потом, Федя, ты разве не знал, что с линзами этим заниматься нельзя.
— Чем?
— На что ты намекал.
— Почему?
— Линзы выпадут и потеряются.
— А я зажмурюсь.
— Какой находчивый! Опасно. Увлечешься, забудешься и откроешь глаза. Нет-нет, Федя, риск неоправданно велик. Не стоит. И второй закапан... Подожди, салфеточкой вытру... Подогреть уточку?
— У меня аппетит пропал. Я так готовился... А если мне повязку на глаза?

— Ага. Могу только к батарее на лоджии приковать и кожаной плеткой отхлестать...

— Мне не до шуток... готовился... готовился...

— Да как ты особенно готовился? Сыну все поручил. Или успел наглотаться чего-нибудь? Что молчишь?

— Какая разница... Все равно домой ехать...

— Федя, не надо жалостливо глядеть на меня... А если наглотался, то... Эскорт услуги никто не отменял.

— Мне ты нужна...

— Ясное дело. Так, Федя, если аппетита нет, то давай, друг мой, собираться. Утку я тебе заверну, дома доужинаешь.

— Ты меня выгоняешь?

— Не выгоняю, а вежливо, по-дружески, выпроваживаю. Сам говоришь, дорога длинная, через полгорода тащиться. Иди одевайся, а я быстро всё тебе соберу.

Когда она с пакетом вышла в коридор, Федя был в куртке и шапке.

— Ну, я почти готов. Верхние пуговички сможешь?

— Держи.

Она вручила ему пакет и застегнула две верхние пуговицы.

— Шарф где?

— Шарф вот.

— Готово. Теперь я спокойна.

— По-моему, ты перетянула...

— Да? Ослабим. Так gut?

Федя кивнул.

— Тогда выходи, а то вспотеешь. Я сейчас.

— Здесь подожду.

— Ну, жди. Я скоро.

Они шли к остановке и молчали. Было темно и промозгло. Везде белели грязные сугробы тающего снега. Но воздух уже отдавал первой весенней свежестью. Она вдохнула полной грудью, взяла Федю под руку и тихо сказала:

— Послезавтра весна, Федя. Хорошо же как!

— Кому как, — буркнул Федя.

— Давай машину остановим. Ну, чего тебе в троллейбусе трястись... Если вопрос в деньгах, то я помогу. Не думай, в долг. Вернешь потом.

— Нет. Сказал, поеду троллейбусом, значит поеду.

— Ну, как знаешь.

Его маршрут подошел через несколько минут. Федя демонстративно быстро заскочил в переднюю дверь и сел к окну на противоположную сторону. Она пожала плечами. На душе было пусто, но спокойно, разве блуждала легкая тень разочарования. Сильным оно и быть не могло — что-то изначально заставляло её с осторожностью относиться к предстоящей встрече. Выходит, женское чутье гораздо глубже работает, когда касается струн души, нежели постулаты великих полководцев, даже таких, как Наполеон.

Стал накрапывать мелкий дождь. Она ускорила шаг.

Через два часа позвонил Федя.

— Я дома.

— Очень хорошо. Все в порядке?

— У меня, да, если не считать, что ты меня прогнала.

Но кое-кому малину я испортил тоже.

— Федя, на тему «прогнала» все сказано.

— А зачем ты меня тогда обманула?

— То есть? Не поняла.

— В свертке, где были капли, бритвенный станок и щетка, я нашел тюбик с пастой. Выходит, всё у меня было!

— Допустим, не все, если точным быть. А тюбик это я положила... Просто подумала, а вдруг сын не случайно не положил тюбик — у вас просто не оказалось второго. Или вообще зубная паста закончилась. Но не это главное, Федя.

— А что же ещё?

— Ошиблась я, Федя. Прислушалась к совету одного знаменитого полководца, а он сильно не прав оказался.

— Чапаева, что ли?

— Наполеона, Федя. Бонапарта.

— И в чем он не прав?

— Негоже ввязываться, если в выборе визави сомневаешься. Уверена, после Ватерлоо он бы со мной согласился.



Сергей Калабухин

Коломна

АННА И ЕЁ МУЖЬЯ

"Может быть, сексуальная жизнь человека и есть самая серьёзная проверка. Если мы такую проверку выдерживаем, если мы милосердны к тем, кого любим, и не теряем привязанности к тем, кого обманываем, зачем нам высчитывать, чего в нас больше, хорошего или плохого. Но ревность, недоверие, жестокость, мстительность, взаимные попреки... это провал. Всё зло именно в этом, даже если мы жертвы, а не палачи".

Грэхем Грин "Комедианты"

У Анны внезапно ушёл муж. Утром, когда тёща повезла на продажу в райцентр свеженадоенное молоко, Всеволод собрал в спортивную сумку документы, деньги, ещё какие-то вещи и уехал в город, сказав, что не знает, когда вернётся назад и вернётся ли в эту опостылевшую деревенскую жизнь вообще. Анна в это время в пятый раз перечитывала полученное вчера от дочери письмо, в котором Маша подробно описывала, как устроилась в общежитии, удивлялась, что учат в институте совсем не так, как в школе, хвасталась, что уже познакомилась со всеми одногруппниками и даже подружилась с Валею из Тулы, с которой живёт теперь в одной комнате.

— Насчёт денег не беспокойся, — наконец дошли до сознания Анны последние слова Всеволода. — Я оставил тебе сберкнижку на предъявителя, там хватит вам с Машей по крайней мере на полгода. Может, наконец, скажешь хоть что-нибудь?

Но Анна привычно молчала, всё крепче сжимая в начавших дрожать руках письмо, отчего бумага начала коробиться и хрустеть.

— Как устроюсь в городе, сообщу, — буркнул сквозь зубы Всеволод, безнадежно махнув рукой, повернулся и вышел из дома.

Ещё несколько секунд Анна видела в окно, как муж — уже бывший или ещё нет — вышел за калитку, аккуратно закрыв её за собой, и решительно зашагал по дороге в сторону райцентра. И только тогда до Анны вдруг дошло, что она опять осталась одна, что Севы с ней уже

больше не будет. Её бросило в жар, слёзы потоком хлынули из глаз, ноги внезапно стали какими-то ватными и Анна, с трудом доковыляв до кровати, сначала села, а потом так, как есть, одетая, легла, со страхом прислушиваясь к быстрому и гулкому биению сердца. До сего дня она никогда не слышала, как оно работает, и потому даже не осознавала, что оно у неё есть. Анна решила, что сейчас умрёт. Но смерть не приходила, и биение сердца постепенно замедлилось, и наступил момент, когда Анна вновь перестала его слышать и ощущать. И только тогда она, наконец, утерев слёзы, задумалась над тем, что с ней, со всей её жизнью произошло. Ей нет ещё и сорока лет, а она теряет уже второго мужа! Но в первый раз, двенадцать лет назад, когда погиб Анатолий, всё было не так, как сейчас, не было особых переживаний и даже слёз. Анна решила разобраться, почему уход Всеволода, живого и невредимого, она восприняла тяжелее, чем смерть Анатолия.

Анна росла обычной деревенской девчонкой, не лучше и не хуже других. Помогала матери по дому, на огороде и в уходе за домашней живностью. Средне училась в школе, ничем не выделялась в компании подружек, была, что называется, тихоней. Мать не хотела, чтобы её единственная дочь тоже пошла работать в совхоз и по окончании школы отправила Анну в Трёхреченск, где та без особого желания, но довольно легко поступила в торговое училище при местном Продторге.

Вывавшись из-под надзора властной матери, Анна не ударились во все тяжкие, как некоторые её соседки по общежитию, ошалевшие от внезапной свободы. Училась столь же средне, как и в школе, общественной работы избегала, буйных компаний чуралась. В свободное время Анна сидела в Красном уголке общежития перед телевизором или читала библиотечную книгу, лёжа на своей койке в комнате. И фильмы, и книги были, конечно, "про любовь". На выходные и праздники Анна всегда уезжала в родное Козино к маме, где привычно включалась в повседневную работу по дому и огороду.

По окончании училища Анну направили в отдел кадров Продторга, а оттуда она уже в качестве продавца прямиком отправилась в продовольственный магазин №43, за прилавком которого вскоре и познакомилась со своим первым мужем. Магазин этот находился в двух минутах ходьбы от центральной проходной Машиностроительного завода, многие работники которого по пути на работу раскупали свежую выпечку и пакетики-пирамидки с молоком, которыми тут же на ходу завтракали. А после работы ещё больше заводчан толпилось у прилавков, быстро раскупая необходимые им продукты.

Анатолий Сидоров был родом из далёкой Мордовии. Он рассказывал, что там густо перемешаны мордовские и русские деревни и сёла, а самым массовым развлечением являются кулачные бои деревня на деревню. Поэтому, когда в их село приехал вербовщик рабочих "по лимиту" на предприятия центральной России, Анатолий даже раздумывать не стал. Он приехал в Трёхреченск и подписал с Машиностроительным заводом договор на работу формовщиком в "горячем" Чугунолитейном цеху, за что завод обязался по окончании пятилетнего срока выделить Анатолию Сидорову отдельную двухкомнатную квартиру в новом строящемся девятиэтажном доме.

Сначала Анна не замечала этого молодого парня в толпе других покупателей. Она вообще не поднимала глаз, едва успевая рассмотреть поданный чек, отыскать и выдать нужный товар, свернуть из куска заранее нарезанной бумаги кулёк, насыпать в него нужное количество крупы или сахарного песка, взвесить, добавить или убавить, сбегать в подсобку, чтобы пополнить кончающийся товар — и всё это под непрерывный гул возмущающейся медлительностью продавцов и дефицитом тех или иных продуктов толпы покупателей, в которой непременно находились не стесняющиеся громко материться и скандалить особи.

Поэтому о молчаливом парне с копной рыжих нечёсанных волос, "завашем" на молоденькую продавщицу, Анна впервые услышала во время затишья между наплывами покупателей. И только когда смешливая толстуха Ольга из хлебного отдела спросила её напрямую, до каких пор она собирается мучить безразличием симпатичного парня, Анна поняла, что речь ведут о ней. С того дня она сначала из любопытства, а потом и с непонятным нетерпением стала ожидать прихода и высматривать в толпе неожиданного поклонника. Принимая от него чек и выдавая стандартный набор продуктов для нехитрого ужина одинокого мужчины, Анна краснела под его жадным взглядом, а Анатолий, наоборот, бледнел, и на его и без того белоснежной, как у всех рыжих, коже лица и части груди в распахнутом вороте рубашки особенно чётко проявлялись россыпи веснушек.

И вот настал вечер, когда Анатолий впервые дождался Анну после работы и проводил до общежития. Через полгода он осмелился сделать ей предложение, а ещё через два месяца они поженились, и завод выделил молодожёнам отдельную комнату в семейном общежитии. Через год после свадьбы 2 сентября 1984 года Анна родила дочь, названную в честь матери Анатолия Марией. Маша теперь, когда выросла, внешне стала вылитая мама, только не русая, а рыжая, в отца.

Анна с Анатолием жили дружно, ссорились редко. Но счастье их длилось недолго. Анатолий по натуре был добрым, мягким и застенчивым, но, как и многие другие недавно переехавшие из деревни в город парни, в компании сослуживцев петушился и любил прихвастнуть, показать, что ничем не уступает местным уроженцам. И однажды попался на "слабо". В Чугунке на одном из мостовых кранов работала молодая шлюшка по имени Лилька. Ей и было-то в ту пору всего девятнадцать лет, в цеху почти не осталось мужиков, кто бы хоть раз с ней не "переспал". Достаточно было в обеденный перерыв подняться к ней в кабину крана с бутылкой вина или после работы предложить стакан водки. В одной бригаде с Анатолием работал его друг Васька, с которым они вместе росли в далёком мордовском селе, дрались в кулачных боях с парнями соседних деревень и, поддавшись на уговоры вербовщика, решили пойти в "лимитчики". У обоих подходил срок получения квартиры по договору с заводом, но у Васьки с женой пока не было детей, а квартира распределялась только одна. Понятно, что администрация завода решила отдать её Анатолию, а Василия попросила подождать ещё год до сдачи следующего дома. И вот лучший друг смертельно обиделся на Анатолия и подло его подставил. Отлично зная "петушиный" характер друга детства, Василий начал постоянно на глазах сослуживцев подначивать Анатолия, что тот остался единственным мужиком в цеху, не побывавшем в кабине крана у Лильки.

— Высоты боишься или Аньки своей? — насмехался Василий. — И правильно: с такой горячей девкой, как Лилька, тебе слабо совладать!

И Анатолий ожидаемо поддался на провокацию. Случайно всё произошло или Васька пошёл дальше простых подначек, но в цех вдруг пожаловало начальство как раз в тот момент, когда Анатолий доказывал свою "мужественность" в кабине крана. Лилька получила очередной выговор, а Анатолий лишился уже почти полученной квартиры. В Договоре, оказывается, имелся соответствующий пункт о нарушении трудовой дисциплины и, вообще, наличии каких-либо проступков. Квартира досталась Ваське. Не желая каждый день встречаться с бывшим другом, Анатолий перешёл из Чугунки в Автотранспортный цех и стал работать слесарем-ремонтником, вскоре он начал прикладываться к бутылке. Домой Анатолий с каждым днём приходил всё позже. Он застревал после работы во дворе в компании таких же пьяниц. Устроившись на детской площадке за столом, на котором днём местные пенсионеры "забывали козла" полустёртыми от частого употребления костяшками домино, мужики сначала степенно выпивали по первой, не торопясь закусывали и начинали обсуждать "политику". Что такое "перестройка",

правда ли, что недруг Горбачёва Борис Ельцын в пьяном виде выступал в США или, как он сам говорит, просто был под действием снотворного? Большинство склонялось к тому, что, скорее всего, Ельцын сильно пьёт, потому и сверзился с моста в речку. Нужна ли народу КПСС? И до каких пор Россия будет кормить и содержать прочие республики? Домой Анатолий практически приползал в десятом часу, плюхался на диван перед телевизором и отрубался до утра, когда Анна будила его, чтобы накормить завтраком и отправить на работу, привычно сунув мужу в карман пятёрку на обед в заводской столовой и опохмелку. Через несколько лет такой жизни в конце лета 1989 года Анатолий попал в ЛТП, где и был вскоре убит ополумевшим от трезвой жизни собратом-алкоголиком. Тот, по словам очевидцев, неожиданно взбесился, услышав от напарника совершенно безобидное замечание, и проломил Анатолию голову гаечным ключом.

Лишившись мужа-алкоголика, Анна почувствовала облегчение. Она не считала себя виноватой в его падении и смерти. Да, предательство друга и потеря квартиры были сильными ударами для Анатолия, но мужчина, считала Анна, не должен ломаться и сдаваться от первых же трудностей. В конце концов, Толя сам поддался на провокацию Василия, никто не заставлял его изменять жене с цеховой шлюхой. Для Анны всё это явилось не меньшей бедой, чем для Анатолия, но она же не распустилась, не озлобилась в обиде и не опустила руки. У неё на руках была маленькая дочь, Маше едва исполнилось два года, а вместо помощи от мужа приходилось терпеть его пьянство, матерную брань и сочувственно-насмешливые взгляды соседей.

К Анатолию Анна тогда, что уж кривить душой, сильно охладела, но сцен не устраивала, не "пилила" за измену и потерю квартиры, просто муж ей стал вдруг совершенно безразличен. Она продолжала привычно заботиться о нём: кормить, обстирывать и молча терпеть ночные ласки, становившиеся всё более редкими, пока их Анатолию в конце концов полностью не заместила водка. Муж сравнялся в глазах Анны с сямской кошкой Маши, превратился в ещё одно домашнее животное. Вот только, в отличие от кошки, развлекавшей дочку, от мужа в доме не было никакой пользы.

"Нет, как тогда, так и сейчас я не считаю себя виноватой в том, что Толя, став моим мужем, из хорошего доброго парня превратился в озлобленного опустившегося алкаша! — решила Анна. — Все его беды случились не из-за меня, я не была ему плохой женой. Наверно, он спился, потому что постоянно мысленно казнил себя за всё случившееся, а как исправить ситуацию не знал. Может, ждал от меня какой-то

подсказки, поддержки, но какой? Я не бросила его, не подала на развод и даже ни в чём не упрекала! Продолжала жить с ним, как будто ничего не произошло. Что ещё я могла сделать? Утешать мужа, говорить, что не сержусь на него за измену и потерю квартиры? Убеждать, что всё будет хорошо? Мы бы оба прекрасно понимали, что это враньё. Понять и простить, как советовали подружки? Поняла, но не простила, потому что сам муж своими все усиливающимися пьянством и свинством увеличил вину передо мной и дочкой. Толя быстро и легко сдался, оказался слабаком, а не "каменной стеной", ограждающей семью от невзгод".

Окончательно закончив разбираться с первым мужем, Анна задумалась о втором. С Всеволодом она, как это ни странно, познакомилась тоже в 43-м магазине. Вернее, он почти столкнулся с ней, когда тёплым июньским вечером 1989 года она вышла с Машей из дверей магазина, чтобы по окончании своей смены пойти домой. Обе руки Анны были заняты тяжеленными сумками с продуктами. Двенадцать лет с тех пор прошло, но Анна постаралась как можно лучше и полнее припомнить все подробности той встречи. Она тогда застыла на пороге магазина, потому что дверь за спиной уже захлопнулась под действием сильной пружины, и отступить назад Анна не могла, да и с какой стати ей было это делать? По всем правилам уступить ей, женщине, дорогу должен был этот молодой парень, с откровенным восхищением уставившийся ей в лицо весёлыми светло-голубыми глазами. Они стояли почти вплотную друг к другу, поэтому Анна могла видеть только лицо парня и светлые курчавые волосы в распахнутом вороте голубой рубашки. Ещё она успела разглядеть длинные ресницы и лёгкую небридность. Выющиеся крупными кольцами русые волосы незнакомца могли вызвать зависть любой девушки, вынужденной регулярно пользоваться бигуди.

— Цыганка не соврала, — сказал парень. — Она мне встречу с вами сегодня утром нагадала, вон там, за акведуком на вокзале.

Анна смутилась под его пристальным взглядом и потупилась. Незнакомец ей почему-то сразу понравился, хоть она и не любила нахалов. Анна сделала шаг в сторону, освобождая ему вход в магазин.

— Ну уж нет, — сказал он ей, — мы теперь не можем так просто расстаться.

Анна сердито взглянула на него, и парень вдруг изумлённо произнёс:

— Какие у вас глаза! Неземные! Жаль, что я не поэт или художник. Вас не Аэлита зовут?

— Пропустите, — сказала Анна, — я очень устала, весь день на ногах.

— И я с раннего утра на ногах, — возразил парень. — Да ведь, как говорится, от судьбы не уйдёшь! Так как вас зовут?

— Анна.

— А я Всеволод.

Он отступил на шаг, повернулся, присел на корточки перед её дочкой, глядевшей на него во все глаза и, как взрослой, протянул ей руку:

— Меня зовут дядя Сева. А вас как?

— Маша, — улыбнулась та, вкладывая свою ручонку в его.

— Мне тридцать лет, а вам?

— А мне пять!

— Да вы совсем взрослая барышня! — Всеволод осторожно пожал Маше пальчики и, кивнув в сторону стоявшей в растерянности Анны, спросил: — Это ваша мама?

— Моя.

Очнувшись, Анна обошла их и пошла по аллее, ведущей к акведуку через железнодорожные пути. Маша и незнакомец догнали её.

— Давайте ваши сумки. — Всеволод решительно выхватил их у неё и пошёл вперёд.

Анна молча шла за странным парнем, ей продолжало всё в нём нравиться: высокая спортивная фигура, широкие плечи, сильные руки, узкие бёдра и длинные ровные ноги, затянутые в поношенные, но явно фирменные джинсы, потёртые местами от долгой носки до белизны. Анна невольно сравнивала Севу с мужем, окончательно опустившимся и выглядевшим несмотря на все её старания бомжеватым. "А я-то сама, — спохватилась Анна, — как выгляжу?" Она почувствовала жар от охватившего её стыда. Платье на ней было старенькое, не раз перешитое, с вонючими пятнами пота в подмышках. Слипшиеся в пряди, неделю немые волосы схвачены резинкой в "лошадиный хвост", концы их неровные, посечённые. Ногти на руках Анна давно уже не красила, но они были хотя бы ровно подстрижены буквально накануне вечером. А на ногах растоптанные матерчатые тапочки! Не в туфлях же на высоких каблуках таскать тяжёлые сумки с продуктами. Маша радостно скакала рядом, крепко уцепившись за освободившуюся руку матери, не замечая её переживаний.

Спустившись на другом конце акведука, Всеволод вопросительно обернулся. Анна, глядя себе под ноги, остановилась. Не поднимая глаз, она с неловкостью произнесла:

— Не провожайте меня дальше. Я замужем.

— Ну и что? — удивился Всеволод.

— Не надо, — решительно сказала Анна и протянула руки за сумками. Он с неохотой отдал их ей.

— Ладно, идите кормить мужа. Желаю вам счастья.

— И вам, — ответила Анна с облегчением.

Подскочила Маша, протянула на прощанье руку. Всеволод пожал ей пальчики и, заговорщицки подмигнув, сказал:

— Пока, скоро увидимся.

Анна не помнила, как дошла до дома. По дороге она непрерывно мысленно пересматривала удивительное знакомство, разбирала каждое слово, запоздало находила более удачный или остроумный, как ей казалось, ответ. Маша что-то непрерывно тараторила о дяде Севе, но Анна уловила эти крамольные, на её взгляд, слова только войдя во двор дома и увидев на детской площадке уже основательно пьяного Анатолия в обычной теперь ему компании местных алкашей.

— Молчи! — одёрнула она дочь. — Никому ни слова о дяде Севе, поняла?

— Поняла, — кивнула удивлённая Маша. — А почему?

— Папа рассердится, — нагнувшись к уху дочери, тихо пояснила Анна, кивнув в сторону громко матерящихся пьяниц. Поняв по растерянному лицу дочери, что та по-прежнему ничего не понимает, она добавила: — Пусть дядя Сева будет нашей с тобой, и только с тобой тайной, хорошо?

— Хорошо! — повеселела Маша. — Я никому не скажу, только и ты, мамочка, тоже никому не говори.

Когда, наигравшись с кошкой, дочка, наконец, уснула, а пьяный Анатолий громко захрапел на диване перед работающим телевизором, Анна, раздевшись догола, подошла к трёхстворчатому шкафу и долго рассматривала себя в большом зеркале, прикреплённом к внутренней стороне одной из дверей. Она с удивлением отметила, что, действительно, для своих двадцати пяти лет выглядит очень даже неплохо. Вскоре после родов Анна сильно пополнела, что её сильно смущало, но Анатолий только довольно смеялся, повторяя где-то слышанную им фразу, что мужчины — не собаки, а потому на кости не кидаются.

— Что ж ты на мне, когда я была кожа да кости, женился? — спрашивала Анна.

— Дурак был! — притворно сокрушался Анатолий. — Ты меня, наверно, глазами своими ведьмовскими заворожила...

После того, что случилось, особенно, когда муж стал горьким пьяницей, Анну перестало волновать её отражение в зеркале. На неё

столько навалилось и горя, и забот, что хватало времени и сил следить только за тем, чтобы у всех членов её семьи была всегда опрятная одежда и сытная еда на столе. Она практически ежедневно стирала, гладила, штопала, что-то зашивала, ушивала или подшивала. Рушилась страна, на смену социализму вновь пришёл капитализм, а Анна крутилась в колесе ежедневных забот, равнодушная ко всему происходящему вне её семьи. Видимо, работа и заботы сработали гораздо действенной модных диет и превратили бесформенную толстушку в стройную привлекательную женщину. Замуж за Анатолия Анна выходила худенькой, даже тощей и несколько сутуловатой девушкой. Теперь из зеркала на неё глядела зрелая стройная женщина с классической фигурой, характерной для древнегреческих и римских статуй языческих богинь. Послеродовая полнота и девичья сутулость исчезли, увеличилась и налилась грудь, расширились и обрели объём бёдра, узкая талия с небольшой выпуклостью животика только подчёркивали притягательную "рюмочность" фигуры. "Как же я ничего этого не замечала? — удивилась Анна. — Сама же ведь перешивала не только Машины, но и свои платья, а даже в голову не пришло задуматься, почему вдруг одежда стала велика. Смотрела в зеркало, а заботило только то, как сидит ушитое платье, не топорщится ли где, не морщит. Совсем отупела, видно, не зря Толя меня иначе как "дура" последнее время не называет".

С этого дня Анна стала уделять внимание не только мужу и дочери, но и себе, заново вспомнив, что существуют парикмахерская, косметика и маникюр, купила на рынке очень шедший ей цветастый сарафан и удобные босоножки на низком каблуке. Соседки и подруги на работе были заинтригованы, шептались за её спиной, а Анатолий погрузился в жуткий запой, приведший его в ЛТП.

Вскоре после гибели Анатолия Всеволод вновь встретил Анну после работы, она позволила ему проводить их с Машей почти до самого дома, а потом попросила, чтобы в следующий раз он пришёл не раньше, чем через год. Но Всеволод позвонил в дверь их коммунальной квартиры, в которую превратилось заводское общежитие, лишь в апреле 1992 года. Он жил в то время в другом городе и в Трёхреченск приезжал то ли в командировку, то ли по каким-то личным делам. Анна слушала его объяснения, но не слышала, она ждала его два с лишним года, почти потеряла надежду, и теперь в голове у неё билась, заглушая всё остальное, только одна мысль: "Он приехал!"

Они долго гуляли по улицам Трёхреченска, оба замёрзли и устали, но зайти к Анне в гости Всеволод не захотел, хоть она сама его приглашала. Сева тогда много говорил, стараясь понравиться ей, а Анна боль-

ше слушала и в основном молчала. Просто она понимала далеко не всё, о чём рассуждал Всеволод. С Анатолием они всегда были на равных, оба сравнительно в одно время приехали в Трёхреченск из деревни, их возраст, кругозор и уровень образования почти не отличались. А Всеволод родился и вырос в городе, был старше Анны лет на пять, закончил институт и работал инженером-конструктором. Анна боялась ляпнуть что-нибудь, с его точки зрения, глупое, после чего он разочаруется в ней, уйдёт и больше не вернётся. А ей хотелось, чтобы Сева остался с ней навсегда. Расставаясь, он попросил у неё ещё один год на завершение всех дел в его родном городе, и Анна пообещала обязательно его дожидаться.

Прошёл год, затем второй, а от Севы не было никаких вестей. Анна за это время окончила бухгалтерские курсы, ушла из магазина, попыталась открыть собственный, быстро прогорела, продала, чтобы расплатиться с долгами, всё, что смогла, в том числе и свою приватизированную комнату в коммуналке, и уехала с дочкой из Трёхреченска в Козино к маме. Здесь её и нашёл в начале июня 1994 года Всеволод. Они, наконец, поженились, и поначалу, первые год-полтора, были вполне счастливы, пока не подошли к концу деньги: Всеволод, оказалось, тоже продал в родном городе что-то из имущества и получил за всё про всё три миллиона рублей.

В бывший совхоз, а ныне акционерное общество, Всеволода не взяли, никакой другой работы, кроме как на собственном огороде, в Козино не было. С помощью местных мужиков Всеволод соорудил шлакоблочную пристройку к избе для себя и Анны, Маша осталась жить с бабушкой. Потом он провёл от уличной колонки воду в дом и в огород, построил теплицу. Что делать дальше, Всеволод не знал. Помощь его Анне на огороде сводилась к копанию грядки и окучиванию картошки, но это же не каждодневный труд! Доверить мужу прополку было невозможно, потому что Всеволод не мог отличить петрушку, укроп, салат и прочие нужные растения от сорняков. Он знал только, как выглядят капуста и лук. А уж с коровой, курами и прочей домашней живностью женщины в Козино всю жизнь управлялись без помощи мужчин. Так что волей-неволей Всеволод занялся любимым делом — изобретательством. Это поначалу, пока были деньги, никого не волновало. Но когда миллионы зятя закончились, Нина Ивановна, Анина мама, начала недовольно ворчать.

— Мы с тобой, доча, с утра до вечера впахиваем на огороде, тягаем неподъёмные сумки с молоком и овощами на рынок в райцентре, а твой

муженёк с умным видом только и делает, что сидит за столом и что-то там пишет или книжки читает! Нашла сокровище, нечего сказать!

— Он изобретает, мама, — пыталась возражать Анна. — Сева инженером в городе был...

— Изобретает! — язвительно шипела Нина Ивановна. — За два года ни одной копейки в дом не принёс, паразит!

— Ну, нет же в Козино для него никакой работы! — обижалась за мужа Анна. — Половина мужиков на селе, вон, спивается от безработицы.

— Не хватало ещё, чтобы и твой запил! — непреклонно гнула своё Нина Ивановна. — Раз уж он у тебя такой городской, пусть поищет работу в райцентре или в Трёхреченске.

— Если Сева на работу в город ездить будет, то у него на одну дорогу пол дня уйдёт, — возражала Анна. — Автобус-то до райцентра ныне три раза в день ходит: рано утром, в обед да поздно вечером, детей в школу возит, нашу-то закрыли. А до Трёхреченска от райцентра ещё и на электричке полчаса ехать надо. Не хочу я мужа только по выходным при свете дня видеть.

— А чего тебе на него любоваться-то? Ты, вон, сейчас его и днём, и ночью видишь, а детей у вас что-то так и не предвидится! И слава Богу, при таком-то муже-бездельнике!

Чем дальше, тем громче становились такие разговоры, их уже стало невозможно скрывать от ушей Всеволода. Он перестал улыбаться, стал нервным, раздражительным, его начала мучить бессонница. Анна после таких разговоров тоже спала плохо, тайком плакала. Особенно горек ей был упрёк матери в отсутствии у них с Севой общего ребёнка. Она понимала, что муж корит в этом себя, потому что наглядным доказательством его вины является Маша. Но сама-то Анна помнила тот роковой аборт, который ей пришлось сделать, потому что рожать ребёнка, зачатого от находившегося в пьяном угаре Анатолия, она не захотела. И слова врача после операции не смогла забыть, как ни старалась.

И однажды Всеволод не выдержал упрёков тётчи и поехал искать работу. В райцентре, как и ожидалось, ни инженерных, ни рабочих вакансий не оказалось, пришлось попытать удачу в Трёхреченске. В заведении для безработных Всеволоду по его специальности ничего предложить не смогли. Прочие же имеющиеся варианты сопровождались настолько мизерными зарплатами, что мотаться пять раз в неделю ради таких грошей из Козино в Трёхреченск стало бы себе дороже. Обескураженный Всеволод, побродив по городу в ожидании электрички, ни с чем вернулся домой.

Через неделю он повторил попытку с тем же результатом. И ещё через неделю, и ещё. Но вот однажды Всеволод вернулся из Трёхреченска весёлым, и от него пахло вином. Сказал, что познакомился с человеком, который тоже занимается изобретательством. У Всеволода с Константином оказалось много общих интересов, они решили попробовать объединить усилия, поработать вместе.

— А деньги-то вам за это кто будет платить? — недоверчиво спросила Нина Ивановна.

— Причём здесь деньги? — отмахнулся Всеволод. — Мы с Константином как специалисты в разных областях отлично дополняем друг друга и теперь сможем закончить несколько важных проектов, моих и его, которые зависли у нас из-за недостатка знаний и опыта. Но мне придётся теперь ездить в Трёхреченск чаще, чем раз в неделю, у моего нового друга гораздо лучшие условия для творчества.

С этого дня отношения между Анной и Всеволодом начали стремительно ухудшаться. Нина Ивановна не поверила в появление у зятя новоявленного друга.

— Твой в городе себе какую-то богатую бабу завёл, — уверенно заявила она.

— С чего ты взяла? — не поверила Анна.

— Денег мы ему только на проезд даём, а от него кофием и вином разит, как ни вернётся из Трёхреченска, — ответила мать. — Мужик бы его водкой угощал.

— Сева не любит водку! — возражала Анна. — Сколь раз ему наши мужики предлагали водки выпить или самогону, он всегда отказывался, а когда ещё были деньги, ездил в райцентр за вином.

— Э-э, милая! — качала головой мать. — Вчера, может, не любил, а сегодня на безрыбье и рак — рыба: вино-то дороже водки стоит. Какой это мужик будет нашего нищеврода дорогим вином и кофием поить? Баба это, точно тебе говорю! Что сама пьёт, то и ему наливает. Он хоть спит с тобой или все силы на городскую тратит?

И всё же Анна верила словам мужа, а не матери. Она понимала, что Всеволод рвётся в город не к новой женщине, а к недостающему ему общению с равным по интеллекту и интересам человеку, к привычным разговорам о достижениях науки, новинках литературы, о политике, в конце концов. Городской житель, он задыхался в деревне. Анна и никто в Козино не могли возместить Всеволоду потерю привычной среды. Но Нина Ивановна продолжала твердить своё, и у Анны стали зарождаться сомнения в искренности мужа. Она даже тайком осматривала

и нюхала перед стиркой его одежду, но никаких признаков посторонней женщины не обнаружила.

Так прошёл год, потом другой, Всеволод регулярно ездил к другу в Трёхреченск, и даже иногда зимой ночевал там, объяснив это тем, что они с Константином заработались допоздна. Нина Ивановна привычно бурчала, а Анна замолчала, практически перестав разговаривать с мужем. Её грызли недоверие и обида, но высказать всё откровенно мужу не позволяла гордость. Она столько лет ждала его, больше, чем ждали жёны мужей с Отечественной войны, а ведь она тогда даже не была Севе невестой! Она обещала ждать и ждала, даже когда прошли все назначенные сроки, как была счастлива, когда он наконец пришёл к ней в Козино, ни разу не упрекнула за лишние годы ожидания. Но счастье продлилось всего лишь два первых года их совместной жизни, а потом целых три года Анна прожила в настоящем аду: мать ежедневно пилила и зятя, и дочь — Всеволода за нахлебничество, Анну за потакание бездельнику и коварному изменщику.

Сева не считал нужным оправдываться и каждый день как на работу с утра уезжал в Трёхреченск, а Анна просто замолчала, замкнувшись в своей обиде. Она ни в чём не упрекала мужа, но и перестала оправдывать его перед матерью. Всеволод возвращался домой поздно вечером, Анна молча кормила его, он так же молча ел, благодарил и шёл спать. Нет, первое время Всеволод пытался за ужином рассказывать Анне о Константине, о том, что они изобретают, но скоро понял, что той все его успехи и трудности либо непонятны, либо неинтересны. Вот в такой жуткой обстановке они прожили три года!

В один из дней лета 1999 года Всеволод вернулся из Трёхреченска непривычно рано и объявил, что его друг Костя нашёл покупателя на их изобретения, какое-то совместное с французами предприятие. Нина Ивановна тут же переменяла мнение о зяте, когда тот предложил поехать всей семьёй в райцентр или даже в Трёхреченск и купить на полученный аванс то, что каждый из них пожелает. Маша прыгала от радости, тормозила каменно молчащую мать, но Анна не проявила какой-либо радости. Да, ей и всем остальным членам семьи стало легче, напряжение между зятем и тётшей значительно ослабло, а вот взаимное отчуждение Анны и Всеволода продолжилось. Ведь причиной их конфликта были вовсе не деньги, никто из них не ходил в лохмотьях и не голодал. Но никто из них не хотел или не мог сделать первый шаг к примирению. И даже когда внезапно умер Константин, и Всеволод перестал ездить в Трёхреченск, отношения между супругами не изменились, каждый из них остался в своём замкнутом мире.

Так прошло ещё два года, Маша закончила школу и поступила в московский институт. Вдруг оказалось, что Всеволода удерживала в Козино именно дочь. Как только он понял это, убедился, что без Маши жизнь с Анной потеряла для него какой-либо смысл, то задумался о будущем. Всеволод так и не вписался в деревенскую жизнь, все его интересы остались в городе. Анна воздвигла между ними стену молчания. Она не порвала с мужем окончательно, делала для него всё, что полагается: готовила, стирала, поддерживала чистоту и порядок в доме, словом, поймала себя на том, что вновь превратилась в ту располневшую клушу, какой была при пьянице Анатолии. Скандалов и истерик не закатывала, по огороду летом ходила в стареньком, выцветшем на солнце закрытом купальнике, а по дому в заношенном халате. А Всеволоду была нужна любимая женщина, а не бессловесная неряха-прислуга.

И вот сегодня утром, в первый день октября 2001 года, муж попытался в последний раз достучаться до жены, пробить стену молчания. Всеволод сказал, что денег у них теперь хватит на то, чтобы купить квартиру в городе, что жизнь в деревне для него невыносима, а для Анны городская жизнь вполне привычна, что пора им, наконец, начать настоящую совместную жизнь без ежедневного надзора и советов Нины Ивановны, но Анна, уткнувшись в письмо дочери, пропускала эти его слова мимо ушей и в ответ продолжала мёртво молчать. Она ждала от мужа слов любви и извинений за её многолетние страдания, но их так и не последовало. И вот Сева ушёл. Пока не насовсем, оставил проблеск надежды, только кому: себе или ей? Сказал напоследок, что осмотрится в городе и сообщит. Что сообщит? Свой адрес или о подаче на развод? В любом случае, окончательное решение он предоставил ей. Что она выберет: полную капитуляцию и переезд к мужу в город или окончательный разрыв?

Георгий Кулишкин

Харьков



СЕРГЕЙ

Со скамейки у его подъезда поднялась Саша.

— Сашка!

— Я по делу, — поторопилась она оправдать свой неурочный приход.

Сергей не слушал — он обнял её, на ухо заговорил своё:

— Умница, что пришла! Куда исчезла?

— Не зовёшь — значит, не нужна.

— Глупенькая! — что-то небывалое толкнулось в Сергее, родственное что-то, очень простое.

— Серёжка! — дохнула она опьянено. Захлопотала: — Селёдку твою любимую принесла. В шубе.

— Селёдку? Съедем селёдку! И шубу!

Она собирала ужин. Подперевшись рукой, Сергей сидел за кухонным столиком, рассеянно улыбался.

— Слышу, Вера у Мефодича подозрительно так: шу-шу-шу!.. А я-то чую, когда о тебе! Мефодич: нет. Она что-то громче, он: нет, его, мол, рабочие понимают, мастерская дружная, не надо. А та — Сергей никого не имеет, случись неприятность, а у Маши... Да ты слушаешь?

— А? Слушаю, Сашенька.

— Сорвалось у неё. На этот раз. Но Вера, если задумала, Мефодича всё равно накрутит. Чем ты ей насолил? Всегда — Серёженька, Серёженька...

— Проценты. Ты же знаешь.

— Ну и уладь ты с этими процентами! Что тебе? Больше заработаешь!

— Что больше, то больше. Да, опрометчиво она Мефодичу — о Машкиных связях. Он чужих связей сам боится.

— Серёж, зачем ты упрямисься? Работяг жалеешь? А они, учти, только позлорадствуют, если тебя...

У Сергея сухо подломилась морщина на щеке:

— Ишь, как ты за проценты! Как за свои!

— Серёж, я о тебе...

— Обо мне? Считаешь, это мой потолок жизненный — Мефодию, его проститутке усатой сборщиком податей служить?!

— Господи! — произнесла Саша сдавленным голосом. — Какой ты трудный человек!

В ванной она по обыкновению заняла перекидную скамеечку, Сергей голову к её коленям, сидел в воде.

— Добавить горячей?

Он покачал головой, глаз не поднял. Почему, спрашивал он себя, нет сил на этот шаг, всеми уже сделанный в городе? Что его держит? К пятидесяти мастерскую приучили до него. Пришёл — стали давать. Колюня ещё песенку спел: «Тебе половина и мне половина!» Тогда якобы не отнимал, делились с ним. Якобы! Теперь, отбирая у ребят шестьдесят процентов левого, придётся прояснить отношения, начать жить без ЯКОБЫ.

Ох, как тяжело! С ума он сходит, что ли? Вокруг живут люди, радуются, а он... Вчера в сауне щеголявшая, как и все они, нагишом, Настенька старательно очаровывала его, и он внушал себе, что должен очароваться: ямочки на гибком крестце, настырные грудки... И всего этого не хватило даже на то, чтобы отвлечь от тяжести, засевшей в нём.

Он усмехнулся, с горечью потрянул головой.

— Что? — склонилась Саша.

— Так, своему...

— Заходите! — поднимая перекладину над ходом за стойку, по-хозяйски распорядился мужчина в добротном сером пуловере. Ростом, объёмами он был как штангист-тяжеловес, голос имел низкий, гудящий.

— Слушаю вас! — преградил ему дорогу Сергей.

— Проверка, — мимоходом бросил пришелец, глядя на свой нос сильно косящим левым глазом, и повёл плечом, зазывая лысеющего молодого человека в коротких штанах и пиджаке с куцыми рукавами. Тот протёр очки и вернул их на лицо, точно попав опорными башмачками в выдавленные ими синие, влажно блестящие вмятины.

— На! — передал ему первый чёрную папку из кожзаменителя. — Ступай к заву в апартаменты, скалывай бумагу на акт!

Третьим ступил на рабочую половину коренастый человек лет со-рока пяти с руками слесаря-ремонтника. Его жидкие волосы неприбрано торчали, а глаза смотрели виновато.

— Иваныч! — приказал главный. — Отбери у приёмщицы книжки, и пусть она при тебе считает деньги!

— А может...

— Никаких «может»! Ты рабочим классом откомандирован выводить на чистую воду тех, кто его обирает!

— Проверка, как я слышал, начинается с предъявления документов, — напомнил Сергей.

Здоровяк пригляделся к нему, и Сергею, стоявшему близко, показалось, что на него направлено одно большое, слившееся из двух, око.

— Ты, что ли, завом здесь? Будут тебе документы, провожай! — и двинулся было вперёд, но Сергей не отступил, и проверяющий, только качнувшись, снова уставил на него двуединое око.

Сергей ждал. Проверяющий прогладил мясистыми ладонями зачёсанные назад волосы, сопя, полез в нагрудный карман.

— Ясно, — вернул ему направление Сергей. — Прошу.

— Нет, не сюда, в раздевалочку, — ответил насмешливо-мстительный бас. — Я люблю с раздевалочки начать...

Дознаватель открывал шкафчики, брезгливо касался одежды. Театрально покряхтывая, нагнулся за прикрытой газетами тряпичной сумкой, доверху заполненной женской обувью.

— Что это? — с ленивым торжеством без борьбы победившего распялил он перед Сергеем зев сумки.

Сергей безразлично пожал плечами, не ответил.

Учув неладное, Колюня выслал меня на разведку. Я прошёл по коридору, постоял в туалете, на обратном пути заглянул в раздевалку.

— О! — окликнул меня косоглазый. — Снеси-ка к заву в кабинет!

Я принял сумку, немного отойдя, сунул её за пожарный щит.

Проверяющим были заподозрены личные ботинки Фон-Пети, который в отличие от остальных переобувался в рабочие. Ещё он отыскал винтообразно ссохшиеся, толсто покрытые пылью мужские туфли — бесхозные. У заготовочной машины, у верстака, за которым меня обучали новому, он, похмыкав, подобрал ускользнувшие от веника обрезки, взглядом криминалиста долго изучал простроченный лоскут опойка.

Шкурки верха и подкладки, из которых закраивалась последняя пара, и сама она, затянута на колодки, — у Сергея в столе. «Очкарик сунется, — подумал Сергей, — сгорим...»

— Да-а, — покачал он головой, когда проверяющий отодвинул от окна верстак и шарил под радиатором. — Красиво, нечего сказать!..

И вышел. В кабинете первым делом попросил из своего кресла молодого. Тот торопливо поднялся, забирая с собой, как большую ценность, папку руководителя. Бытовикам хорошо знакома была эта папка, в которой всему отведено своё место: ручке, карандашу, скрепкам, ластик, и чистой бумаге, и копирке. Хозяина папки тоже знали.

Давящим шагом из раздевалки пожаловал старший, бросил на пол ботинки Фон-Пети и вторые, скрученные, как прошлогодние стручки акации.

— Если ВАМ некогда, — сказал Сергею, — выделите кого-то из работников!

Сергей полез в ящик, вынул накладные, что первыми попали в руку, включил калькулятор. Ответил, нажимая на клавиши:

— Вас и без того трое. А мои работают сдельно, отрывать не могу.

Проверяющий поулыбался на него, как на дурашливого ребёнка, и повернулся к молодому:

— Толик, где сумка?

— Сумка? — не понял Толик.

— Да. Я мальчишкой передал.

Сергей тоже глянул на молодого, а старший навёл свой сдвоенный глаз на него, Сергея:

— А?

Сергей приподнял плечи, улыбки не сдержал.

— А ну, зови сюда этого сопляка!

— Ведите себя достойно! — поморщился Сергей.

С проворством крупного зверя дознаватель метнулся из кабинета.

— Где сумка?! — рявкнул надо мной.

Не ожидал я от себя, что так перетрушу.

— Какая? — удивился я фальшиво.

— Сопляк брехливый! — кинулся он ловить меня за ухо.

— Но-но! — подпрыгнул Колюня. — Без рук!

Фёдор Иванович поднялся размеренно, Фон-Петя картинно отбросил молоток, обращаясь к заказчикам, воззвал:

— Вы видели?!

Тиская кулаки, косоглазый приказал мне:

— Марш к заву!

— Никуда он не пойдёт, — заявил Фёдор Иванович твёрдо. — Ты сюда вынюхивать явился — вынюхивай. А хлопца трогать не смей!

Загудела и очередь. Я осмелел:

— Да пожалуйста! Идёмте!

— Сиди! — прикрикнул Колюня. — Ты мой ученик или чей? Сиди и работай!

— Безобразие какое! — послышалось из очереди.— Тут спешишь, а они мастеров дёргают, приёмщице работать не дают!

— Скажите спасибо, что я вообще мастерскую не закрыл! — огрызнулся косой в сторону заказчиков.

— Ишь ты какой! А нам что, босиком ходить?

Проверяющий, словно с трибуны, воздел руку:

— Товарищи! Я же ваш представитель! Вас здесь обируют безбожно, кто-то же должен...

— Кто обирает? Кого? — неожиданно возник Сергей. — У вас что, факты есть? — впился он ненавидящим взглядом в двоящееся око. — Мы здесь ни с одного человека копейки не взяли так, чтобы ему конкретной работой не ответить! А вот вы, достолавный Леонтий Павлович... Не разевай рот, знаем тебя как облупленного! Ты, Верлиока, с мандатами на проверку шастаешь по ателье, по магазинам, крохоборствуешь, мразь!

— Что-о-о?!

— То! Не тебя вчера в аквариуме, в подсобке, колбасой загрузили?

Верлиока громадным дрожащим телом накренился вперёд. Сергей насмешливо фыркнул:

— Драться будем?

— Мальчиш-шка! — просипел Леонтий Павлович. — Да я твою будку вонючую вверх дном переверну! Я предоставлю факты!

Спустя час в кабинете негде было ступить от обуви, снесённой туда Верлиокой.

— Всякий нормальный человек поймёт, что это с моей ноги! — успел уже и накричаться, и демонстрантом походить в своих туфлях Фон-Петя. Иваныч и Толик виновато отводили глаза, Верлиока не желал его слушать.

— Покрываешь?! — игнорируя Фон-Петю, допекал он Иваныча.

— А что же, если оно так? — вымакивая мятым платком пот со лба, оправдывался тот. — Восемь копеек не хватает у неё в кассе — так что же?..

— А я говорю: не может такого быть! Должно быть лишнее! Сам пересчитай!

— Читал. Восемь копеек. Так что же?

Несмотря на весь свой опыт, Верлиока никак не мог совладать с беспокойством. Этот забияка-зав вёл себя с какой-то дикой непредска-

зуюмостью. Ни споров за каждую копейку, ни подобострастия, ни посулов. И за телефон не брался, не вызванивал охранного слова влиятельных горожан. Леонтий Павлович чувствовал себя локомотивом, оторвавшимся от вагонов, — так непривычно легко всё было и так же абсурдно.

И Сергей не узнавал себя. Жутковатая неуправляемая весёлость погуливала в нём. Всегда расчётливый, гибкий в подобных ситуациях... Раскаяние сыграть, рубаху-парня, вспылить, благородно возмутиться, сунуть деньги... И злобно наслаждаться в душе, зная, что ты ведёшь спектакль — ты, не они! А сегодня... Сломался? Или ретивое взяло верх? А ещё это чувство, что в финале он неминуемо выкинет нечто непоправимое.

— Да-а, — балагурил Сергей с подковыристой улыбочкой. — А вот представьте себе, Леонтий Павлович, что я всегда отзывался о вас с уважением! Проклинает вас кто-нибудь (проклинают вас частенько), а я говорю: нет! Нет, говорю, Леонтия, говорю, Павловича надо понять! Ну что такому видному мужчине даёт работа бухгалтера в ПТУ? Статью, запросами Леонтий Павлович тянет на министра. И — бухгалтер... А в общественном контроле с его знанием финансовых штук да с его характерцем... ох, как можно потешить амбиции! И материальное положение поправить...

Утром Сергей выбрал в кладовой самый большой мешок — не мешок, рогожное чудище.

— Димыч, помоги-ка!

Я забрасывал пару за парой — мешок проглатывал. И принял всё. Кособокий, раздувшийся, он стоял в ореоле потревоженных пылинкок с кукишем узла неуклюже скрученного вверху.

— Интересно, в дверь пройдёт?

— Сам не пройдёт — поможем! — заверил я.

В разинутом багажнике мешок сидел кляпом. С визгом, похожим на боевой клич, мы остановились у Дворца труда.

— Значит, так, — определил задачу Сергей. — Несём — ни у кого не спрашиваем.

Вахтёрша недоумённым взглядом проводила нас от порога до лифта, но так и не нашлась, что сказать. На третьем этаже у двери искомого кабинета Сергей оставил меня в коридоре.

— Разрешите?

Войдя, он удивился скупости обстановки: стол, два стула для посетителей, тощий сейф, похожий на пенал из кухонного набора для мебели. А кабинет просторен.

— Я из обувной, которую проверяли вчера по вашему направлению, — сказал, как к противнику, присматриваясь к хозяину. Костюм из самых-самых недорогих, галстук словно нарочно подобран никаким. В просвете между опорами стола ровно, как у примерного школяра, поставлены ноги в шито-клеевых полуботинках местного производства. — Вот акт проверки, а обувь, если позволите, я сейчас занесу.

— Да, пожалуйста.

«Кто он? — пробовал угадать Сергей. — Убеждённый бессребреник? Или притворщик, всё поставивший на карту ради карьеры?» Очень хотелось, чтобы тот оказался лицемером. Тогда то, что подмывало сказать, прозвучало бы по адресу.

Волоком влекомый чувал въехал в кабинет, рассеивая пыль и оставляя по пути следования блеклые волокна прелой рогожи. Сергей краем зрения следил за реакцией: короткое удивление, а затем — веселье, которое тут же было взято под контроль. Он, в пику кабинетному люду заявившийся сюда с этой чудовищной торбой, ожидал всякого, но что над ним посмеются в усы...

Почувствовал жар на лице, увидел испарину у себя на руках и нелепо выкрикнул:

— Когда нас наконец людьми станут считать, не арестантами?! Что это — в личных вещах рыться, по карманам лазить...

Его внимательно слушали, и кричать дальше было глупо. Тяжело переводя дыхание, Сергей умолк.

— Присаживайтесь, — пригласили его. — Давайте для начала познакомимся. Фамилия моя Сидоренко, зовут Петром Сидоровичем.

— Сергей.

— Мне вчера докладывали о вашем поведении. И о вашей мастерской отзывались нелестно. Откровенно говоря, не ожидал, что вы придёте. Но давайте к делу. Как я понимаю, у вас претензии к проверке.

— Претензии — слишком мягко сказано. Вот прейскурант, вот акт, а вот живые пары, за которые нас обвиняют. Давайте сведём одно с другим, разберёмся!

— Давайте, — Пётр Сидорович развернул к себе экземпляр акта, принесённый Сергеем. — С недостачей в кассе восьми копеек, улыбнулся он едва заметно, — думаю, вы согласны?

— Согласен.

— Книга жалоб не на месте?

- Согласен.
- Сумка неоформленных заказов?
- Клевета.

Пётр Сидорович поднял глаза. Сергея ли пронять ищущим правды взглядом? Наморгнув на свои — как шторку надёрнув — чистосердечие, Сергей заглянул в угольно-серые глаза Петра Сидоровича. И вдруг почувствовал, что его шторка не держит, ползёт. Плутоватая улыбка сама собой скользнула по его лицу, Сергей потупился, сказал:

— Сумка! Что за единица измерения для такого серьёзного документа, для акта?

— Провели Леошу? — усмехнулся Пётр Сидорович. Сергей иронически сыграл бровями и, как показалось ему, понял, что заставило его открыться. Упрись он во лжи, и этот человек неминуемо раз и навсегда отгородился бы от него официальностью.

— Дальше — завышение цен. Ну и перечень! В заказе за номером... взято три рубля как за заднюю полуперетяжку, а произведена обыкновенная замена супинаторов. Сумма перебора — два рубля.

— Вот эти сапоги. Сделана полуперетяжка.

— Можно приглашать эксперта? — поднялись пристальные глаза Петра Сидоровича. — Всё сделанное здесь совпадёт с описанием работ в прейскуранте?

— Нет. Делалось по моему рацпредложению. Зарегистрированному, кстати, по всем правилам.

— И труда затрачено меньше?

— Естественно. На то она и рационализация.

— А цена?

Сергей шумно выдохнул.

— Вы никогда не пробовали такое в ремонт сдать? Чтобы супинаторы сломаны и сапоги без змейки?

— Пробовал! — откинувшись к спинке стула, рассмеялся Пётр Сидорович. — Жена бегала, бегала по мастерским, потом швырнула в меня сапогами. Твоя, говорит, система, что хочешь, то и делай! Так я у себя по соседству Арику десять рублей дал — всё сделалось. Жаль, не знал, что у вас можно тремя рублями обойтись!

— На будущее знайте.

— Спасибо! Но давайте сразу уточним. Свои деньги я волен тратить, как мне заблагорассудится. А вот обирать трудящихся не могу позволить никому.

— Хах ты! — Сергей хлопнул себя по коленям, мотнул головой. — А вам никогда не приходило в голову, что ситуацию с десяткой за пару супинаторов создали вы? Не одному себе, всей стране!

— А это уже интересно!

— О, если у вас есть настроение поговорить, то дальше будет ещё интересней! Значит, взять с клиента три рубля — это, по-вашему, обобрать его. А рубль, нет, не рубль, девятнадцать процентов, девятнадцать копеек заплатить сапожнику за работу, на которую он ухлопает полсмены — это как?

— Нет, простите, рубль — это не «по-нашему», это в прејскуранте записано: рубль.

— Нет, уж это вы простите! Вы с этим прејскурантом не пошли к дураку, который его сочинил! А идёте к сапожнику, требуя, чтобы он жил согласно этой дурости! А он не может. И не хочет. Тысячу отговорок придумает, но супинаторы менять за рубль не возьмётся! А возьмёт сначала троячку — реальную плату за свой труд. А к ней доберёт за риск. Чтобы было чем откупиться, когда посланный вами Верлиока поймает его на троячке и расскажет, что десяти копеек перебора достаточно, чтобы открыть уголовное дело! А теперь у меня к вам вопрос. Когда сапожника принуждают работать полсмены за девятнадцать копеек, вы не чувствуете себя обязанным вступить за него? Ведь он такой же трудящийся, как и тот, которого вы защищаете, не давая брать с него три рубля. И точно так же вносит деньги в профсоюзную кассу, из которой вы получаете жалование.

— Я не понял, вы меня жалованием попрекаете?

— Нет, я спрашиваю: сапожник — он для вас трудящийся или не трудящийся? И второй вопрос. Так кого же вы всё-таки защитили — того, кто приходит в мастерскую, или того, кто там работает?

— Если сообщённое вами принять на веру — никого.

— Э-э, нет! Если бы так! Вы заботитесь об интересах. И крепко заботитесь. Но о чьих? Во-первых, вы, как козла в огород, посылаете на проверки Верлиоку.

— Нет, погодите, нет, нет! — лицо Петра Сидоровича нетерпеливо двигалось, глаза потемнели, поблёскивали, как антрацит. — Леонтий Павлович — да, он скользковат. Но ведь мы привлекаем к проверкам людей от станка. Они не знакомы с ухищрениями бытовиков, с механикой злоупотреблений в торговле. Нужен кто-то знающий. Даём в подкрепление Леонтия Павловича. Но руководят проверкой другие.

— Руководит Леонтий! А им — стыдно. Поймите, порядочному человеку стыдно этим заниматься! Я десятки проверок встретил и прово-

дил. Или приходят люди, которые по совестливости ни во что не вникают, или приходят лихоимцы. Те во всё вникнут! Чтобы слямзить.

— Вот как? Интересно. А я всё же склонен верить, что большинство товарищей, которых мы посылаем на проверки, — люди совести и принципа.

— Верить в совесть? Прекрасно! Но почему бы вам, верящему в совесть проверяющих, не взять да и не поверить в совесть сапожника? А? Что улыбаетесь? Или совесть сапожника пробой не вышла?

— Нет, нет, я так не думаю. А улыбаюсь тому, как вы мыслите — перевёртышами.

— Я? — воскликнул Сергей, чувствуя, что его перемыкает. Что защитное, отвечающее за границы дозволенного, прогорело в нём насквозь, и его, словно током, бьёт припадочной правдой. — А если это вам только кажется и на самом деле у вас в сознании всё перевёрнуто с ног на голову? Вот Верлиока нашёл сумку неоформленных заказов, сделал о ней запись в акте. Кто будет отвечать? Я, заведующий. Как я отвечаю перед начальством? Взяткой. А как, по-вашему, я спрошу с того, кто эту сумку принёс? Правильно! Деньгами. Проверки регулярны, поэтому деньги с сапожника я беру вперёд и с запасом. Чтобы и на проверки хватало, и начальству, и мне. Поделено до копейки: ежедневно, ежеминутно сапожнику с левого его рубля сорок копеек, мне, то есть нам, — шестьдесят. Так-то.

Пётр Сидорович слушал пронзительно.

— Но ведь это, — сказал он без голоса, одним дыханием, — эксплуатация. Вы отдаёте себе отчёт, на что замахиваетесь?

— Отдаю. А вы поняли, что служите у меня загонщиком?

— Вы... Вы это бросьте! Ваше место за решёткой, и я все силы приложу, чтобы вы находились там, где вам положено находиться!

— Вы имеете в виду лично меня или всех нас?

Прозвучавшее «всех нас» недвусмысленно включало в круг соучастников так же и собеседника.

Пётр Сидорович с отвращением отвернулся, зубы его были стиснуты.

— На всех у вас сил не хватит, а сажать одного меня — какой смысл?

— Найдётся смысл! Десяток-другой таких, как вы, посадить...

— И что? Вот коробка передач. Заменить в ней старую шестерёнку новой — что она, в другую сторону крутиться станет?

— Вы что проповедуете? Что у нас неуправляемая страна?

— Если говорить о помянутой коробке передач, то очень даже управляемая. Только во вред.

— Ничего, починим!

— А надо ли? Выбросить — и делу конец. Все, начиная с приёмщицы, занимаемся искусственно придуманной работой. Целыми институтами прейскуранты сочиняем, Леонтий Павловичей расплодили, как...

— Понятно. Ни прейскуранта, ни контроля — полный произвол сапожника.

— Пётр Сидорович, вы же в институте учились, политэкономию сдавали! У вас деньги, у меня умение в руках. Не нравлюсь вам я — ушли к другому. Какая ещё власть нужна клиенту над сапожником?!

— Назад к хозяйчику?

— Хозяйчик — я! — почти выкрикнул Сергей. — И во сто крат более подлый, чем тот, природный, который за бугром! Тот барахлом своим рискует и потому вынужден мастера ценить, дорожить клиентом. А мне начхать на мастера! Мне — пьяница, портач — только бы тихий! И на клиента мне начхать! Передо мной одна задача: доить мастерскую и нравиться начальству!

— Не нужно кричать! Скажите толком, что вы предлагаете?

— А разве не ясно? Оставить сапожника в покое!

— А токаря? А шахтёра?

— Я не токарь и не шахтёр.

— И потому вам наши завоевания поперёк горла... Как же прав был Ильич! Мелкий буржуа никогда, никогда не будет нашим.

— Если Верлиока для вас — ваш, то точно — никогда.

Пётр Сидорович уже слышал в себе привычное, пригодное против всего, что против: «враг!» Но подкупающая, беспощадная к себе самому искренность этого буржуйчика... Он почувствовал, что обязан открыть тому глаза.

— А знаете, — сказал он, дело не в Верлиоке, с которым мы, чего греха таить, вляпались. Для вас тут принцип — оставить в покое. Потому что вы, сильный, в так называемом покое быстренько уселись бы на своих же слабых. Нет? — спросил он, по-интеллигентски оставляя люфт для сомнения и ни капельки не сомневаясь в душе.

В мастерской за обедом он весело выхвастывал, как запудрил мозги кабинетному чистоплюю. А чуял — за спиной, словно карауля, дожидаясь своего часа, стоит что-то недоброе. И казалось, замолчи он, задумайся — тут этому недоброму и время.

Обед вышел затяжной. Потом Колюня принёс ещё две бутылки, позвал полдничать. Но водка была как разбавленная — не отхлестаться ею от повисшего за спиной.

Домой он отправился пешком. Насколько был пьян, догадывался по тому, как шарахались от него люди.

А уснуть не мог. В голове вязко ворочалось: «Рубить концы, рубить...»

Чтобы оглушить себя, выцедил стакан коньяку, сидел над блюдцем с лимоном, раскачивался. «Плохо, всё плохо, так плохо — хуже некуда».

Не в силах дожидаться действия коньяка, снова со стиснутыми челюстями потянул в себя омерзительное зелье. Обрывки последних мыслей спутались в голове, и только одно чувство — плохо, плохо! — не отуплялось, не отпускало его.

Невдолге очнулся плачущим. Бессильный, он полз по полу, царапал лицо колючими ворсинками ковра, страшно скрипел зубами. Потом, как на звезду, смотрел на фонарь за окном, на голую жёлтую лампу под эмалированным колпаком. Мальчишками они расстреливали такие лампы из рогаток. Такая была радость — попасть. И такая чернота вспыхивала в глазах, что целились в свет.

«Прихлопнуть бы так себя...»

Он ехал на фабрику. От заявления в кармане, от мысли о предстоящем ознобно поёживался, веселел.

Саша встретила панически распахнутыми глазами.

— Рвёт и мечет! — прокричала шёпотом. — Приказал тебя — немедленно!

Серо-седые, волчьих тонов, и жёсткие, не лежащие назад волосы директора были вздыблены, как у помешанного.

— Ну? — дал ему слово директор.

— Что? — смеха ради спросил Сергей невинно.

— Шута из себя корчишь? Ты что там наплёл? Какие проценты? Поборы завёл — пойдёшь в тюрьму!

— Это вы репетируете, Иван Мефодиевич?

Директор вскочил, раздувая широкую напряжённую грудь, шарил по воздуху руками, словно искал, чем огреть Сергея.

— Перебеситесь, — хмыкнул Сергей, — тогда позовёте.

У Веры Павловны он без приглашения сел, с весёлым ожиданием заглянул ей в глаза.

— Серё-ожа-а! — сыграла она готовность, пожурив, всё простить.
— От кого, от кого, но от тебя...

И у Сергея был приём против Веры Павловны: улыбаясь, он глядел на неё с обожанием.

— Верочка Павловна, помогите!

— И всегда так: чего ни натворят — Верочка Павловна, помогай!

— Мне надо уйти, Верочка Павловна, тихо и без задержки.

— Что ты! — как в волейбольный мяч, толкнула она в его сторону руками. — И не заикайся! Езжай в мастерскую, я попробую Мефодича унять.

— Верочка Павловна, мне не уладить надо, мне надо уйти.

— ТЕБЕ надо!

«А что надо ВАМ? Придержать и уничтожить показательно — дескать, мы разложившихся караем без пощады...»

— Зачем я вам, Верочка Павловна? Человек на моё место готов, не знали, как поделикатнее спровадить... Нет, объясните Мефодиевичу, что это в ваших интересах, чтобы я ТИХО ушёл.

Добродушная одутловатость её лица исказилась в порочную. И это известно Сергею. Теперь она заговорит, как бандерша.

— Мальчик, стоит Мефодичу пальцем шевельнуть — от тебя мокрого места не останется.

— Верочка Павловна, я парень простой, говорю открыто: не назначите на сегодня передачу мастерской — спихну под откос всю контору.

— Вот! Вот ты и проявился! Мой грех, сбила Мефодича взять тебя после цирковых фокусов. А он мудро говорил: «Привыкла собака за востом бегать — она и за санями побежит!»

— Побежит! Ой, побежит!

— Что ты о себе возомнил, птенчик? Что ты можешь? Вчерашний акт проверки при малейшем нашем желании — готовое на тебя уголовное дело! Кого ты пугаешь, уголовник? Чем? Сказочкой о взятках? Так каждый арестант на других валит, себя выгораживает.

— Да оно-то так, Верочка Павловна, но запах... К чему вам... пахнуть?

В конце дня — звонок.

— Не уходи, — сказала трубка голосом Веры Павловны. — Приедет Маша, передашь мастерскую.

— Приятно иметь дело с умными людьми! — ответил Сергей, хотя трубка уже попискивала глухотой. Тут же поднялся и уехал: доживёт Машутка до утра, не велика барыня.

Передача прошла без единой заминки — Маша подписывала всё не глядя. «Она боится, что я передумаю!» — потешался Сергей. И выкатился из мастерской, словно соскользнул с горочки на детской площадке. Вжжик — и свободен.

С шиком вырулил из двора, пролетел по улице, как скаковую лошадь к препятствию, подвёл машину к бордюру, заставил прыгнуть на него, дверца в дверцу подкатил к телефону-автомату. Девушка, упорхнувшая из телефонной будки, покрутила пальцем у виска.

— Саша, Сашуня, придумай что-нибудь, убеги с работы! Что? Нет, совсем наоборот! Не могу ждать, радость хранению не подлежит! Так. Понял, встречаю.

За городом в придорожном ресторанчике Сергей убеждал её:

— Сашка, это неповторимо! Раз в жизни поступи не думая, брось всё! Завтра будем на теплоходе, помнишь, как по Днепру?

— Остынь, не будь маленьким! Я с первого в отпуске, первого и поедем.

— Саша, мне сегодня надо, сегодня!

— А завтра что?

— А что такое завтра? Что оно такое, что мы из-за него никогда сегодня не живём?

— Серё-ож, не капризничай, потерпи!

Бешабашности уже не было в нём, Саша видела это. Но он держался. Кураж! Целовал её на ступеньках, как похищенную, подхватил на руки. Чувствовал: стоит ему сникнуть, хоть на мгновение задуматься — и придёт то крошечное, уже столько времени караулящее его за спиной.

И оно пришло. Овладело им спящим. Он вырвался из сна с бешено стучащим сердцем и сухим, цепким и колючим, как шлифер, ртом.

«Спокойно! Что случилось? — пробовал вразумить себя. — Разве не естественно радоваться свободе? Что дальше? Рабский вопрос!»

Ему ли, ему ли не пристроиться, он ли не найдёт себе на хлеб с маслом?

Но где, как? Шить обувь? Руки истосковались, всей душой бы он влёгся в эту работу. Но гнуться на кровососа... Нет. Что угодно, а это — нет. Самому — кровососом? И этим сыт. По ноздри.

И он узнал, что стерегло его за спиной. С непреложностью, незыблемой, как дважды два, открылось, что третьего пути не существует. А первый и второй им испробованы, и снова ему уже ничем не заставить себя пойти по тому или другому. Не что-то изчужа — отвращение, ско-

пленное им самим, заполнившее до краёв, — не пустит его никуда, не даст жить.

Не спала и Саша, лежала затаившись. Светало. Мятая постель, как видела она её, лёжа щекой на простыне, походила на дюны. Сергей был счастлив тогда, на взморье. Какое это счастье, когда он счастлив!.. И что его мучает теперь? Господи, столько людей завидует ему, а он... Он не любит её? Да, не любит. Ну и завёл бы другую, бросил бы её к чертям собачьим! Всё лучше, чем такая мука...

Она приподнялась — заглянуть ему в лицо, выведать у спящего. Сергей слышал, но глаз не открыл — лежал на спине с расслабленным, вымученным лицом старика.

«Боже! — ужаснулась Саша. — А я — с ревностью, бесноватая баба...»

Когда Саша ушла на работу, он уснул. Проснулся за полночь. Неудобно поглядывая на себя в зеркало, побрился. Потом позвонил Саше — чтобы не приходила сегодня — и лёг отдохнуть, набраться сил для главного.

Поднялся в третьем часу ночи, зашел в туалет.

На улице тихо, свежо. Оглашенно пронеслось такси, всполошило тени.

Тропка завела его в палисадник. Чтобы не возвращаться, он пошёл через клумбу — мягкую, как что-то живое, и, переступив заборчик, очутился у глухого торца двенадцатизатяжки. Там, под деревьями, было темно, как в колодеце. Сергей глянул вверх и, качнувшись, панически заискал руками стену, уронил взгляд. Высоты он боялся врождённо, а эта стена, если смотреть оттуда, где он стоял, отвесно и невыносимо глубоко уходила в небо, которое за чёрным бортиком кровли, зияло бездоньем.

Холодом, пошедшим от сердца, стянуло кожу. Он сцепил зубы и, шаря по стене в поисках выбоины, за которую можно бы ухватиться, приказал себе поднять глаза. Шея не слушалась. Множество жил напряглось под подбородком. Но он тянул и тянул голову назад и — глянул в леденящую пропасть. Смотрел долго, с вызовом. «Вот так, — сказал удовлетворённо. — Так, — утвердил, — туда».

Лифт словно ждал его — заурчал приветливо, нараспашку отворил своё светящееся нутро. А дальше, представлял Сергей, будет лесенка из арматурных прутьев, тесная дверка-люк, крыша — пологая, облитая чёрным, липкая.

Всё было так: лесенка, дверка в половину его роста, но — запертая. Крохотный, простенький замочек. Достало бы скрепки, двух спичек, но в карманах — ничего. Тут за его спиной клацнул замок. Пойманным воришкой Сергей сжался на лесенке. Приоткрылась дверь, и вылетел кот. Упал на лапы, хищно вздыбил шиворот, воззрился на Сергея сверкающими глазами.

— Х-х-у! — перевёл Сергей дыхание. «Сколько, — подумал, — всё же трусости во мне! всю жизнь с поджатым хвостом!»

Он сдавил замок в кулаке, крутнул, что было сил и злости. Скрежет, писк — и на петлях заболталась голая дужка.

Ещё не различая границ крыши, Сергей двинулся по плавному скату. Ужас входил в него через ступни. Ноги немели. Вот и край. Низкие перильца из прута толщиной в палец, обрыв. Испытывая мерзкую дрожь в коленях, в поясице, он согнулся, вытянул шею, чтобы на кратчайший миг увидеть провал, дно которого освещала лампа при входе в подъезд. Ему так пануло в глаза высотой, что он упал на спину и, быстро-быстро перебирая руками и ногами, пятился до самой лифтовой надстройки.

Весь трясущийся, стуча зубами, просмеялся: «Что, кишка тонка?..»

Страшно было не смерти — пропасти. И будто бы кто-то маленький в нём, больше смерти боящийся высоты, взмолился к нему-большому: зачем толкаешь меня в пропасть? Хочешь убить себя? Но мне страшно! Неужели, чтобы ты умер, я должен претерпеть такой страх?.. и зачем тебе умирать? за что? те, выжившие тебя из жизни, будут жрать, пить, смеяться над тобой, как над последним дураком!

«Не сделаю сейчас, — подумал Сергей, — не сделаю никогда».

Битым, сломанным вернуться в ту же подлость, снова замаливать свой бунт, искать себе нового Ивана Мефодиевича, выслуживать его расположение...

Иступлённо зажмурившись, он оторвался от надстройки, побежал. Непослушные ноги толкались о твёрдое. Какой шаг провалится? Вдруг, ослепительно больно подсечённый перильцем, он кувыркнулся — в пустоте. И в ту же секунду прозрел: жизнь!!! жить!!!

Он извернулся, хватая руками воздух, ища опоры.

Изнутри неслось истошное: «Конец! Конец! Конец!»

А он всё летел, и это долгое-долгое последнее его время с невыносимым ускорением заполнялось ужасом перед тем, что он сделал, на что покусился.

И не что-то другое — этот ужас вдруг взорвался, распылив его, Сергея, в чём-то, что было ничем.

Сергей Игнатьев

Москва

ПОТЕШНИК

Идол стоял на самом видном месте, при въезде в село, и такая дерзость удивляла уже сама по себе. Изумителен был и его внешний вид: будто кто-то собрал из причудливо изогнутых ветвей и острых сучьев подобие человеческой фигуры.



Порыв промозглого октябрьского ветра извлек из идола звуки: забрякало, засвистело, зашелестело... Лошади заволновались, заржали. И даже седокам, хоть были те люди служилые, на миг стало не по себе.

Идол выглядел живым. Подобие человеческой фигуры исступленно изогнулось в танце. Шелестели привязанные к веткам и сучкам многочисленные ленты, выцветшие на солнце. Позвякивали на ветру колокольчики. Побрякивали бусинки и монетки на нитках. Посвистывали полые трубки с прорезанными отверстиями. Звуки складывались в причудливую мелодию и, будто откликаясь на нее, ветер усилился. Зашептал еловый лес позади идола и откликнулась ему, с шорохом осыпаясь, медово-желтая, золотая и лиловая листва рощи по ту сторону дороги.

Идол и оказался живым. Когда дюжина всадников приблизилась, стало видно, что это не идол вовсе. Чьей-то прихотливой фантазией и долгими трудами были перекручены ветки живого дерева. Кое-где, едва заметные за лентами, трубками и бубенчиками, на нем еще подрагивали листья, ярко-алые в закатных отсветах.

— Всяких я видал образин языческих, но такое... Глянь, дубовый, ровно рука моя! Что думаешь, Жилька?

Ефремка Удалой постучал по коре идола лакированной десницей, за бешеные деньги сработанной мастером-фрягом.

— Плохой земля, идол шайтан, лес плохой, — молодой мурза Джиллетдин Кара-Шонкар нахмурился и сплюнул. — Смертью пахнет. Яман урман, Ефрем-абый!

Кузька-Знахарь же ничего не сказал за неимением языка, но промычал согласно.

— Глухомань лесная и запустенье, — Ефремка обозревал с возвышенности место назначения — неширокая проезжая улочка, десятка три дворов, перемежаемых чахлыми огородиками, все заросшее и запу-

щенное. — И церкви не видать. Да отчего же оно селом называется... Боярин-то покойный, Друбецкой-меньшой, Василий Ляксеич, сюда наведывался раза два. Но охоту нахваливал, знатная тут охота...

— А вон, должно, и его, Друбецкого, терем? — указал Алешка Оглобля, знаменитый ростом и зоркостью. — Выглядит славно! Погоди-ка... а что за развалины заросшие у моста, вроде там крест торчит... Никак церковь их? Ну-у, дела...

— А человек никого нет, — качал головой мурза. — Ставень закрыт. Совсем яман место.

— Мыыыэ... эммыы... ааы? — Знахарь сморщил обезображенное лицо.

— И то верно, — кивнул Ефремка. — Собаки не лают, козы не блеют. Пашни подлеском заросли, да густо как... С чего ж людишки кормятся?

— Шайтан-помесье... Э, гляди! Вон такой еще дуб, молнией пожен.

В глубине леса, меж разлапистых еловых ветвей, в закатных лучах чернел силуэт старого дуба, от которого остался один мертвый и обугленный ствол.

— Ну, вот что, милые, — заключил Ефремка. — Сильно не нравится мне это Веселухино. Облачимся-ка по-ратному. Мне так и за себя, и за господина нашего спокойней будет.

Все они, не сговариваясь, посмотрели на господина — ожидая его вердикта, одобрения...

Но он, как всегда, не слушал. Он молчал, глядя куда-то выше острых еловых верхушек и низко нависших сумрачных туч.

В ворота застучали требовательно и громко.

На ходу путаясь руками в рукавах кафтана, по-стариковски кряхтя, веселухинский волостель Филимон сползал с крыльца:

— Бегу-спешу, ох, кого нелегкая принесла... — споткнулся о тыкву, которыми завалены были ступени. — Ах ты, ма-ать...

— Оглохли там все, что ли?! — ревели из-за забора. — Дрыхнете?! Отворяй, живо, ну!

Справившись с засовом, Филимон отворил ворота, близоруко прищурился, зашамкал беззубым ртом, попятился. Он увидел рыжебородого здоровяка со зверской мордой, в алом стеганом тегиле с высоким воротом. В ворота тот колотил лаково блестящей рукой из темного дерева. Подле него скалил белые зубы молодой красавец-татарин в воро-

неной кольчуге и лисьем малахае. Поигрывал бердышом косматый великан в остроконечном шеломе. За ними маячил еще с десяток конных в полном ратном доспехе. В лучах заходящего багряного солнца поблескивали острия копий и лезвия совней.

— Уснул, старче? — оскалился рыжий. — Ты, что ли, здешний волостель?

— Верно, батюшка, — поспешно закивал Филимон. — А вы что же за воинство, позволь спросить?

— Мы, старче, люди государева стольника из детей боярских, десятника опричного войска, Артамона Михайлова сына Дьяконова... Коему нынешнего августа пятнадцатого дня, государя Иоанна Васильевича личным указом, и село Веселухино, и вся волость Веселухинская пожалованы за ратные его труды... Грамоте-то обучен ты?

Рыжий извлек из-за пазухи и потряс у Филимона перед носом внушительным свитком с печатями. Волостель пальцами оттянул кожу по краям глаз, все щурился, пытаясь рассмотреть прибывших. Среди конных воинов выделялся безоружный, но с увесистой сумой через плечо, облаченный в вишневый плащ с откинутым капюшоном, человек неведомого возраста и сословия: обожженное лицо без ноздрей, без ушей, ни бровей, ни волос... Сухая образина. Он держал за повод породистого гнедого жеребца, в седле которого покачивался отрок годков тринадцати. Облачен он был в шитый серебром черный кафтан, на поясе сабля. По-детски округлое лицо отрока было бледно, отрешенный взгляд направлен куда-то в сторону леса. Пряди длинных волос, выбивавшиеся из-под собольей шапки, были совершенно седые. К луке седла у отрока с одной стороны была приторочена крашеная черным метла, с другой — безукоризненной белизны собачий череп.

Филимон судорожно сглотнул, зачастил:

— Прибыл, значит, батюшка, надежа наш, заступник, государев слуга, радость-то какая, ох! А уж мы как намаялись в безвластии, как настрадались сиротинушками, это же почитай годков десять...

Волостель, на ходу кланяясь, метнулся вперед, но рыжий придержал его, уперши в грудь кнутовищем:

— Не блажи, старик, не блажи. После новому господину ручки обლობызаешь. Ты лучше столом займись, ужин собери, ночлегом нашим озаботься. Устали мы сильно, вторую неделю в седлах. И смеркается уже...

— Да-да, ох, ведь не ждали же, батюшка. Не готовились. До нас вести-то доходят... Да ты и сам видишь, в каком медвежьем углу живем...

Рыжий, зверски играя бровями, открыл было рот...

— Ладно, — вдруг негромко сказал отрок-опричник, не глядя ни на кого, и непонятно к кому обращаясь.

Глядя сквозь людей, улыбнулся приятной задумчивой улыбкой.

Бревенчатый терем прежнего веселухинского владельца, Друбецкого-меньшого, сохранился превосходно. Казалось, и печь еще не остыла, как опальный боярин отбыл в Москву с последней своей охоты. Пустовали только конюшни и птичник.

Уже затемно, после бани, переодевшись в чистое, сели ужинать в просторной горнице. В караул на крыльце заступил великан Алешка Оглобля.

За столом прислуживали степенные старушки в темных вдовьих платах. Служилому человеку отрадней, когда пироги подает румяная молодуха, но таких приезжим в селе еще не встретилось. Как, впрочем, и ни одного молодого парня. И ни одного ребенка... Пирогов не было тоже. Ефремка Удалой если и подивился с такого обстоятельства, то с расспросами решил повременить.

Юного опричника Артамона Михайловича усадили во главе стола. Кормил его Кузька-знахарь с ложки, утирал рот шитым полотенцем, что-то ободряюще мыча.

За виночерпия служил Жилька-мурза. Господин вина не пил, но Жилька по традиции подносил, всякий раз отпивая из кубка сам, отчего довольно быстро нарезался.

Опричник пищу принимал безучастно. Он был неподвижен: идеально прямая спина, взгляд сквозь всех. С тех пор, как въехали в село, опричник молчал. Всего дважды улыбнулся. Один раз сказал «ладно» тыквам на крыльце. И один раз сказал «нет» свечному пламени. Волостель Филимон, если и подивился с такой картины, то поспешил свое удивление скрыть.

Стол ломился от еды. Были тут и рябчик с ягодным взваром и супный борщ с жареными карасями, и щучина, и копченая кабанятина, и оленина, и маринованные опята и соленые грузди, и свекольный квас и квас репяной... Орехи каленые, брусника моченая... Варенья: ревеневые, черемшовые, земляничные, клюквенные и голубичные... И мед — густой и тягучий, в свечном неярком свете переливающийся жидким золотом, будто разлили по кадкам теплый солнечный свет... Хлеба же не было совсем.

Ефремка Удалой подсел к волостелю и принялся угощать его из личных запасов: были у него припасены для такой оказии две бутылки отменного хлебного вина, для удаленных от Москвы краев еще непри- вычного.

Старик оказался не дурак выпить. На исходе второй бутылки чуть не обниматься лез к Ефремке, закадычными друзьями стали.

— Удивительно мне ваше село, — решил перейти к делу Ефремка. — Пашни заросли, скота не держите... Чем кормитесь?

— Лес кормит, батюшка, — Филимон отчего-то хихикнул. — Лесом кормимся.

— Что-то темнишь, старый, — подливая волостелю, прищурился Ефремка. — где ж мужики ваши? Где бабы и дети малые? Одно стари- чье на селе, это как так?

— Времена тяжелые, батюшка. Войны, мор... Кто убер, кто на зара- ботки подался... А то как же... Как нынче хлеб дорог! Голодно, страш- но...

— Да ведь врешь, — пробормотал Ефремка себе под нос.

— Мы люди бедные, подневольные, — вздыхал старик. — Все в тру- дах аки пчелы... некогда нам потешиться...

— Ладно, — улыбнулся Артамон, скосив глаза на «красный угол».

Повисла напряженная пауза. Продолжения не последовало, воины вернулись к мясу и медовухе.

— Дозволь спросить, служивый? — зашептал Филимон, в свою оче- редь, подливал Ефремке. — А за что же прежнего нашего господина, Василия Алексеева сына Друбецкого-младшего головы Государь изво- лил лишить?

— Известное дело! За черное колдовство.

— Эвона что! — деланно удивился старик. — А еще дозволь уз- нать... Отчего господин ваш... я хотел сказать наш... так... эээ... молча- лив и безучастен?

— Не выберется никак с гуляй-города, — непонятно пробормотал Ефремка.

Он прислушивался к тому, как за закрытыми ставнями подвывает ветер и шумит ближний лес.

— Штой-то не пойму тебя?

— Дур-рак... Небось не слышали вы, какая в нынешнем июле сеча была на речке Рожает? Дикий вы народ... Слушай же, при селе Молодах мы, под началом князей Воротынского и Хворостинина, сошлись с ца- рем крымским Девлетом. Мы с нашим господином в ту пору гуляй-город держали, крепко нам досталось, уж кониной закусывали... А как яныча-

ры пошли на последний приступ, сеча такая пошла, что не приведи Господь... А наш-то в первых рядах, даром что в возраст еще не вошел, отцовская кровь... Но ужо как Хворостинин с тылу по Девлету ударил, так он и побегал, и гнали до самой Оки-реки... Искали мы господина нашего. Да не сразу нашли. Лежал он под горой мертвяков, еле дышал... Выходили... Но с тех пор стал Артамон Михайлыч изрядно задумчив.

Ефремка слушал: из-за ставней будто доносилась мелодия. Музыка давешнего идола: звенели колокольчики, брякали бусинки, посвистывали дудки и шелестели ленты.

— Ох, напасть...

— Я-то еще с отцом его службу справлял, лютый был воевода Михайла Андреев, по прозванию Дьякон... А до чего голосист был! Надежа-Государь наш его среди опричников особо выделал за певческий талант. Но то псалмы и стихиры... А уж как бился в Ливонии! Один целой сотни стоил! Ядром его убило... А мне тем же самым ядром... Во!

Ефремка постучал по столу дубовой ладонью, фряжским шедевром.

— А кой-та такой страшный при господине вашем, кормит его?

— Это Кузька Знахарь, — Ефремка с хрустом откусил соленого огурца. — Книгочей. Ученый человек.

Что это я все ему рассказываю, подумал он, жуя, да ведь я набрался почище старика! А мелодия за ставнями будто набирала силу — шелест, скрип, перезвон...

— А что это, дозвошь спросить, с его лицом да с ушами?

— Государевы заплечных дел мастера подправили.

— А великан тот косматый, что на крыльце сторожит?

— Это Алешка Рязанец, брат мой крестовой. Оглоблей зовется. При Чашниках тому восемь лет назад, когда врасплох нас брали, при обозето... с десяток литовцев тележной оглоблей завалил.

Ефремка слушал: за ставнями играла музыка. Музыка леса. Скрипели древесные кроны, шелестел листопад, что-то звенело и посвистывало.

— Интересная жизнь у вас, у служилых... А татарин-то... уж больно силен пить, разве им это полагается?

— А он наш, крещеный... Да и медовуха-то у вас какая волшебная, амбровзий какой... На чем настаиваете?

— На черемуховом цвете. Чем богаты...

— Это чего это у тебя?

Ефремка углядел что-то в седой бороде у волостеля, ловко ухватил и дернул пальцами здоровой руки.

Между пальцами извивался бледно-зеленый завиток, вроде земляничного уса. Старик неожиданно ловко перехватил его у Ефремки, одним быстрым броском отправил в беззубый рот, запил хлебным. Молодецки хекнул.

Медовуха лилась рекой, усталость долгой дороги отступала. Бодрили звуки, доносящиеся из-за ставень. Ефремка почувствовал, как по усталому его, многожды изломанному, в боях израненному телу, растекается юношеская бодрость, эдакое сладкое предвкушение неведомого еще веселья. В пору пляс пустится от такого пиршества!

Да и музыка эта: музыка леса... Скрип, звон, свист и шелест. Слитные рукоплескания, ритмичный топот.

Ефремка поймал себя на том, что хлопает дубовой десницей, фряжским произведением искусства, по столу, отбивая незамысловатый такт. Притоптывает по доскам пола сапогом. Огляделся: так же поступали и прочие воины.

— Лесом, значит, говоришь, кормитесь? — Ефремка озадаченно наблюдал за собственной рукой.

— Верно, батюшка, — в тон ему, весело отвечал Филимон. — Лес кормит. А мы ему танцуем...

— Что, прости?

— Мы все пляшем, — новым, молодым голосом сказал волостель. — Хозяин-то наш Потешник. Он любит, когда танцуют.

Ефремка и пустился в пляс. С лавки встал, кованым сапогом притопнул, выдал коленце, живой рукой по сапогу хлопнул с оттяжкой. Последовали его примеру и другие служивые люди.

Двери в горницу распахнулись.

Радостно визжа, вбежала голая девка, перемазанная чем-то черно-зеленым, запрыгнула на стол, начала плясать, пиная кубки и плошки, разливая меды и расплескивая борщи.

Следом за ней вломились, танцуя и напевая непонятное, еще голые и грязные — много, толпой... Звенели бубны, истерически заходились свирели. Толпа хохотала, била в ладоши, визжала и выла.

Чутким воинским инстинктом, не понимая еще, к чему идет, Ефремка почувствовал, что следует делать:

— Жилька, Кузька! — он попытался нашарить у пояса саблю, но той не было. — Господина уводите!

Ефремка обрушил дубовую десницу на голову радостно хохочущему волостелю.

Жилька, пьяно спотыкаясь и хихикая, нес безучастного Артамона Михайлыча на закорках. Кузька, оскалив и без того страшную харю, тащил татарина за рукав. Впереди — Ефремка, приплясывая, расталкивал грязных и голых, разя деревянной рукой на манер булавы.

Кое-как прорвались, с матом выскочили на крыльцо.

Посреди двора местные доедали их лошадей. Не переставая танцевать.

На узкой проезжей улочке Веселухина народу было ровно как на московском Лобном месте.

Все они были тут — дряхлые старики и старухи. Мужики и бабы. Парни и молодухи. Девчонки и мальчишки.

Они танцевали, славя Потешника. Они топали ногами и били в ладоши, подпрыгивали на месте, кувыркались и приседали, крутились на задницах, плескались в лужах.

Все без нательных крестов. Вовсе без одежды. Без порток, без платьев, без рубах... Все они были голые. Измазанные землей, глиной, дерном и еще какой-то терпко пахнущей темно-зеленой жижей.

Они танцевали дикий танец, извивались и подпрыгивали, гладили друг друга и целовались. Иной, ничуть не смущаясь, подхихикивая, обеими руками наяривал уд. Другая, закатив глаза, наглаживала мощные груди. Отдельные парочки иступленно сопрягались прямо на ковре из палой листвы. Пахло едким потом и перебродившими яблоками.

Пахло кровью. Безумцы доедали лошадей, тянули внутренности, разрывали шкуры, передавали дымящиеся куски сырого мяса и липкие гилянды кишок из рук в руки, жадно кусали, вымазывая щеки и рты горячим и красным.

Все они были тут. И живые, и мертвые. Потешник собрал всех жителей села со времен его основания.

Плясали пришедшие с кладбища скелеты в истлевших саванах, которым гибкие лозы и ветви заменяли мышцы, а мох и древесная кора кожу и плоть. Присоединились к танцу и те, кто сгинул без погребения — облепленные тиной утопленники, рыбьей чешуей покрытые пленники болот и хвоей проросшие узники чащоб. И жуткие мертвецы лобызали живых и те отвечали им с пылом и страстью.

Плясали все поколения села Веселухина со времен его основания прапрадедом покойного боярина Друбецкого-младшего.

И сам Потешник был среди них. Возвышался над ними — сперва Ефремка принял его за скомороха на ходулях. Конечности у Потешника были тонкие и длинные. Два нижних гибких отростка он попеременно

вонзал в землю, передвигаясь, двумя верхними касался голов танцующих. Поглаживал их поощрительно. Крошечная головка — не разглядеть! — маячила на высоте трех человеческих ростов. Бескостный, извивающийся, текучий, он дергался и извивался в танце. Он прорастал. И весь светился призрачным мертвенно-зеленым светом. И мириады сопровождавших его светлячков, кружа над улицей, превращали ночь в день.

Что-то окровавленное огромное тело в разорванной рубахе толпа передавала по рядам, на вытянутых руках. Наконец безвольное тело достигло Потешника. Тот разом впился в него двумя верхними конечностями-побегами, подхватил, весь исступленно дрожа, поднес к плоху различной во тьме голове. Ефремка не мог рассмотреть, что произошло там, на высоте трех человеческих ростов. Брызнул исчерна-зеленый сок. Его капли падали вниз, толпа жадно хватала их ртами, втирала в лица, требовала ещё, ещё, ещё...

— Алешка-а-а! — взывал Ефремка, лихо топча по доскам крыльца сапогами. — Бра-а-ат! Да что же вы, суки, творите?!

Потешник уже отпустил Оглоблю. Великан был среди толпы, возвышаясь среди всех, радостно размахивал руками, подпрыгивал, хохотал. Поблескивали слепые бельма глаз. Он приветливо помахал Ефремке лопатообразной ладонью.

Толпа меж тем, пританцовывая, подступала к крыльцу.

— На нас прут, Ефрем-абый, заметили! — воскликнул Жилька-мурза.

Он прислонил юного опричника к стене. Подхватил из-под ног перезревшую тыкву, кинул в подступающего к ступеням мужика. Тот, пританцовывая, высоко задирает голые коленки, на затылке чудом удерживался разорванный треух, напряженный член упирался чуть ни в пупок. Тыква с хрустом раскололась, мужик рухнул навзничь.

Но его место заняли другие.

Ефремка кинул тыкву — попал в оскаленный череп, оплетенный тинной, из глазниц которого высывались, прищелкивая в ритме танца, рачьи клешни.

— Ымы мыэээ, — промычал Кузька, роясь в безразмерной суме.

Он единственный среди окружающей безумной пляски твердо стоял на ногах. Он не танцевал.

— Сам вижу, край нам, — огрызнулся Ефремка, крутясь вокруг своей оси, стуча по доскам каблуками сапог. — Как прорываться будем??

Швырнул тыквой — попал в какую-то толстомясую деваху с распущенной косой.

Следом швырнул Жилька — сбил с ног мертвяка с громадными лапщами-корягами.

За их спинами, в глубине терема, кричали, что-то загрохотало, пошла волна жара, потянуло гарью. Распахивались ставни, голые безумцы со свирелями и бубнами вперемешку с артамоновыми воинами прыгали в толпу, охваченные пламенем. Толпа мягко принимала их десятками ладоней, десятками лап, сбивала пламя, и передавала по цепочке, дальше-дальше, перекидывала, будто горячую печеную картошку с ладони на ладонь... К Потешнику. В его цепкие руки-побеги.

Кузька извлек из недр сумки пригоршню черного порошка, щедрым жестом сеятеля бросил в толпу, надвигавшуюся на ступени крыльца. Бабахнуло и полыхнуло. Танцующие с криками отпрянули, обжигаясь. Но ненадолго. Тотчас сомкнули ряды, сдвинулись ближе, еще ближе...

— Сабля нет, конь нет, — пьяно возмущался Жилька, пританцовывая с тыквой в руках. — Дом горит. Господин молчит. А-а-а, шайтан!

— Мныы? — Кузька указал пальцем на то место, где ранее располагалось его ухо.

— Ах ты мать честная, курица лесная! — Ефремка прижал ладони, живую и деревянную, к ушам. Мелодия хоть продолжала беречь душу, но власть ее заметно ослабла. — Успеем?! Прорвемся? Бежим!

— Куда бежать? Коня нет?! Сабля нет?!

Какой-то упитанный грязный ребенок лет пяти с разбегу боднул мурзу головой в живот, тот закашлялся. Ефремка пнул малютку под зад — тот слетел со ступеней, будто снаряд, повалив пару-тройку оживших мертвецов.

— Мны... мыааа... ымы-ыы...

— К окраине прорываться будем, Жилька. Слушай, что ученый человек говорит. Заборами уйдем...

Тут зазвучал Потешник.

Говорил он не голосом, но его желание, его приказ раздался прямо в Ефремовой голове: «да да да потешно потешно веселье человечки потешные человечки вкусные человечки велено вам танцевать танцевать танцевать...»

Толпа качнулась к крыльцу, живые и мертвые, наседая друга на друга, тянули измазанные землей руки, пясти в клочьях истлевшей плоти, упругие прутья, детские ручки, корявые ветви, девичьи гибкие длани, чешуйчатые когтистые лапы, мясистые мужские пальцы... Схватить, удержать, передать, преподнести Хозяину...

Кузька спешно бормотал свои знахарские заклятья, разок дохнул пламенем, опалив особо настырных, но оно тотчас погасло, заглохло,

под напором многочисленных тел, раздалось сдавленное мычание, треск рвущейся материи. Толпа проглотила знахаря.

Жилька безуспешно отмахивался кулаками, пытаясь собой закрыть господина. Но толпа лезла и лезла, перла живой волной, шла по головам, напрыгивала, наседала, с хрустом вминая в крыльцо собственных товарищей. Артамон Михайлович стоял у стенки, как оставил его мурза, безвольной куклой с идеально прямой спиной, игрушечным отроком в шитом черном кафтане и при сабле. Он молчал, он не улыбался, он не обращал на происходящее вокруг безумие никакого внимания. И мурза, и опричник скрылись за валом грязных тел и омерзительных остовов. В глубине кучи-малы трещало и чавкало.

Что-то подкатилось к ногам Ефремки... Белозубо ухмыляющаяся Жилькина голова.

Ефремка, яростно рыча, успел нанести несколько ударов по косматым головам и замшелым черепам своей расчудесной фряжской работы десницей. Очередной подступивший уродец ловко парировал его удар — у мертвеца была своя деревяшка: вместо руки проросла суковатая дубина. «Ох ты ж...», подумал Ефремка, в глазах ярко вспыхнуло... и мир погас.

Ефремка летел. Избитый, изломанный, полузадушенный, он переходил из рук в руки, из лап в лапы... Руки и ноги его, все еще подчиняясь мелодии, слабо трепыхались в стылom ночном воздухе. Что-то даже приятное было в этой беспомощности. Какая-то сонливая истома... Куда бежать? Зачем биться? Что воля, что неволя...

Ярко полыхал терем покойного боярина Друбецкого-младшего, рассыпая искры. Толпа пятилась со двора. Толпа утомилась от бешеной пляски. Движения замедлились, все устали. Пиршество подходило к концу. На том месте, где стоял опричник, копошилась груда мертвых и живых тел. По крыльцу бродил безголовый Жилька-мурза — подбирал одну за другой тыквы, примерял себе на плечи, разочарованно отбрасывал. Наконец, нашел собственную голову, кое-как пристроил. Лучезарно ухмыльнулся, приветственно помахал рукой.

Ефремка уже достиг Потешника. Что-то больно впилося в бока, но не было даже сил застонать — болело всё тело. Ефремка поплыл вверх, сиюсь разглядеть в отсветах пожара и мерцании светлячков голову существа.

Головы у Потешника не было. Тонкая шея-ствол увенчана была круглым плодом-бутоном в венчике движущихся жестких лепестков.

Лепестки разом раскрылись, открывая блестящее слизью волглое нутро, и к лицу служилого человека, похотливо подрагивая, потянулись десятки тончайших щупалец. Каждое оканчивалось жадно похлупывающим мерзким мохнатым рыльцем.

— Да подавись ты, — устало прошептал Ефремка разбитыми губами.

И сунул дубовую десницу, произведение фряжского мастера, прямо в жадное нутро.

Потешник подавился, дернулся, затрясся от головы-бутона до кончиков нижних конечностей, вонзенных в осеннюю грязь. Слепо и бессильно заматались конечности верхние, как бичами, хлеща по головам поклонников-почитателей, сдирая здоровую кожу и сметая ошметки плоти истлевшей.

Ефремка тяжело плюхнулся в грязь, посреди разом отхлынувшей толпы.

Запричитало в голове Ефрема и в головах всех присутствующих: «нет нет нет нельзя нельзя нельзя невкусный дуб неживой дуб непотешный дуб наш дуб нельзя дурно дурно дурно»

Мертвенная тишина повисла над селом.

И в этой тишине особенно отчетливо, громко и яростно вдруг закричал Артамон Михайлов сын Дьяконов, опричный десятник и государев стольник:

— НЕ ЗАМАЙ ДЯДЬКУ!

Вылезая из мешанины тел, живых и мертвых, из переплетений рук и лап, из чудовищной кучи-малы, он разил саблей направо и налево. Во все стороны брызгало черно-зеленой жижей и темно-алой кровью, летели ошметки плоти и древесной коры, срубленные лапы, руки, сучья...

— Ах ты ботва трепаная!

Остро отточенная сабля в отблесках пожара казалось выкованной из пламени. Шапка свалилась, бледное лицо отрока было перемазано черным соком, серебряные кудри слиплись от крови, кафтан разодран.

Одним духом опричник прорвался через толпу к Ефремке, подхватил его за шиворот, потащил дальше, рубя направо и налево, страшно ругаясь и рыча диким зверем.

Потешник беззвучно кричал, страдальчески шатался, мотая над улицей неловкими конечностями.

Толпа теснилась, отступала, ломая заборы и плетни, падая в канавы и овраги, наступая друг на друга.

Из растерянной толпы лишь двое попробовали задержать Ефремку и опричника. Откуда-то возник чумазый, как черт, волостель Филимон в обгорелом кафтане. И покойный великан Лешка-Оглобля, расталкивая мертвых и живых, устремился к бывшему своему крестовому брату.

Волостель, не по возрасту проворно перехватил древко совни, со свистом рассек ей воздух слева-направо и ткнул лезвием прямо в лицо Артамону. Опричник увернулся, взмахнул саблей, ударил поперек. Старик, вытаращив глаза, уставился вниз и... развалился на две части, верхнюю и нижнюю. Ефремка подобрал совню, и встретил ей страшный удар, направленный на господина — Лешка-Оглобля и в этот раз вооружился тем, что под руку попало: вытащил из забора длиннющий дрын. Великан ухнул, вновь замахаясь дрыном, но Ефремка с натугой ткнул его в незащищенный живот, пробил насквозь. Лешка, нанизанный на совню, как на вертел, ревя, повалился в придорожный кювет. Ефремка чуть не последовал за ним, но помог опричник — подхватил под мышки:

— Держись, дядька, еще посражаемся...

— Знаешь, что делать? — прохрипел Ефремка.

— Знаю, — опричник побежал дальше, к окраине села, к изумительному идолищу. — Батя подсказал...

— Ну, ясно, — пытаюсь поспеть за хозяином, зажимая изодранные чудищем бока, пыхтел и морщился Ефремка. — С кем же ты еще языками-то чесал все эти дни... Конечно, ятить-колотить... Михайла Андреич-то голова...

Из кювета пытался выбраться мертвый Алешка. Волостель, шипя по-змеиному, полз на руках по грязи, из него вытекала зловонная черная зелень. Вторая его половина слепо сучила ногами посреде дороги, потеряв уже один сапог.

Артамон, с разбегу наткнувшись на идол, увешанный бубенчиками и лентами, стал карабкаться по искривленному стволу молодого дуба, ловко будто кошка, нанося саблей один удар за другим. И каждым ударом срубал с дерева по ветви, а то и по две, и по три... Посыпались градом ленты, дудки, монетки и бусинки, колокольчики. Молодой дуб трещал и стонал под ударами.

Беззвучно выл Потешник, трясся и крутился, на глазах сморщивались, усыхали его конечности-побеги.

Рассыпались в прах скелеты в истлевших саванах, чернели и морщились гибкие лозы, крошились и обращались пылью мох и древесная кора... Зловонными лужами расползались утопленники, жидкой гнилью

исходила тина, рассыпалась поблекшая чешуя, на глазах рыжела хвоя...

Возвращались в разум живые: кто плакал, баюкая культю, кто ползал на четвереньках посреди грязной лужи, недоуменно глядя на собственное отражение... Находили своих, заново узнавали родню...

Их всех, и больших и малых, мучительно долго, с проплевом, рвало под ноги черно-зеленой вязкой гадостью.

— Врезал дуба, — прошептал Ефремка и перекрестился.

— Славная была сабля. Жаль иступилась вся... Перевязать тебя, дядька, надо.

— Ничего, до свадьбы заживет. Под Чашниками-то рейтары посильнее покромсали.

— Я в те года в лошадки деревянные играл... Потерпи, дядька. Кузька наш тебя враз в чувство приведет. Жив он, как думаешь?

— Да что с ним сделается. Его даже государевы заплочных дел мастера запытать не сумели. Живуч как собака.

— Гляди-гляди, идут к нам... Благодарить будут, а?

— Угу-у... Или на вилы подымут, как поймут, что опять пахать придется?

— Ну, поглядим... А морды-то, морды обалделые... Не сразу отпускает лесная музыка...

— Да я сам обалдел, Артамон Михайлович. Впервые такое видел, чтоб государев опричник, как простой мужик, дерево рубил... Чудно!

— Языкастый ты, как помелом метешь... Скучал я... А село переносить придется. Что за село? Одна улица и та нынче кладбищем обратилась.

— Мы-то как по тебе скучали, кормилец ты наш. А село... перенесем с Божьей помощью... Отстроим. Церкву поставим. Молебен отслужим, как водится. Пир закатим на всю волость...

— А уж как попляшем! — улыбнулся опричник.

Что-то шевельнулось в бороде, Ефремка запустил в нее пальцы здоровой, левой руки, вытащил. Между ними слабо шевелился крохотный бледно-зеленый завиток растительного побега.

СТИХИ

Павел Рыков

Оренбург

ВАНЬКА-ЦАРЬ

Скоморошина

Говорят,
Когда-то встарь
Жил-был грозный Ванька-Царь.

Пил вино. Брюхатил девок.
Был охоч до сала с хлебом,
А по праздникам церковным
Ставил свечку за целковый!

Нравом, сказывают, бешен.
Чуть не так — трясется:
— Вешать!
Для решенья спорных дел
Он верёвок не жалел.

За заботу, за такую
Ване пели аллилуйю
И бояры, и народ.
Пели сутки напролёт,
Не считаячи часов,
Не жалея голосов,
Аллилуйю голоса,
Благодарность вознося.
Ну, а если кто сипел?
Тот, конечно, и не пел.
Но зато он мог мычать
И ногою в такт стучать.

Вот, однажды, утром ранним
Прогуляться вышел Ваня



Из белокаменной светлицы
Вдоль по улицам столицы.
А на улицах толпа ..! (народ)
Аллилуйю все поют..! (молчат)
Мужики-то все мордатые,
Матёрые, бородатые.
А у баб-то — задницы!
А у баб — передницы!
Едрит твою мать!
Троим не обнять!
Ух!
От такого загляденья
Впал Ванюша в умиление...
Вдруг!
Как в новой шубе блохи,
Высыпали скоморохи!
И при всём честном народе
Вслух срамные песни водят:

Как у девицы, у красной
Под широким, под подолом
Мужика вчерась словили
И подвыпимши, и голым.

У султানে в Истанбуле
Триста жен, белы, как мел.
От такого многобабья
Наш султан оевнухел.

Говорят, вчера из бани
Убежал наш царь, заплакав.
За обиду сталось Ване —
Задом с нищим одинаков.

Тут уж стража набежала,
Скоморохов задержала.
В руки белые взяла
И в подвалы повела,
Чтобы проводить дознание...
Ан, подъемлет руку Ваня:

— Мы — не зверь!
НАМ песен надо!!
Песня бодрость придаёт.
В песнях чаянья и радость
Выпевает наш народ.
Не тека по древу мыслью,
(Длины речи — очень плохо)
Мы желаем быть артистом!
Всем народом — в скоморохи!

Услыхав таки слова,
Стража сникла, как трава.
Самодержец! Тяжек гнёт.
Всё теперь наоборот.

А вокруг народ горланит:
— Исполать родному Ване!
Колокольный перезвон
Поднялся со всех сторон.
И под звон, под колокольный
Эх! Пошли в кадрили кони,
Заплясали в избах печки,
Засверкали в церквах свечки.
В пляс пошли монастыри,
Вдоль проспекта фонари,
В небе ходом заходило
Даже вечное светило.
Даже сам митрополит
С переплясами кадит!
Вот, что значит, если вдруг
Царь махнёт одной из рук!

Ваня снова длань подьёмлет.
Стихло всё. Ванюше внемлют
Скоморохи и народ,
Широко разинув рот:
— Будем, братцы, очень скоро
Песни петь! Но только хором!
И для вас, для всех, друзья,
Запевалой буду Я!

В ожидании запева
Заломили руки девы,
Бабы выпятили груди!
И собаки, словно люди,
Приготовились завять,
Чтобы Ване угодить.
Даже на помойке мухи
Перестали делать звуки
Всё движенье прекратилось,
Над столицей воцарилась
Абсолютна и полна,
Как в могиле, тишина.

Ваня кашлянул несмело,
Поднапряг тугое тело,
Широко разинул рот
Да как грянет! И народ
Услыхал, как над толпою,
Над притихшею странюю,
Далеко в поля, за реку.
Что-то вроде «Ку-ка-ре-ку»
Понеслось из царских уст.

За рекой ракиты куст
Враз увял. А из реки
Головли да судаки,
Услыхав такую трель,
Повылазили на мель.
А с дворцовой красной крыши,
Что всех крыш в столице выше,
Взмыло облако ворон!
И тотчас со всех сторон:
Слева, спереди и справа
Зазвучали крики: «Браво»!
Ну, а сзади кто стоит,
Просто плакали навзрыд!
Стража мигом, стража разом,
Не моргнувши даже глазом,
И ничуть не оробев,
Лихо грянула припев:

Слава тебе Слава
Присно и вовек,
Господopodobный
Богочеловек!

И тотчас на площадь бочки
Выкатили мужичочки.
Бочкам вышибали дно...

Я там был и пил вино.
По усам оно текло.
Стало весело, тепло.
И в весёлой суматохе
Затерялись скоморохи;
Или далее ушли,
Или их в подвал свели
Выправлять на досках нар
Их срамной репертуар...

А потом —
Силен лукавый —
На меня напали бабы.
А у них-то задницы!
А у них передницы!
Едрит твою мать!
Троим не обнять!
Ух...
Более ничего не упомяну.

ПОЖАР В МОСКВЕ *Скоморошина*

Пожар в Москве!
Пожар в Москве!
Гудут колокола.
Пожар в Москве!
Пожар в Москве
Горит, горит Москва!

Монашьей рясой дым кругом.
Пылают терем, баня, дом.
Прыткая боярыня
Впопыхах наяривает.
За боярыней — стрельчиха:
— Ахти, бабы! Бабы, лихо! —
Во весь торг кричит:
— Гибнем от свечи!
Это мой стрелец-подлец
Со свечой в амбар полез!
Ишь, ты! Подижь, ты!
Взалкал винишша!
Выпить восхотел.
Чтоб утишить опохмел...
Зелена вина хватил,
Свечку на пол уронил.
Полыхнул амбар до неба...
Был стрелец, да будто не был.
Господи Сусе! Как и не бывал...

За амбаром следом — прясло.
Дождь пошёл, да не погасло.
Искры тучей поднялись,
До соседей добрались.
Полыхнуло. Загудело
И пошло лихое дело.
Дьяк, взвопивши: «Караул!»,
В Москва-реку сиганул.
Враз людишки замелькали.
Барахло спасать почали:
Кто корчагу, кто шушун —
Что кому пришло на ум:
Кто ухват, а кто перину,
Кто домашнюю скотину.
Кто кота, кто клетку с птицей...
А гулящая девица —
Ей бы только веселиться.
Ей бы там, где шум да гам:
— Кто спасёт — любому дам!

А приходский батюшка
С печи тянет матушку,
Не по-божески кричит:
— Совлекай гузно с печи! —
Иль не видишь марево.
Варево да жарево!

А допреже всех людей
Первым скрылся добродей;
Проповедник всему свету,
Мастер раздавать советы,
Как на свете надо жить,
Крепко дом родной хранить
От порухи, от пожара,
От полночного кошмара.
От турецкого скопца,
Да от немца-подлеца,
От болезни от французской,
От тоски зелёной, русской,
От морковных заговений,
От греховных размышлений.
И, усевшись на осла,
Всех подальше послал,
Не забыв притом призвать
Всех на бой с огнём восстать.

А за ним бежать готовы
Слуги верные царёвы:
Эк, сорвались — посмотри:
Доезжачие, псари,
Кравчий с кубком и ендовой,
Думный дьяк в ферязи новой,
Стольник стырил — боже мой —
Бочку с чёрною икрой.
И ещё какой-то малый
С тёплым царским одеялом.

А стрелецкий голова,
В сапоги попав едва,
Полковую кассу взял

И в карете ускакал,
Не забывши повторять:
— Иль, добру, что ль пропадать!

А приказные ярыги.
Хвать за жалобные книги
И задали лататы
Вдоль коломенской версты.

И купчина из лабаза
Верещит: — Беда! Зараза!
Пропадает мой товар!
Всё пожрал огнём пожар!

Тут раздался рёв народа:
— Где отец наш — воевода?
Где топорники с багром?
Где пожарные с ведром?
Почему в минуту эту
На Москве порядка нету?
Помним, как звучала речь:
— От огня Москву беречь!
Воевода — вор. Растратчик.
Холуям своим потатчик!
Даже бочки для вола —
Всё раскralи ироды!

А Дума думает о чём?
Эту б Думу кирпичом!
Ни приказа, ни указа,
Ни путёвого наказа...
Только бородой трясут
Кто знатней — весь пересуд.
Дума дружно побегла,
Бросив думные дела.
Прекратили заседанье
По причине возгоранья,
Прихвативши по пути
Всё, что можно унести:
Кто с лампасами штаны,

Кто полтину из казны.
А один хватучий пёс
Орла Двуглавого унёс.

И карманник — мелкий тать
По чужим карманам — хватя!
— То-то любо, братцы, мне
Поживиться при огне
Среди рёва, бабьих слёз...

Загорелся с сеном воз.
Бьётся лошадей косяк.
Кони на огонь косят,
В стойлах бесятся, храпят,
Гибнуть кони не хотят:
— Где Ивашка-коновод?
Что ж он, дурень, не идёт?
Ржёт каурый, плачет чалый,
Жеребёнок гибнет малый,
Бьёт копытом вороной!
Гибнут кони! Боже мой!

А юродивый урод
Пальцем кажет на народ:
— Всё пропили, всё прожрали —
И остались при пожаре.
Славно ели-пировали,
Всклень винище наливали.
ДОсыта— досыта,
Мордой из корыта,
Харей из лохани,
А и свиньи с вами.
Бога не боялись —
Вот и нахлебались.
Эх, ты, гордая Москва!
Всех привыкла бить с носка.
Людям поклонися,
Богу помолися.
Ласковому Спасу,
Сухарю да квасу.

От Никольской до Арбата
Рушатся в огне палаты.
Проскакал городской:
— Кто поджѣг? И чей разбой?
Где начало всей беде?
Чать, в Немецкой слободе?
Иль татарская орда
Виновата, как всегда?
Или крымский хан Гирей?
Или, бог спаси, еврей —
Ростовщик и обирал?
Иль повинен либерал:
Огонёчку подпустил
По указке вражьих сил?

А у бедной у вдовы
Не хватило головы;
Нет, чтоб взять кошель да шапку...
Двух малых схватив в охапку
Да за Язузу скорей —
От огня спасти детей.
Там, к Таганке, говорят,
Не добралось. Не горят.
— Здесь мы горе переждѣм.
Догорит — домой пойдѣм
На родное пепелище.
Место прежнее отыщем.
Было б притулиться где —
Не оставит Бог в беде!
А пока пожар, пожар —
Разоренье и кошмар
Выгорела вся Москва.
Полопались колокола.
Только ворон что-то ищет,
Роется на пепелище.
На вечерней на заре
Ходит ворон по золе.
Клювом угли разбивает,
Пропитанье добывает.

По пожарищу летал,
Перстенёчек отыскал.
Перстенёчек, перстенёк,
Чей ты? Знает только Бог.

Царь в Коломенском сидит
На пожар в трубу глядит.
Перстенёчек, перстенёк,
Чей ты? Знает только Бог.

Царь в Коломенском сидит
На пожар в трубу глядит.



РАССКАЗ

Алексей Караванов

Ростов-н-Дону

БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Распотрошил два пакета, но без толку. В одном что-то плавало, вода оказалась тёплой, и руки не стали продолжать. А в другом пакете на ощупь было нечто полное, потрогать смог, но схватить не получилось. Темно-то как, ничего не разглядеть, ничего не прощупать. Я должен кое-что найти. Рядом с сердцем, как от слабого тока, щекотно, рвётся из стороны в сторону, и маленькая холодная струйка бьёт в груди. Откуда душа берёт эти ощущения? И взгляд не может понять, что же мне нужно отыскать. Игрушка котёнка, мячик, катается под ногами.

Тихо скрипит. Или громко, но это я так слышу. Прислушиваюсь — это качели. Откуда им взяться в комнате? Ещё учебник и три клыка на потолке растопырили крылья.

Чувства притупились по велению темноты, этой злой ведьмы, она зачерпнула всё, что могла, и накрыла почти все предметы. Кусты нашлись, нужно в кустах поискать моё кое-что. Мусорники, из которых я пакеты достал, тоже можно проверить. А мячик, который только что был под ногами, удаляется. Не могу взять за руку, а дорога идёт и

идёт. Почему нога в комнате, когда за окном день? Под рёбрами всё щекочет и щекочет. Это, наверное, ангелы подгоняют найти непонятное.

Оглядываюсь, но по-прежнему не понимаю. У венецианской маски вырастает нос, ей тяжело, нос начинает отрываться из-за своей тяжести. И маска едва не стонет. Я растерялся. Не знаю, что делать, как остановить рост этого кривого носа. Бедная, ей очень тяжело. Я не могу помочь, — от этого сильно ноет сердце, это больно.

Порвалось, будто москитная сетка, стекло, и влетает в комнату чёрное пламя. Папина машина разбивается, и я вижу взрыв, огонь, пламя выходит из папиной головы. Сгорает трава, пакеты с мусором, камни, круги на воде.

Нет. Я просыпаюсь. Это просто ночь чёрная. Страшный сон отхлынул за окно и ушёл под фундамент дома. Его нет. Только комар прожужжал мимо уха.

В школе весело, как обычно. Танька не обращает на меня внимания, рассыпает шутки на Иру и Сашку. И в мою сторону даже не смотрит. Аж кулаки от злости сжимаю. Бью Юрку в плечо. Он оборачивается и даёт сдачи. Мы оба смеёмся над этим, но он громче. На секунду мне кажется, что у него немного вырос нос, но я присматриваюсь и вижу: нос прежний. Испуг сразу потухает, как спичка на сильном сквозняке.

А вечером мы с друзьями решаем рассказать, кому какой сон приснился, чей интересней. Мне не хочется рассказывать свой, он кажется мне глупым. Я говорю, что мне просто приснилось, как я вырос, стал взрослым.

Теперь я взрослый, скорость автобуса для меня слишком медленная. Какого он там медлит? Скорее, водитель, чего ты там еле-еле на педаль давишь. И всем нравится, смотрю, что автобус не едет, а ползёт. Ох уж эти люди, не понимают жизни.

Я один теперь против всего мира. Всем весело — я буду печален; всем живётся легко — меня разрывают противоречия. На улице холод, а я буду пламенем, изумляющим мир. Я принесу себя людям, словно Прометеев огонь изменю историю. Я завяжу зло в узел, я буду страдать, но заставлю всех понять истину. Там, где я пройду, заживут язвы планеты.

Скорости нет. Медленно-то как. Ненавижу автобусы, они слишком медленно едут. Прямо сейчас готов выйти. Выпрыгнуть бы прямо тут, на мосту. В детстве, да и когда в школе учился, помню, часто думал,

что мост обвалится именно когда я буду ехать в автобусе, мы упадём в воду, но никто не погибнет, все выберутся и выплывут на поверхность.

Мост, конечно, не обрушится. Высокий, широкий, как он держится на своих шпильках-то? Да как и барышни, как все вечерние красавицы. Все красавицы будут моими. Они будут сами просить взять их в мой гарем. Мне сегодня приснилась женщина-камень, она просила не разбивать камни, дёргала за рукав, но я так от неё отмахнулся, что она пропала. Только мне, наверняка, могло присниться продолжение сна, виденного в детстве. Да, я уникален. Ещё школьником видел сон о том, как кое-что ищу, но не могу понять, что. Вот теперь во второй раз видел этот сон. Снова была комната, шкафы, кусты и мусорные пакеты. И я бил по камням кулаками, камни рассыпались под моими ударами. А темнота давила, пыталась растоптать. Но потом появился оранжевый морской конёк и я проснулся.

Когда разлюбил жену, я первый раз ощутил, что бóльшая часть жизни позади. Но надорву поясницу, потаскав тяжести, жена натрёт мне спину мазью, и снова какая-никакая любовь возвращается. Приятный жар расслабляет мышцы. Иногда кажется, что спина никогда не перестанет болеть и этот раз — последнее защемление позвонков. Только когда жена поможет мне, натрёт спину мазью и тепло пересилит боль, я успокаиваюсь. С каких-то пор я стал постоянно думать о будущем как о неизбежном страдании. Ещё и сердце иногда подводит. Вот в такие моменты так хочется собрать всех: и Ваньку, и Юрку, которого уже нет с нами.

Да, Юра, что же ты так сплоховал, подвела тебя твоя смелость. Но как ты смеялся со своих шуток, помню. Пошутишь и сразу смехом захлабываться.

И Светку бы простить. Простить и пригласить. И Сашку позвать. У Сашки тоже жизнь не задалась, как и у меня. Может, он поделится опытом, авось вместе на жизнь наляжем, одолеем. Хотя он из жизнелюбца давно превратился в угрюмого. Смыслёным был, но с годами несчастья взяли своё, бесцельность каждого прожитого дня отупила его, глупости одни стал говорить.

Теперь я часто сплю днём, как маленький. Беспокойство, боль в спине выматывают, клонит в сон, как сейчас. Я стал очень бояться того, что может случиться завтра. Для меня завтрашний день — опасность. Не страх это даже, а мелкая боязнь.

Темнота затаптывает меня. Какое-то пиршество. Я вижу только еду, но не вижу, кто сидит за столом, а вся еда сжёвывается, переваривается прямо на тарелках и в суповых мисках. «А где все?» — спрашиваю я.

«Чем глубже голод, тем шире тополя», — отвечает знакомый голос... Не похож на жену. И на Свету не похож. Женщина-камень? От этого голоса рядом с сердцем зашекетало, как от слабого тока.

Порезался, а кровь словно грязная, словно протухшая. Как же тяжела старость. Давно стал закашливаться, появились рези в боку. Каждый день жду смерть, если не забываю о ней. И не боюсь. Уже прожил своё. Со мной теперь только внуки (чаще, чем дети), телевизор, радио; люблю ездить на автобусах и троллейбусах. Троллейбус больше по душе, от него не воняет бензином.

Реальность постепенно перестаёт обращать на меня внимание, но сердиться на неё глупо. Предпочитаю отойти в своё время, свои воспоминания. Если не просто вспоминать, а что-то искать в воспоминаниях, открывать особенности и законы памяти, интересно получается. Например, не могу припомнить ни одного веселья, но помню, как много раз плакал и почему. В слезах есть своя прелесть. Странный закон памяти, но помню много того, что мне нравилось и не нравилось одновременно. Помню только противоречия. Чистить зубы перед учёбой и нравилось, и нет. Когда котёнок приставал, отгонишь его, а он не понимает и снова кусается. И как зимой мёрзли руки, даже в перчатках, а потом мама брала какой-то крем и втирала в кожу; когда жена тёрла спину, было так же приятно. Запах карбида, смоченного в луже, помню, и запах подпаленной резины. И все яблоки, которые попадались червивыми. Много воспоминаний сгинули на полдороге, но добрались те, у кого кроме помощи любви была ещё и помощь неприязни. Так и с женой. Сперва просто любил, а потом начал тихо недолюбливать. И от этой нелюбви как-то ещё ближе она мне стала. Помню, как ты сердилась и стучала туфлём о ножку стола, и как злилась, кричала, откусила пуговицу у перчатки. И как сынишка под моим руководством сварил своё первое мыло и залил его в формочку бегемотика. Никогда не думал, что всю жизнь буду готовить и продавать мыло. И ещё помню, как дал две монеты старушке в подземном переходе, единственный раз за всю жизнь подал милостыню. Она стояла на самой нижней ступени, похоже, готовилась сойти в землю. Это воспоминание без любви и неприязни. Случайно припомнил. Лет сорок об этом не вспоминал.

На то место сегодня и схожу, потянуло. Оживлю в памяти картины молодости. Всю жизнь не мог сопротивляться таким внезапным и необъяснимым желаниям.

Одеваюсь, внуки помогают заковать на мне тяжелую одежду. На улице солнечно. Сразу подбегает троллейбус. Мне кажется, что каждая поездка подмлаживает моё старое тело. Недавно думал, что события

жизни меняют и создают законы памяти. Возможно, Юркина неудача всё это начала. Он погиб, когда пытался защитить девушку от подонков. Потрясло меня это сильно, и стал запоминать неудачи. И свою самую странную неудачу до сих пор не забыл: поиски во сне.

Жизнь менялась, становилась старше, а потом менялся и я, становился взрослее, затем неспешно старел. Больше этот сон не повторялся, три раза только. Ничего не нашёл, выходит — не пора ещё найти, не время. Наверное, сейчас снова всё только поменяется. Уже понял, что ищу — это просвет. А «чем глубже голод, тем шире тополя» — глупость. Надо было у Сашки узнать, ведь он специалист по глупостям. Но поздно уже.

Нет теперь никого на нижней ступени того самого подземного перехода. Да оно и понятно, зря волновался только. Нищие моего времени ушли. Но как трудно подняться теперь по ступенькам. Еле ноги волочу. Троллейбус уходит, не успеваю. Не могу догнать. Это финал. Последний шаг и мысль на посошок.

Темнота не топчется. Оказывается, землю трамбуют надо мной. Не нужно искать в кустах и бить камни, нужно рыть землю, как крот, чтобы выбраться наверх, грызть её, прогрызая себе дорогу. Я стал кротом. Раньше бы понять, ещё тогда, в молодости, когда силён был, словно экскаватор. Мог ведь прорыть путь наверх. Но теперь это всё сложнее и сложнее. А люди там, наверху, всё трамбуют и трамбуют землю. Немного уменьшаюсь, что-то моё исчезает из большого мира. Темнота поглощает темноту.

Дарья Странник

г. Вупперталь, Германия

РОГАТАЯ ПРОБЛЕМА

Зимний Дар сердито наступил на сухую ветку копытом. В лесной тишине треск прозвучал особенно громко.

"Хотел бы я, чтобы это была шея Утреннего Красавчика!" — подумал Зимний Дар.

Но согдилось бы и любая другая шея одного из сородичей: все они хихикали, смеялись и ржали — каждый в меру своего темперамента и воспитания — над Зимним Даром.

Все, кроме родителей, конечно. Папа и мама называли сына особенным и, защищая его от нападок, безжалостно сражаясь с соседями. Так однажды родители и пали один за другим в двух особенно жестоких боях, оставив сына сиротой.

У всех остророгов природное головное украшение оправдывало наименование народа: над гордыми загорелыми лицами красовались чудесные прямые рога всех оттенков, от белоснежного до угольно-чёрного. У мужчин — крепкие и длинные, у женщин — тонкие, чуть короче.

То есть такие были у всех, кроме Зимнего Дара. Два массивных, округлых, закрученных в спираль рога портили внешность и жизнь. Ещё и с цветом не повезло, не понять: то ли тон такой, то ли грязные.

Когда родители были ещё живы, то часто ссорились по этому поводу.

— Это твоя вина! Все беды из-за твоих дымящихся палочек! — обвиняла мама супруга.

Он в последние годы сильно пристрастился к этим палочкам. Их остророгам привезли пришельцы, недавно прибывшие откуда-то — они объясняли, но никто не понял — в мир Зимнего Дара и его сородичей. Пришельцы особо не мешали, никто и не знал, чем они занимались. В лес не лезли и ладно, а остальное — проблемы порхунов или жабрыстых. Вот только дымящиеся палочки сначала запахом, а потом и вкусом привлекли некоторых остророгов. У многих родились потом дети, но только у Зимнего Дара были округлые рога. Так что он лично не очень верил в мамину теорию.

— Да вообще непонятно, мой ли это сын! — орал папа в рамках самозащиты.

Но орал не очень громко и не очень убеждённо, потому что форма копыт, родимое пятно за левым ухом и привычка не присыпать землёй ямку после справления естественной нужды очень уж явно доказывали родство с круглорогим отпрыском.

Поэтому чаще всего семейный суд обвинял в дурной наследственности дальних родственников, большей частью мёртвых и Зимнему Дару незнакомых.

Все эти разговоры были ему неприятны и никак не решали проблему. Иногда он тоскливо рассматривал рога предков, висящие в священном закутке каждой хижины. По традиции погибшим спиливали один рог — на память потомкам, один оставляли, чтобы было чем защищаться в Лесу По Ту Сторону.

"А когда умру я, потомки, скорее всего, даже ради традиции не сохранят уродства", — размышлял Зиний Дар.

Да и будет ли оно, это потомство? У несчастного и друзей не завелось, а о женитьбе не приходилось и мечтать. Цветок Сезона Грибов — первая красавица среди остророгов, как раз была одной из хихикающих.

Ужасно непросто жить круглорогому среди остророгих. И дело не только в насмешках, хотя они, конечно, надоели, как сухая хвоя на обед в зимний сезон. Особенно раздражал Утренний Красавчик, неустанно повторявший неоригинальные плоские шутки про неординарные закрученные рога.

Каждое утро сородичи начинали с мытья и полировки рогов специальным маслом. Это была торжественная церемония: остророги собирались в центре поселения и пускали по кругу горшочек с ароматным маслом оклипахи. Достаточно было окунуть в жидкость кончики пальцев и провести ими по рогам — и те блестели в лучах восходящего солнца. Вот только округлые рога даже блестели по-другому.

Спирали на голове Зимнего Дара сначала приводили в отчаяние его маму, а потом, когда он вырос — его самого: все эти витки и изгибы, до которых не добраться! По меркам остророгих Зимний Дар был не только уродом, но и неряхой.

А традиционные танцы, которые каждый уважающий себя остророг знал с раннего детства! В то время как копыта выбивали чечётку, руки сжимались вокруг собственных рогов. Когда такое проделывал Зимний Дар, то выглядел так, как будто зажимает уши или словно у него разболелась голова. О медленных парных танцах не шло и речи: там руки сжимались вокруг рог партнёра, а никто не желал прикасаться к гротеску на голове горемыки.

Но хуже всего — Зимний Дар не мог никого заколоть. Он мог только бодаться и своими стенаниями по этому поводу забодал сородичей даже больше, чем рогами.

И хотя бодался он не слабо, но среди сородичей считался слабым. Потому что в обществе остророгов превыше всего ценилось именно умение заколоть врага или конкурента.

Особенно страдал Зимний Дар в период цветения топопухи, когда все мужчины мерились длиной своих рог.

"А у меня, может, рога длиннее всех! Но как докажешь?" — думал бедолага с горечью.

В порыве интерпланетарного подросткового максимализма Зимний Дар даже как-то решил избавиться от рогов. Но, как раз когда он решал, спилить их или обломать, его обломала тогда ещё живая мама. Случайно — по крайней мере так показалось в первый момент — она

рассказала об ужасной судьбе одного безрогого остророга. История пестрила красочными описаниями мук изгнания и ада, так что Зимний Дар оставил радикальную затею.

Но с годами отчаялся настолько, что однажды решился сделать нечто почти столь же постыдное, как избавление от рогов: обратиться к ведьме. О ней среди остророгов говорили шёпотом, старшие — и они клялись, что ведьма с их отрочества не на день ни состарилась — рассказывали невероятные истории, которые знали непонятно откуда, ведь лично с ведьмой якобы никто не встречался. Не пристало остророгам водиться с порхунами. А ведьма как раз была одной из них.

Но Зимний Дар решил поступиться гордостью — или тем, что от неё осталось. Другого выхода он не видел.

Жили порхуны в пещерах высоких скал. Весь их пернатый народ неплохо повеселился, наблюдая, как Зимний Дар сначала долго и неуклюже взбирался вверх по осыпающимся камушкам крутой заброшенной тропы, а потом, смущаясь, спрашивал у каждой пещеры, где найти ведьму.

Наконец старая порхунья сжалилась над горемыкой. Ей, как и всем порхунам, остророги красавцами не казались, но даже она знала, что Зимний Дар со своими закрученными рогами — случай особенный.

— Здесь я, копытоногий, — прочиркала она из небольшой уютной пещерки.

— Высоко забралась! — выдохнул запыхавшийся гость.

— Я тебя в гости не звала, — фыркнула ведьма и сделала вид, что занята чисткой перьев.

Зимний Дар принялся извиняться и путано объяснять, что он здесь делает, но порхунья только отмахнулась.

— Я старая, но не слепая. Скажу сразу — рога моей магии подвластны совсем немного. Может, ничего не получится, а может, выйдет что-то неожиданное. Ты готов рискнуть?

— Всегда готов! — выпалил Зимний Дар.

Ведьма одобрительно кивнула, запорхала по пещерке, собирая из тайничков компоненты для зелья.

— Пей, — велела она гостю, протягивая ему мисочку с розовой жидкостью.

Зимний Дар, не колеблясь ни секунды, выпил до дна, оставил миску и с надеждой пощупал свои рога. Ничего не изменилось.

— Ну, я предупреждала. Что же, нет результата — и платить не надо, — вздохнула ведьма и торопливо выпроводила гостя.

Зимний Дар, конечно, расстроился, но поспешил обратиться восвояси, потому что только сейчас сообразил, что платить ему было бы и нечем, он просто не подумал об этом раньше.

Он так сосредоточился на самобичевании и осторожном быстром спуске со скал, что и не заметил, что среди порхунов распространялась вторая волна веселья.

— Надеюсь, он не скоро заметит, — бормотала ведьма.

Но довольно скоро из леса донёлся душераздирающий рёв, и она поняла, что Зимний Дар обнаружил случайное последствие зелья.

Собратья горемыки, конечно, поспешили сообщить ему, что один из его закрученных рогов стал красным.

— Я же предупреждала, что могу и не помочь, — сказала ведьма вернувшемуся Зимнему Дару.

— Верни хотя бы, как было! — потребовал он.

— Не могу, — призналась ведьма. — Но знаю я одну жабрыстую... Возьми для неё это — и она не откажет.

Ведьма протянула ему пучок каких-то душистых трав. Зимний Дар фыркнул. Уже плохо, что он связался с порхунами, но идти к жабрыстым — это вообще не скрути рог! Но вообще-то он, по понятной причине, не очень любил эту поговорку...

— Ну, решай сам, — прочирикала порхунья.

Конечно, в конце концов Зимний Дар отправился к жабрыстой ведунье — особо терять ему было нечего.

Он долго петлял по берегам системы извилистых озерец, копыта увязали в мягкой почве, вокруг головы жужжала целая армия болотных мошек.

Старая жабрыстая пахла даже хуже, чем выглядела. Пучок трав она приняла, а потом что-то неразборчиво булькнула и захлопотала: то всплывала к самой поверхности, то ныряла в мутную глубину. Несколько раз она откусывала кусочки водорослей, потом долго жевала их, а потом неожиданно высунула голову из воды и противной струйкой выплюнула смесь прямо на рог Зимнего Дара.

То ли она толком не поняла, зачем к ней пришёл неосторогий острогор, то ли выместила на нём сезоны обид на весь его гордый народ, то ли просто издевалась, но плюнула не на красный, а на нормальный — по крайней мере, что касалось цвета — рог. Зимний Дар с ужасом распознал в водяном отражении, что рог стал зелёного цвета.

Жабрыстая даже не потрудилась что-то объяснить, а просто уплыла подальше, чтобы не слышать долгих проклятий неблагоприятного.

"Точно расскажет сейчас всем своим о моём позоре", — с горечью подумал Зимний Дар.

Невесело было осознавать, что стал посмешищем сразу трёх народов. И побрёл печальный горемыка куда глаза глядят. Копыта случайно принесли его в местность, где появлялись пришельцы. Наверное, Зимний Дар подсознательно избегал мест, где грозила встреча со знающими о его позоре. А может, он — тоже несомненно подсознательно — решил рассмешить и последних разумных существ на планете, чтобы, так сказать, оставить самое худшее позади.

Впереди показалось подобие шалаша, и из него выбралось существо, отдалённо похожее на остророгих, только совсем безрогое и бескопытное впридачу.

Зимнему Дару уже пару раз приходилось издалека видеть пришельцев, и он знал, что их головы обычно украшает шерсть разной длины и цветов. Но сегодняшнее существо было бесшёрстным и выглядело ещё более странно, чем прочие пришельцы.

"А может, это тоже урод, вроде меня?" — с надеждой подумал Зимний Дар.

Неплохо было бы встретить товарища по несчастью. Конечно, не так прекрасно, как перестать быть посмешищем, но всё-таки лучше, чем совсем ничего.

— Ой, светофорчик! — воскликнуло существо.

На горле мигала кнопка-переводчик — Зимний Дар уже видел такие у других пришельцев, но, поскольку светофоров на его планете не существовало, понял только, что безрогое высказалось о цвете его рогов.

— Сам... Сама... Само такое! — выпалил он обиженно.

Но на этом запал выдохся. Бедолага сел на землю, обхватил руками ненавистные рога и застенал. Безрогое присело рядом и спросило:

— Эй, ты чего?

И Зимний Дар рассказал всё: про неправильные рога и про ссоры родителей, про насмешки соплеменников, про жестокого Утреннего Красавчика и про недостижимую тонкорогую красавицу Цветок Сезона Грибов, про походы к порхуньей ведьме и жабристой ведунье...

— Казалось: хуже некуда. А теперь..! — Зимний Дар резко потянул рога, словно желая отломить их. А потом добавил с плохо скрываемым удовольствием:

— Но ты и само знаешь, каково быть другим. У твоих-то обычно на голове шерсть.

Существо рассмеялось и провело рукой по голой голове.

— Это? Ну да... Но знаешь, мне нравится быть не такой как все.

— Нравится? — переспросил Зимний Дар неверяще.

Пришелец попытался что-то объяснить, но потом махнул рукой и сказал:

— Кажется, я знаю, как тебе помочь. Цвет — не проблема. Вот распрямлять рога я, правда, не сумею, но завивка — дело другое, особенно с этим новым средством... Где оно?.. — существо стянуло со своей спины подобие мешка и рылось в нём, бормоча себе под нос: — Конечно, мы все обещали не вмешиваться в крупных масштабах, что бы это не означало, но если Чак, придурок, может раздавать сигареты... В конце концов, я же не новую технологию дарю, а просто немного подействую как стилист... Вот!

Пришелец торжествующе выудил из мешка несколько странных предметов.

Зимний Дар не понял и половины сказанного, только уловил самое для себя важное.

— Ты мне можешь?

— Ага!

Безрогое приказало Зимнему Дару закрыть глаза и чем-то опрыскало злополучные рога. Потом протянуло штуковину, похожую на маленькую твёрдую лужицу. В отражении горемыка с радостью увидел, что рога стали чёрными. Очень даже не плохо! Если бы не форма...

— Держи! — безрогое протянуло Зимнему Дару какой-то сосуд.

Осторог осторожно покрутил предмет в руках.

— А хуже точно не станет? — осторожно спросил несчастный.

— Не станет. И не для тебя это. Слушай... — пришелец приблизил к Зимнему Дару и зашептал ему на ухо, что и как нужно сделать.

Он кивнул, но, вспомнив ведьму, спохватился:

— Только заплатить мне нечем...

Пришелец прищурился.

— Вообще-то мне ничего не надо, но, если хочешь, поучаствуй в моём стриме?

— А что это? — осторожно уточнил Зимний Дар.

А разобравшись, что от него не требовалось ничего особенно — всего-то грустно постоять рядом, согласился.

Пришелец достал из мешка очередную странность и, держа её в руке на уровне лица, затараторил:

— Хей-эгей! Я всё ещё на этой планете с непроизносимым названием, а рядом со мной: жертва дискриминации! Вдумайтесь, бразерс и систерс: здесь нет электричества, прививок и налогов, а моббинг — есть. Ваша Пирожок просто не может пройти мимо. Кажется, никаких

серьёзных параграфов я не нарушаю, хотя, как знаете, конфликт с законом никогда не удерживал меня поступать так, как я считаю правильным. Но в конце концов речь идёт не о революции, а небольшом изменении стиля. Результаты — позже!

"Какое оно всё-таки странное!" — подумал Зимний Дар, возвращаясь домой. Подарок пришельца, гладкий сосуд, он бережно сжимал в руках.

А следующим утром над скалами испуганно взметнулась стая порхунов, разбуженных раздающимися из леса криками. Пара разведчиков пролетели над селением остророгих, а, вернувшись, от смеха долго не могли связно рассказать об увиденном.

Почему-то после утренней церемонии полировки рогов у всех остророгов — которым, вероятно, теперь стоило называться как-то иначе — рога свернулись в спирали: точь-в-точь как у Зимнего Дара.

Он, с довольной улыбкой на лице, конечно, отрицал свою причастность к произошедшему и, стараясь звучать серьёзно, советовал сходиться к порхуней ведьме, ну или на крайний случай к ведунье жабрыстым. Ему они, правда, не помогли, но вдруг...

Рассерженные сородичи бодались от злости, но это Зимний Дар мог в сто раз лучше, так что без особых усилий стал лучшим воином селения. А время спустя женился на страдающей теперь от комплексов Цветке Сезона Грибов, и, кстати, считал, что ей очень к лицу новые закрученные рога.

Зимний Дар не раз ходил к пришельцам с мешочком редких орехов, желая поблагодарить за неоценимую помощь, но своего знакомого бесшёрстного больше не встретил.

То, что пришелец назвал "завивкой", сохранилось у пострадавших до конца жизни, а вот детки у всех рождались нормальные, остророгие. Вот только воспитывали их теперь в уважении к различиям и всякого рода особенностям. Только название народа изменилось с "остророгов" на "рогатых".

Пирожок, конечно, по головке за такое вмешательство не погладили, но и поругали не очень сильно. Но этого Зимний Дар, естественно, знать не мог.

Игорь Книга

г. Феодосия



БУДЕТ ВОЙНА

От раската грома задребезжали оконные стёкла.

— Будет война, — заметила мама, протирая салфеткой вазу.

Папа оторвался от газеты, из-под очков глянув в окно: со стороны гор небо затянула серая мгла.

— Будет дождь.

И вернулся к чтению. Новости интересовали его гораздо больше, чем природные явления. Для маленького посёлка в предгорье, теле, радио и газетные новости были единственным притоком свежего воздуха.

— Я чувствую её приближение. Сначала она придёт за тобой, а потом и за всеми нами, — сказала мама и ушла на кухню.

Дети переглянулись.

— А что такое война? — спросил Том.

Как самый младший в семье, он имел полное право спрашивать, если что-то не понимал или не знал.

— Это когда пап увозят, а потом привозят неживых и закапывают на кладбище, как бабушку в прошлом году, — ответила Анна.

В свои десять лет сестра уже немало знала об этом мире и его жителях. Намного больше, чем брат, младший её на два года.

— Не хочу войну, — заплакал Том. — Не хочу, чтобы папу закопали на кладбище.

— Навели тут панику, — пробурчал отец. — Не верь всему, что слышишь, сынок.

Он отложил газету и вытер ребёнку слёзы носовым платком, мальчик перестал всхлипывать.

За окном потемнело, порыв ветра хлопнул приоткрытой форточкой. Необычно ярко полыхнула молния, дважды пророкотал гром и пошёл дождь. Сначала мелкий, потом крупнее и быстрее. Забарабанил по стёклам, пригнул к земле роскошные колосья в поле напротив дома.

Анна подошла к зеркалу и попыталась расчесать длинные и такие же яркие, как пшеница в поле, волосы.

— Дети, ужинать! — позвала мама.

Том нехотя поднялся с дивана и вопросительно глянул на сестру.

— Сейчас, — Анна продолжала наводить порядок в причёске.

Семья удобно устроилась за большим круглым столом, но сегодня все молчали. Папа уплетал жареную картошку, не забывая приправлять кетчупом. Дети вяло ковыряли вилками по тарелкам, изредка переглядываясь.

Когда мама включила телевизор, папа принялся за вторую порцию картошки. И снова новости, которые дети особенно терпеть не могли, отдавая предпочтение мультикам.

— Ты почти права, — глава семейства перешёл на бутерброды с колбасой, не отрывая взгляда от телеэкрана. — Насчёт войны.

В вечерних новостях президент страны выступил с коротким обращением, рассказав о коварстве и вероломстве соседнего государства, устраивающего провокации на границе. О необходимости единения нации и поддержки курса правительства.

Папа, не отрывая взгляда от экрана, продолжал поглощать один бутерброд за другим. Мама разлила по чашкам чай, когда начал речь министр обороны. Он тоже подчеркнул необходимость ещё более плотного единения нации перед лицом опасности. А потом кусок застрял у папы в горле: министр обороны объявил о всеобщей мобилизации.

— Будет война. Тебя заберут в армию, а потом отправят на фронт, — заметила мама и заплакала. На этот раз папа промолчал.

— Не хочу войну, — сказала Анна.

— И я не хочу войну, — прошептал Том, впервые так испугавшись. Испугавшись, что больше никогда не увидит отца.

— Что нам делать? — спросил мальчик. То ли сам у себя, то ли у сестры. То ли у Бога, взиравшего с иконы на стене.

Сам себе он ответить не смог, сестра ничего не сказала. И Бог тоже молча смотрел на ребёнка, не желая давать ответ.

— Бабушка, — первой нарушила молчание сестра.

— Бабушка? — переспросил Том.

— Сегодня, — ответила Анна. — Когда родители уснут.

Том не уснул, хотя и пытался. Зато папа спал крепко. И мама, наплакавшись, тоже спала, когда Анна на цыпочках подкралась к кровати Тома.

— Тсс! — девочка приложила палец к губам, протянув брату карманный фонарик.

Дважды повторять не пришлось, Том быстро оделся, и дети тихонько выбрались во двор.

Ночь выдалась лунная и тихая. До кладбища, где похоронили бабушку, рукой подать. И добирались дети бегом.

А когда, запыхавшись, подошли к могилке, бабушка уже ждала и смотрела на внуков с надгробия. Таким же строгим заботливым взглядом, как при жизни.

— Помоги нам, — попросил Том, обняв сестру.

Но бабушка молчала, хотя на мгновение показалось, что лицо ожило. Глаза блеснули, надгробие сверкнуло, а в небе чуть слышно пророкотало.

— Пойдём, — Анна взяла брата за руку. — Мы сами должны себе помочь.

И когда рассвело, ничего не случилось. Папу не забрали в армию, мама не плакала, даже улыбалась, и в горах больше не грохотало. О ночном происшествии не хотелось даже вспоминать. Ровно до того момента, как приехала зелёная машина.

Вышел пожилой военный и, зачитав приказ о мобилизации, велел папе собираться. Мама так и села на крыльце, обхватив голову руками. И не плакала, потому что слёз не осталось. А когда папа уехал, мама пошла в дом, легла на диван и целый день не поднималась, стеклянным взглядом упёршись в стену.

— Надо что-то делать, — сказал Том, разглядывая свои потрёпанные тапочки.

— Бабушка, — ответила сестра.

— Бабушка нам не поможет, — возразил Том.

— Бабушка нам поможет, — глаза Анны сверкнули, и на мгновение Тому померещились два огонька. Но только померещились.

— Ты не знаешь, но она учила меня кое-чему. Только сказала, чтобы я сначала спросила у неё разрешения и не использовала без крайней необходимости. Но она ведь разрешила, ты же видел?

Тому ничего не оставалось, как согласно кивнуть.

— Возьми вчерашнюю газету и поднимайся на чердак, — приказала сестра.

В другое время брат бы возмутился: чего это девчонка им командует? Но не сейчас. Поэтому послушно сделал всё, как велела сестра и, поднявшись на чердак, увидел Анну у приоткрытого оконца.

Девочка зажгла свечу и поставила на тарелку. Воск капал и шипел — в тарелке осталась вода.

— Что мне делать? — спросил Том, положив газету рядом с тарелкой.

— Ничего. Просто смотри. Скажу, если понадобится помощь.

Анна развернула газету и аккуратно вырезала маникюрными ножницами прямоугольник. С портретом министра обороны.

— Зачем? — спросил Том.

— Молчи, не мешай, — сестра достала из потёртой сумочки старый блокнот — бабушкин.

— Держи, — девочка протянула брату швейные иглы. — Втыкай по одной, когда я буду показывать пальцем.

— Куда втыкать? — испугался брат.

— Лучше в лоб, ему, — сестра показала на портрет министра обороны.

Девочка открыла блокнот, полистала, потом закрыла глаза и что-то пробормотала. Взмахнула рукой и ткнула указательным пальцем в портрет. Том аккуратно пронзил министра иглой. И ничего не случилось. Птички за окном щебетали всё также, солнце всё так же пробивалось через оконце на пыльный чердак.

Перелистнув страницу, Анна произнесла заклинание. Или молитву, или что-то ещё. Том не знал, что, но исправно воткнул иглу. Потом следующую. Следующую, следующую, следующую, пока иглы не закончились. А потом сестра сожгла портрет над свечой и развеяла в оконце. Ветер унёс пепел, но ничего не случилось.

Спустившись с чердака, Том улёгся на кровать, думая, как всё несправедливо в этом мире. Почему его папа должен идти на войну? Что теперь будет с мамой?

Громкий звук телевизора прервал размышления ребёнка. Том поднялся и зашёл в гостиную: на экране мрачнел слишком знакомый портрет — министра обороны. Произошёл несчастный случай, машина потеряла управление, и, пробив ограду, свалилась в реку. Министр чудом спастся, но попал в больницу и не мог продолжать быть министром.

Неслышно подойдя сзади, сестра положила брату руку на плечо:

— Мы не допустим войны

— Мы вернём папу, — прошептал Том.

Но вместо одного министра пришёл другой, сразу объявив о твёрдом намерении сохранить мир *любой ценой*.

— Нам не нужна любая цена, — сказала мама, немного оправившись от шока.

— Нам нужен наш папа, — добавила Анна.

В эту ночь дети снова пошли на кладбище. Сквозь завывание ветра и шум хлестких струй дождя они слышали стоны и причитания, хотя вокруг ни души. Только бабушка всё так же строго взирала с надгробия.

На этот раз истыкали иголками и сожгли фото всего правительства, вместе с новым министром обороны и президентом. Потом истыкали и сожгли весь парламент. И ничего не случилось, хотя дождь закончился, хотя ветер стих. А утром по телевизору объявили об отставке правительства вместе с президентом и новым министром обороны. И об отставке парламента тоже объявили.

Но вместо старого правительства и парламента появился Военный Комитет, заверивший, что теперь страна в надёжных руках. Теперь люди могут спать спокойно, потому что они переходят к решительным действиям.

Они начинают войну!

— Не хочу войны! — сказала Анна.

В тот день снова приехала зелёная машина. Мама страшно испугалась и даже не смогла выйти. Тот же военный, что забрал папу, постучал в двери — Анна открыла. Военный постарел, стал ещё седее, хотя прошла всего неделя. Он сказал, что у папы всё в порядке и протянул узкий жёлтый конверт.

Вся семья стала читать папино письмо. Мама плакала и говорила, что она так долго не выдержит, хотя папа написал, что у него всё хорошо. Их часть неподалёку от границы, где тихо, где нет боевых действий. Пока нет. И он очень надеется, что война не начнётся.

Война началась ночью.

Целый день грохотало где-то вдаль, где-то за горами. Небо опять затянуло тучами, только на этот раз буро-серыми. Мама сказала, что это от взрывов бомб и снарядов. А в вечернем выпуске любимой папиной газеты сообщили о первых победах нашей доблестной армии, отогнавшей врага от границ и обеспечившей нашей стране безопасность. И опять мама плакала, потому что знала — папа уже не вернётся.

А дети в эту ночь снова пошли на кладбище. Взгляд бабушки изменился: теперь её глаза наполняли слёзы. Она будто говорила, приближается что-то очень страшное. К ним идёт *горе!*

— Надо что-то делать, — сказала Анна утром.

— Бабушка уже не поможет, — ответил Том. — Но я кое-что придумаю.

Мальчик долго объяснял суть своего замысла, сестра думала. То соглашалась, то не соглашалась. День пролетел, как ветер над равниной, наступила ночь, и снова дети взобрались на чердак.

Пахло сыростью и чем-то страшным. В маленькое оконце пробивались всполохи молний вдаль. Или не молний, или взрывов снарядов и бомб из-за гор.

На этот раз Том принёс гвозди и молоток. Анна читала заклинания, брат аккуратно вбивал гвозди в большую толстую книгу — «Энциклопедия современной науки и техники». Долго вбивал, много гвоздей, до самого утра.

А когда рассвело, ничего не случилось. На небе выглянуло солнышко, запели птицы. Только вот почему-то не работало радио и телевидение. А потом пропала электроэнергия.

— Война уже пришла к нам, — сказала мама за завтраком.

Дети переглянулись, но промолчали.

А потом вновь приехала зелёная машина. Мама заплакала и снова не смогла выйти, боясь услышать самое страшное, что можно услышать. Но дверь хлопнула, и в дом проник стук военных ботинок по деревянному полу.

— Папа вернулся! — первой сообразила Анна, и дети побежали навстречу отцу. И мама побежала, будто у неё появились крылья. И все плакали от радости, а папа стоял молча и гладил детей.

— Не знаю на сколько, но нас пока отпустили по домам, — сказал папа.

А ещё он рассказал, что почему-то отключились все электростанции, не смогли взлететь все самолёты и не сдвинулись с места танки. Но это временно, инженеры их обязательно наладят, папа так сказал. И дети переглянулись — они точно знали, что никто ничего уже не наладит.

День проходил за днём, но ничего не менялось. И машина с седым военным больше не появлялась. А в посёлке стали поговаривать о надвигающемся голоде, потому что запасы истощились, подвоза продуктов нет и не будет.

Жители поделили землю, и теперь каждая семья трудилась в поле от рассвета до заката. Коровы вновь вернули статус священного животного, ведь молоко нигде нельзя купить. Во дворах стало больше гусей, кур и уток, ведь мясо тоже нигде нельзя купить.

Вместе с электричеством ушли в прошлое телевидение и радио. Не стало свежих газет и журналов, поэтому папа начал по вечерам читать книги — при свечах. А недавно поползли слухи, что соседний посёлок вооружился и собирается напасть, чтобы отнять птицу, коров и зерно.

— Будет война, — сказала мама, разжигая печь.

Дети переглянулись:

— Мы не допустим войны!

Илья Цой

Москва

МАВКА

Охота... сближает нас с природой,
приучает нас к терпению,
а иногда к хладнокровию перед опасностью.

И.С. Тургенев

Открытие сезона охоты является особым ярким, но до обидного, коротким моментом в жизни любого охотника. Для понимания обычных людей совершенно недоступно волнительное ощущение предвкушения начала ... скажем так, общения с матушкой природой. Вот завернул, не иначе как под впечатлением от Тургенева. Разгадка повышенного эмоционального ожидания от сего действия довольно банальна. Охота не ограничивается отстрелом животных на мясо. Можно даже сказать, что во многом добыча отнюдь не главное в охоте. Здесь важны детали и переход из состояния «город» в состояние «природа». Возвращение человека к истокам самого себя. Тридцать тысяч лет человек был охотником и собирателем и лишь в последние ничтожные сотню лет переместился жить в каменные джунгли и возомнил себя там царем этой самой природы, от которой сам же позорно бежал из деревни. С ружьем в лесу любой охотник испытывает ни с чем ни сравнимое чувство. Он откликается на «вечный зов» изначальной природы, как это случилось у Белого клыка из романа Дж. Лондона.

— Я вернулся!

Вот что говорит тело и подсознание в первый день открытия сезона в лесу. Цивилизованный разум с опаской оглядывается на странную реакцию своих подопечных. Тихонько прислушивается и не находит в ней ничего плохого и даже наоборот, легкий приятный ветерок от обрывков древних глубинных воспоминаний Homo Sapiens. Дремучее по своей природе ощущение из глубины инстинктивных навыков. Однако мы отвлеклись на описание мотивации городского Охотника, зачем он поперся на открытие охоты к черту на рога за мелкими птичками, отвратительно пахнущие тиной даже если их обсыпать тонной смеси перцев и прочих натуральных отдушек типа лаврового листа.

Погода в августе установилась адски жаркой. Поэтому возможность сбежать из города на открытие утиной охоты представлялось как мини отпуск в прохладный лес. В этот раз он удачно договорился с родствен-

ником, который в свою очередь раздобыл у знакомых резиновую лодку, на воде будет не так жарко. Родственники пораньше разобрались с работой и дружно рванули на Шатурские болота. Они нашли место на берегу озера, среди десятков таких же любителей пернатых. Оперативно вытащили лодку, накачали ее и завалились спать в ожидании утреннего официального открытия охоты.

Рано утром они вывалились из машины и пересели в лодку. В этот раз им несказанно повезло, они первыми наткнулись в утреннем тумане на пустую засидку из камыша. Туман начал потихоньку рассеиваться и началась настоящая утренняя тяга на открытии сезона! Азарт и адреналин били через край. Охотники расстреляли две пачки патронов. Родственник потом сознался, что никогда до и после он не расстреливал патроны в таком темпе. В общей сложности налетело больше десятка уток под разными углами и на разных высотах. После интенсивной пальбы им удалось поднять из воды всего две тушки. Когда туман окончательно рассеялся и наступило августовское утро, над озером установилась настоящая южная жара. Охотники пришвартовались к берегу, затащили лодку и пошли к машине перекусить. Куча эмоций и недосып с жарой быстро сморили большую часть охотников на берегу. Но не таков был городской Охотник. На охоте он принципиально не пил, чего кстати нельзя сказать про его родственника, который вместе со всем честным народом уже давно похрапывал в салоне машины. В общем ему не спалось, а жажда продолжить охоты обуревала его сильнее желания поваляться в душной машине. Он решил пройтись по каналам в поисках уток, которые также решили переждать удушающую жару в тени пышных зарослей кустов. Непривычная жара делала не очень удобным плотный охотничий костюм. Он порылся в сумке и вытащил сменный легкий спортивный костюм и кроссовки. Если не учитывать ружья и легкой банданы на морде, Охотник стал похож на типичного молодого деревенского парня.

Охотник внимательно просматривал заросли в каналах и неспешно прогуливался от одного к другому. Иногда каналы пересекались и образовывали приличные открытые заводи. Среди местных дачников почему-то считалось, что вода в торфяных каналах обладает некими лечебными свойствами и они с удовольствием в них купались. Вода в торфяниках действительно имеет необычное свойство, она там реально мертвая. Можно даже сказать бактерицидная. Там не живет ни один организм. Падаль не гниет в торфяных болотах и сохраняется годами. Охотник знал об этом местном мифе и не сильно удивился, когда увидел в очередной открытой заводи купающуюся девушку. Ну как увидел.

Он тихо шел вдоль широкого канала и за поворотом увидел сквозь кусты плывущую к нему на встречу молодую женщину. Она его не сразу заметила. Охотник старался не попадаться на глаза гражданским будущи вооруженным и постарался остаться незамеченным среди кустов. Однако она заметила движение и приветливо улыбнувшись, поплыла в его сторону. Раз заметили, то полагается изобразить приветственный оскал на лице и продолжить путь как ни в чем не бывало. Девушка подплыла к берегу и грациозно вышла из воды, слегка склонив голову и попыталась отжать роскошную шевелюру от воды. Она оказалась весьма стройной и довольно красивой девушкой. Больше всего удивлял цвет ее кожи. Она была практически белой и это не смотря на адский солнцепек. Кожа была просто идеальной и без малейших изъянов. Казалось, что она невероятно тонкая и почти прозрачная. Цвет волос немного смущал своим зеленоватым оттенком, но учитывая современную молодежную моду это не выглядело фантастически вызывающим.

— Гуляем по лесу в одиночестве? — игриво спросила прекрасная пловчиха.

Охотнику бы насторожиться от внезапной симпатией молодой женщины к отнюдь не молодому полста-летнему принцу в затрапезном одеянии посреди глухого леса. Но прелестные формы внезапной собеседницы и практически идеальная белая кожа на всем теле совершенно сбивали с толку. Он не нашел ничего лучше, кроме как сбивчиво ляпнуть.

— Да я тут ... это ... типа на охоте.

Девушка медленно и изящно подошла к Охотнику. Нежно взяла его за руку. Совершенно сбитый с толку он стоял как замороженный и смотрел на нее. Ее рука оказалась холодной и примерно соответствовала температуре воды, что было довольно странно для человеческой руки. А потом она его внезапно сильно дернула и потащила в канал. Причем это было нешуточное усилие для хрупкого телосложения прекрасно незнакомки. Охотник с трудом удержался на ногах и с нарастающим ужасом почувствовал, как скользят его ноги по земле не в силах затормозить тягу прекрасной белокожей пловчихи. Ружье свалилось с плеча и теперь только мешало. Правую руку как будто сдавили холодными тисками. Он панически пытался левой рукой зацепиться за стволы поросли на берегу и хоть как-то прекратить сползание к воде. Девушка без видимого усилия на лице спокойно тащила его в воду с ощущением полного силового превосходства. Он уже был по колено в воде и начал задыхаться от отчаянной борьбы. Бейсболка слетела с его головы. Пытаясь вырвать правую руку, он дергался из стороны в сторону, бандана

сползла с лица и теперь он дышал ртом судорожно глотая воздух. Дело складывалось совсем неважно, он уже был по пояс в воде и никак не мог отцепиться от железной хватки этого монстра торфяных каналов. Девушка решительно дернула его к себе, чтобы окончательно сбить его с ног и ей это почти удалось. Охотник клюнул головой ее сторону, но удержался на одном колене. И тут неумолимая тяга в глубину внезапно остановилась. Она внимательно рассматривала его перекошенное от ужаса лицо.

— Да ты старый. — сказала она с гримасой брезгливости и явного сожаления.

Железная хватка тут же ослабла. Она игриво щелкнула по воде обдав Охотника брызгами. Затем изящно развернулась и поплыла от него по каналу. Доплыла до поворота и скрылась за ним даже не повернув головы. Опешивший Охотник пулей выскочил из воды и вскинул ружье. Прошелся по берегу в поисках маньячки. Ни где не было ни малейшего следа купальщицы. В лагерь спящих вповалку охотников он пришел через час. Достал из сумки родственника бутылку и изрядно отхлебнул. Переоделся в сухое. Рядом в палатке проснулся местный охотник и пошел за кустик по естественным делам.

— А у вас тут злобные русалки часом не водятся? — витиевато поинтересовался он с учетом обстоятельств встречи с излишне сильным представителем слабого пола.

— Девка искупала? Это наша МАВКА шалит. Да ты не переживай, она для нас стариков не опасна. Это русалка — молодая утопленница. У нее жениха увели, вот она с горя утопилась. И теперь тащит в воду молодых и красивых. Думает, что это ее подлый жених. А как увидит, что мужик старше, так бросает топить на пол пути. Ты зря тряпку на морду одел. Да еще вырядился по молодежному. Нас она сразу узнает и не интересуется. А молодые и красивые здесь на охоту давно не ходят. Они все больше в интернетах сидят. Мужик зевнул и повалился в палатку досыпать после тяжелого охотничьего дня и обильного возлияния. Потом посмотрел на ружье Охотника, которое он держал перед собой побелевшими от напряжения костяшками пальцев и решил успокоить его. Мол эта разновидность русских русалок не может выйти из водоема и здесь не представляет никакой опасности. Успокоил. Нечего сказать. Охотник еще раз хлебнул и полез в машину досыпать как все окружающие приличные охотники. Заряженное ружье положил рядом. На пояс повесил нож. К вечеру все дружно проснулись и продолжили азартную охоту на открытие сезона. Мужик из рядом стоящей палатки, который рассказал ему про агрессивных местных русалок, его не узнал.

Лодка их компании получила прокол и они матерясь пытались срочно ее заделать. Рассказать родственнику Охотник вообще не решился, чтобы избежать подозрения в излишне буйной фантазии. Никому не было дела до видений понаехавших гостей. Городской Охотник решил, что сделать вид будто все ему приснилось от внезапного принятия умеренной дозы алкоголя будет наилучшим вариантом для психики. Правда, слегка смущал насквозь мокрый спортивный костюм с кроссовками.

Краткая справка по отечественной мифологии:

Водяница — самая безопасная разновидность отечественных русалок. Не злобны, но проказницы. Фактически бесплотны. Максимум на что способны, это пощекотать ногу человека в воде.

Лоскотуха — утопленницы, но не самоубийцы. Озорные. Согласно легенде могут зашекотать человека. Отличительный признак — прозрачная кожа спины, сквозь которую видны внутренние органы.

Мавка — наиболее распространенный тип русалок. Бродит вдоль водоемов, нападает на молодых и топит их. Очень красивые. Практически совершенны. Имеет шикарные длинные волосы с зеленоватым отливом. Умеет петь красивым голосом.

Отечественные скрепные русалки не имеют рыбьих хвостов, в отличие от западных морских аналогов. У наших потрясающие ножки. Физически заведомо превосходят человека. Общая рекомендация для охотника — бежать подальше от водоема.

В следующие выходные Охотник переполнился решимостью продолжить сезон. Другой немаловажной причиной была незабываемая, причем во всех смыслах этого слова, встреча с прекрасной представительницей славянской мифологии. Больше всего поражало соседство диких мифических персонажей буквально на краю мегалитического очага цивилизации постмодерна. Будучи почти отличником в школе и обладателем диплома толкового технического вуза, он сделал рейд по хозяйственным магазинам и закупил компонентов взрывных устройств на основе бытовых химических веществ. Не будем вдаваться в подробности, дабы не прослыть агитатором экстремизма. Перед этим Охотник тщательно проштудировал все известное про отечественных бесхвостых русалок и как с ними боролись в древности. Из бытовых химических веществ он собрал сотню взрывчатых зарядов и начал ими пластиковые банки от средств для мытья сантехники. К банкам прикрутил водонепроницаемые колпачки с шнуром-взрывателем. По задумке предполагалось поджигание шнура и бросание его в воду. Банка тонет примерно на метр, шнур догорает и граната взрывается на глубине.

Достал из сарая спасательный жилет, который он купил в комплекте со своей первой резиновой лодочкой. Докупил еще один надувной жилет. Одел сначала надувной, а поверх него пробковый. Получилась защита от прокола надувного слоя и двойная плавучая способность. Даже проверил свою плавучесть на городском пляже. Утонуть было практически невозможно. Тело пробкой подпрыгивало на поверхность. Два самых крупных ножа предполагалось повесить по бокам на ремне. На этот раз выезд состоялся в одиночку. Незачем родственнику наблюдать за охотой на мифических существ. Приехал в субботу днем, когда все остальные истовые любители открытия сезона уже беспробудно дрыхли живописно раскиданные по берегам крупных водоемов. Охотник постарался проехать на машине максимально вглубь дикого лесного массива, поближе к опасному каналу и подальше от других охотников. В машине была припасена канистра с бензином и две лопаты. Боялся ли он уголовных последствий? А собственно каких? Мифический персонаж уже давно официально умер и дело закрыто. Никах проблем с законом не предвиделось. К злополучному каналу он вышел к полудню. Согласно ранее разработанной тактической схеме, предполагался медленный проход вдоль канала с методическим разбрасыванием бомбочек и тщательным отслеживанием выхода существа на поверхность. Двигался строго по тропинке и не спускался к берегу, чтобы не попасть в зону ее досягаемости.

Не побоимся этого слова, боевое применение импровизированных глубинных бомб проходило скучно и методично. Охотник ударными волнами сгонял все живое из каналов в глухую мелеющую заводь, из расчета добить там все способное пережить гидродинамический удар. Если существо вылезет на берег, то он расстреляет его из ружья с запасом в сотню патронов, которые висели на нем уложенные в два открытых патронташа крест на крест на груди. Когда оба канала были планомерно обработаны сотней килограммов взрывчатки и оставался всего десяток метров до заводи, внезапно ... он ее увидел!

Русалка с непередаваемой эстетичностью возлежала на пологом берегу заводи и невозмутимо принимала солнечные ванны в шикарном белом миниатюрном раздельном купальнике. Она картинно щурилась на спящем августовском солнце, прикрывая глаза рукой. Рядом на ветке молодой березы висел ее короткий сарафан. Видимо сушился после купания. Городской Охотник чуть не наступил на нее, так гармонично она смотрелась на живописном берегу сливаясь с окружающим пейзажем. Он аж дернулся от неожиданной встречи, изготовился к стрельбе и немного отскочил назад, стараясь не сходить с тропы. Ру-

салка лениво повернула голову в его сторону. Ослепительно роскошные волосы заструились в ее руках. Один особо непослушный локон хулигански образом улучил момент, вырвался из ее изящных тонких длинных пальцев и свалился на правый глаз. Перед этим она перебирала их руками пытаясь просушить. С эстетической точки зрения кадр был потрясающе привлекательным. Причем настолько, что Охотник напроць забыл цель своей тщательно продуманной боевой операции.

— А ты точно охотник? — насмешливо спросила обладательница бесподобной шевелюры, окидывая его смешливо-снисходительным взглядом с легкой игривостью в голосе.

— В каком смысле? — выдавил из себя Охотник после неприлично-го, более чем минутного замешательства. Перед этим он еще более неприлично сглотив предательски пересошим горлом. При этом он физически не мог оторвать взгляд от непослушной пряди над правым глазом. Потом спохватился и понял, что не хорошо отвечать, не глядя в глаза собеседнице и с усилием поднял взгляд на глаза. Взгляд предательски пополз вниз к совершенным формам груди едва прикрытой миниатюрной декоративной тряпочкой. С плохо контролируемым усилием ему все же удалось взглянуть в ее изумрудно-зеленые миндалевидные глаза с объемными пушистыми ресницами.

Русалка легко считала внутреннюю борьбу мышц, управляющих движением глазных яблок мужчины. Она великолепно осознавала свое абсолютное физическое совершенство и с видимым удовольствием наслаждалась произведенным эффектом.

— А что это за бомбежка водоема? Ведьмаком себя возомнил?

Юная русалка была весьма подкована в современной молодежной культуре. Ведьмак — персонаж одноименной популярной компьютерной игры и культового американского сериала, который профессионально занимался искоренением всякой нечисти. В этот момент Охотник ощутил себя каким-то дурацким актером с балаганными антуражем бродячего цирка на болотах в компании прекрасной незнакомки. Он не являлся для нее интересным персонажем для утопления, но на всякий случай стоило держаться подальше. Мало ли что у них русалок там в голове. А вообще сообразительная девушка, сразу догадалась о направлении бомбардировки и метнулась к конечному пункту ожидая бомбардира.

— Да я это... на бобров охочусь.

А что еще ему оставалось сказать? Не говорить же в лоб, что пытался ее оглушить взрывом и пристрелить несчастную девушку, а затем отрезать голову и закопать, перед этим облить бензином и сжечь. В со-

временном мире в принципе не принято говорить собеседнику то, что о нем думаешь. Толерантность она такая. Девушка игриво дернула плечиком и закинула непослушный локон назад. Игривость хоть и сквозила в ее взгляде, но не было ни малейшего сомнения, что она отлично понимала смысл происходящего. Тем не менее она была не прочь продолжить беседу даже с таким редким, можно даже сказать редкостным высокоморальным гостем в ее краях. Вероятно времяпровождение русалок не отличалось большим разнообразием и повышенным уровнем общения с людьми или себе подобными. Внутри Охотника отчаянно боролись две антагонистические мысли. Домашняя заготовка по борьбе с славянскими мифологическими персонажами в реальном мире и невероятное эстетическое наслаждение от созерцания божественного женского совершенства на берегу красивого водоема в пригожий солнечный день. В голове проносились аналогии с «Завтраком на траве» и «Рождением Венеры», а также ее безупречной живой инсталляции. Про себя он решил, что пока подождет с окончательным решением, она же никуда не денется и будет здесь долго. Завязалась неспешная легкая беседа с ружьем на изготовку об окружающем пейзаже и погоде. Русалка непринужденно сделала вид, что поверила ахинеи Охотника про бобров и любезно рассказала ему о паре настоящих нор бобров. Вообще она оказалась хорошим знатоком местности и поведала Охотнику немало интересного. Как оказалось, уток она в этих каналах не видела и не рекомендовала ему здесь искать. Чтобы не смущать и так порядком ошарашенного мужчину, она по-особому изящно одела высохший сарафан и теперь сидела на берегу непринужденно болтая длинными стройными ногами с идеальными классическими греческими ступнями в воде. Про себя она старалась не говорить и ловко уходила от скользких тем. Ей это было совсем не трудно. Когда разговор подходил к деликатной теме, она начинала наматывать свои шелковистые локоны на палец или просто легко их поглаживала. В этот момент у Охотника сбивалось дыхание и он начисто забывал о своем вопросе. Девушка улыбалась с легкой грустью в глазах и переводила разговор на другую тему. Когда Охотник опомнился, солнце уже клонилось к закату. Как быстро летит время. Пора закругляться. Возникла неловкая пауза.

— Ну, я пожалуй пойду. У меня тут еще вечерняя охота на уток намечалась.

— Да, конечно. Заходи если что.

Охотник опустил ружье, потом подумал и закинул его на плечо. В машине он еще долго сидел с заряженным ружьем на коленях. Снял два спасательных жилета и зашвырнул их в багажник. Отстегнул ножи

и бросил их в сумку. Два оставшихся боезаряда распотрошил и выпал на дорогу. В голове носились одна мысль безумнее другой. Вопрос — что это было, числился там самым простым и логичным. Однако сознание не горело желанием на него отвечать ни под каким предлогом. Нарастающая симпатия к речной богине стремительно подавляла фундаментальный логический материализм типового носителя постмодерна. Вечерняя охота на уток как-то не задалась. Было три хороших пролета в зоне стрелковой досягаемости, пару из которых он благополучно прозевал. Утренняя охота прошла чуть получше, в том смысле, что удалось сделать больше выстрелов. Обрато ехал в полном молчании и даже не перекинулся парой слов с бестолковым болтливым навигатором.

Розыскные мероприятия и опознание личности по фотороботу образа русалки заняли две недели и вылились в изрядную сумму. Он внимательно разглядывал копию дела утопшей девушки. На фото была миловидная юная девушка, но не такая ослепительная красавица, которую он встретил на каналах. Трансформация в русалку положительно сказались на ее внешности. Из материалов дела складывалась картина типичного любовного треугольника с трагическим финалом. Она с начальной школы встречалась со своим одноклассником и к исходу обучения дело шло к свадьбе. Но в старших классах парень приглянулся другой девушке, причем из богатой по местным меркам семьи. Будущая русалка же напротив была из простой семьи. Похоже у родителей парня голова пошла кругом от перспективы войти в семью состоятельных владельцев местной гостиницы и сети магазинов. Они всячески строили козни школьным друзей и в конечном счете им удалось расстроить планы молодой пары. Парень видимо обладал не самым сильным характером и повелся на агитацию родителей. Расстроился от расставания, тут его и подобрала богатенькая дочка. На фото парень отличался весьма примечательной внешностью. Во время одной из молодежных вечеринок на природе с обильным возлиянием алкогольных напитков произошла трагедия. В материалах дела приводились путанные показания одноклассников сомнительной правдивости. Следовательно не стал углубляться в детали и закрыл дело с формулировкой «трагическое стечение обстоятельств». В тот вечер пострадал еще один юноша, но его удалось откачать. Парень погоревал некоторое время, а затем женился на дочке местного магната. Привлекался к семейному бизнесу и даже вполне успешно. Именно в то время магнат дешево выкупил у местной мебельной фабрики служебную гостиницу как непрофильный актив и в короткое время превратил ее в лучший отель региона. Парень

занимался ее ремонтом и постарался на славу. Охотник хорошо знал эту гостиницу, потому как постоянно в ней ночевал, брезгуя местными охотничьи домиками. Детей у пары не было, семейная жизнь с новой избранницей не особо складывалась. Парень с головой ушел в работу помогая магнату в его бизнесе. Домой приходил поздно. Жена первое время активно пыталась построить семейное счастье с удачно отбитым у соперницы видным парнем, но видимо на таких событиях счастье не построишь и все пошло как-то не так и совсем не туда. Ничего необычного, типичная история практически для любого времени. Вот только не каждому суждено стать русалкой и застрять на пол пути из нашего мира в мир иной.

Следующую неделю Охотник ходил под впечатлением от прочитанного. Никакие сериалы в подметки не годились реальным жизненным историям из уголовной практики. На всякий случай он решил уточнить, а чем сейчас занимается Парень. Оказалось, что после гостиничного ремонта он переключился на магазинный бизнес и стал правой рукой хозяина в торговом деле. Эта новость натолкнула Охотника на хитроумный план. В тот момент он работал в крупнейшем агрохолдинге, который производил востребованную продукцию для любого магазина. В молодости Охотник успел побывать начальником отдела маркетинга и даже некоторое время возглавлял отдел продаж. Завязать знакомство с Парнем через работников гостиницы, в которой он был регулярным постояльцем, не составило особого труда. Потом он связался со своим маркетинговым подразделением и предложил им организовать выездное мероприятие с перспективой затолкать продукцию холдинга в региональные магазины. Идея нашла полное понимание и маркетинг отработал по полной. Было организована выездная дегустация на живописной полянке со службой закупки торговой сети и приглашенным Парнем. Дегустация проводилась недалеко от злополучных каналов. Слегка пьяный Парень в отличном настроении легко согласился смотреть на каналы с Охотником и весело пострелять по бутылкам из итальянского полуавтоматического ружья.

Заранее предупрежденная русалка ждала своего любимого на песчаном пологом берегу живописной заводи. Она грациозно сидела на раскладном матерчатом кресле, с бесподобными свободно распущенными волосами и задумчиво глядела на водную гладь. Склоняющееся к закату солнце как будто запуталось у нее в волосах и его лучи отчаянно пытались пробиться сквозь шелковистые локоны, веселело играющие на легком вечернем ветре. Парень вышел из машины и сразу же понял кто сидит в кресле спиной к нему. За секунду он полностью про-

трезвел и не твердой походкой пошел к ней. Охотник догнал его и деловито прицепил к ремню джинсов мощный карабин с прочным шнуром, купленным в хорошем магазине альпинистского снаряжения. Другой конец бегом прицепил к буксировочному крюку своей машины, которую предусмотрительно не стал глушить. Про себя матерясь, он вел отчаянный диалог с внутренним голосом.

— Чел, ты понимаешь, что это натуральная паранойя?

— А вдруг ее заклинит и она его утащит на глубину?

— Вот никакого желания отвечать потом за него.

— ПА — РА — НО — ИК, — отчетливо по слогам возразил внутренний голос.

Парень и девушка наконец-то встретились на берегу канала. Они долго молча стояли и просто пожирали друг друга глазами. Затем Парень схватил девушку и крепко обнял, сильно дернув страховочный канат. Охотник не слышал, о чем они говорили, да и не особо хотел вмешиваться в чужие дела. На фоне угасающего заката и утихшей водной глади, сцена свидания молодых людей выглядела умопомрачительно красиво и романтично. Охотник даже загляделся и у него промелькнула мысль щелкнуть сцену на телефон. Он вовремя сдержался и крепче намотал страховочный канат на руку натягивая заранее припасенные перчатки. Еще раз посмотрел на парочку. Никогда ранее он не видел такого обильного слезоотделения у мужчин. Он даже не представлял себе, что мужчины могут так плакать. А потом она тихо и отчетливо сказала, что ей пора. Девушка повернулась и медленно пошла к каналу на ходу снимая платье. Зашла в воду и не спеша поплыла к другому берегу. Буквально через несколько метров стала испаряться на ходу. К противоположному берегу уже подплыла только речная пена как от водоворота, по форме лишь отдаленно напоминающая контур ее прекрасного тела. Парень неподвижно стоял еще минут пятнадцать. Охотник вытащил из авто холодильника бутылку водки и пошел к нему. Молча встал рядом с ним, отвинтил крышку и передал Парню. Отстегнул карабин от ремня. Парень отхлебнул изрядную дозу, повернулся и глядя в пустоту пошел к машине.

Через пару месяцев Парень развелся, бросил все в родном городе и уехал в мегаполис. Там он сделал удачную карьеру в гостиничном бизнесе и занял должность управляющего в одном очень приличном отеле. Охотник пару раз проводил там корпоративные мероприятия и все прошло на высшем уровне. Каждую годовщину встречи на канале Парень звал Охотника на пьянку в ресторан отеля. Там он напивался до чертиков, рассказывая Охотнику какая прекрасная у него была девуш-

ка. Ему больше некому было поделиться своей душевной болью в огромном чужом городе. Охотник тоже не горел желанием расширять круг посвященных о таинстве встречи с прекрасной русалкой. Каждый раз встреча заканчивалась глубоко за полночь и затаскиваем бесчувственного тела до дежурного номера. Через несколько лет он женился и у них родилась прекрасная дочурка, которую он ласково называл Мявка. Девочка смешно шепелявила и гордо повторяла свое прозвище — «мявка». По мнению Охотника, это был перебор, но давать советы взрослым людям было не в его правилах. Ему даже предложил стать ее крестным. Охотник наотрез отказался участвовать в языческих обрядах, ему по уши хватало мистики Шатурских болот.

К одной из годовщин он нашел хорошего художника и заказал ему пейзажный портрет русалки. Не поленился и сфотографировал место своей первой встречи со всех сторон. Забрав пару вариантов и через месяц получил картину, в которой он постарался запечатлеть памятную встречу с прекраснейшим созданием. Сдуру похвастался картиной перед Парнем. Он как одержимый стал просить продать ее. А потом упал на колени и пообещал за нее все что захочет. Охотник тут же согласился пока он совсем не обезумел, но попросил отсрочку на рисование копии. Когда копия была готова, он пригласил Парня и предложил забрать картину, умолчав какая из них копия. Тот безошибочно выбрал оригинал. Пришлось довольствоваться копией. Художник тоже сделал себе копию и выставил ее на какой-то выставке под названием «Русалка на траве». Картина была продана по хорошей цене, а он стал востребованным портретистом.

В подсказанных русалкой местах, Охотник добыл трех молодых бобров и сшил из них теплую жилетку. У него уже была одна такая простая. Но эта отличалась какой-то особой теплотой и мягкостью меха. Швея пошла ее в стиле унисекс, а если по-простому, то сделала ее особо изящной. Она плотно и мягко облегла тело и стала любимым частью зимней охотничьей одежды.

КУНСУНСКИЙ ВОЛКОДАВ

Рядом с дачей городского Охотника совершенно случайно обнаружилось приличное частное охотничье хозяйство. Оно вело бизнес с таким размахом, что предлагало круглогодичную охоту на традиционную дичь в наших лесах. Как уже отмечалось, Охотник был равнодушен к мясу. Однако он был совсем не равнодушен к своему легкому и изящ-

ному американскому карабину. Ключевое слово здесь карабин. Настоящее нарезное оружие с оптическим прицелом. Он использовал его в основном летом для охоты на сурков, а все остальное время карабин скучал в сейфе. Охотник иногда бережно вынимал его в межсезонье и тщательно проводил необходимое техническое обслуживание. Как-то раз, протирая тряпочкой скучающее оружие он соединил в воображении мысль о вынужденном простом оружии и информации об успешном близком охотхозяйстве. А почему бы и не проветрить скучающий ствол? Рассуждение, сродни женскому о проветривании шубы гламурным персонажем. Мужчины стараются тщательно скрывать свое отношение к личному легальному стрелковому оружию потому, что оно действительно имеет иррациональный или даже эмоциональный характер. Представляется, что привязанность мужчин, охотников в частности, к оружию куда сильнее, чем у женщин к шубам. Решено! Едем прогуляться! С женой была проведена успешная подготовительная компания по убеждению необходимости приготовления экологически чистого мяса в духовке. Упор в убеждении был сделан на абсолютную экологичность возможно добытого мяса. При этом старался умолчать о предполагаемой стоимости добычи. По его подсчетам выходила стоимость за килограмм примерно равная приличному говяжьему стейку. Не самого топового портерхауса, но вполне съедобных альтернативных частей мраморных быков. Экологичность победила. Пришлось обещать финальную разделку мяса на кухне самому, жена терпеть не могла дары леса от Охотника и любезно предоставляла ему самому заниматься невинно убиенными тушками.

В один из выходных Охотник в приподнятом настроении прихватил с собой карабин и выехал к новому месту охоты. База выглядела современно и была хорошо оснащена различной техникой. Значение для выезда это не имело особого так, как близость к даче освобождала от необходимости пользоваться и платить за инфраструктуру. Егерь собрал охотников, перед тем как развести их по вышкам и произнес напутственную речь с элементами инструктажа. Как оказалось, в окружающей местности есть некоторые особенности. В соседнем районе московская городская администрация разместила сборный пункт для бездомных собак. Звучит даже с экологическим оттенком. На деле же это был форменный собачий концлагерь. Несчастные собаки редко жили там больше двух месяцев. Кормили их дешевыми малосъедобными кормами, купленные на муниципальных тендерах, в которых как правило побеждали сами некачественные корма. Собаки поголовно болели и участь их

была незавидной. Лишь единицы удавалось спасти волонтерам. Как и любой муниципальный проект, приют становился объектом хищений и всяческих растрат, которые проходили по документам как оптимизация бизнес-процессов. Руководство приюта придумало оригинальную схему для сокращения расходов. Отловленных собак содержали не больше месяца, на период стерилизации и выхаживания. А затем великодушно выпускали их на волю. Выглядел этот процесс минимально дружелюбно для животных. Машина выезжала в направлении ближайшего леса, как назло, это были окрестности охотничьего хозяйства и выпускали их на все четыре стороны. Половина обезумевших собак тут же попадала под колеса проезжающих машин. Другая половина разбредалась по лесу и в поисках еды портила бизнес хозяйству, пожирая на своем пути все до чего удавалось добраться. В дополнение к собачьей напасти, из соседней области стали заходить волки и тоже добавили инвестиционной привлекательности хозяйству. Справедливости ради, стоит заметить, что пользу все-таки тоже принесли. Проходя мимо, волки сожрали почти всех оставшихся выпущенных собак. С экономической точки зрения эффект был не столь очевиден так, как цена арендованного вертолета для отстрела волков произвела сильное впечатление на бухгалтера. Егерь в красках все это пересказал и неофициально попросил валить всех собакоподобных при встрече. Охотники прослушали лекцию о регулировании численности собак в полном молчании. Все-таки стрелять собак такое себе дело. Какой-то шутник поинтересовался как быть, если попадутся беглые люди в полосатых пижамах из недавно вновь отстроенной колонии в соседнем районном городке. Собачья история произвела на всех настолько гнетущее впечатление, что ему никто не ответил.

В 1996 году компания Therapeutics из Шотландии впервые в мире вырастила клонированное млекопитающее — знаменитую овечку Долли. Овечка прожила 6.5 лет и родила 6 здоровых ягнят. Это был колоссальный прорыв в биологии. Фактически перед клонированием человека не осталось каких-либо технических препятствий. Человеческая этика получила новый вызов и готовилась к полному пересмотру.

Но перед тем, как приступить к главному событию, то бишь к клонированию человека, на братьях наших меньших прошел ряд подготовительных мероприятий. Профессор Сеульского университета Усок Хван в 2005 г. клонировал первую в мире собаку. Дело неожиданно обернулось заманчивой коммерческой перспективой. Спекулируя на горе безутешных (и состоятельных) владельцев домашних животных с

коротким сроком жизни, можно было построить блестящий бизнес по воспроизводству домашних питомцев. Профессор бросил заниматься опасным, с юридической точки зрения, клонированием человека и основал фирму по клонированию кошек и собак. Бизнес пошел в гору так хорошо, что неизбежно появились конкуренты в США и Китае (куда же без них). Простое клонирование кошек и собак всем быстро наскучило и китайцы первые решились улучшить клон. Они клонировали полицейскую собаку Кунсун из породы кунсун-кунминский волкодав. Исходным материалом послужила знаменитая в Китае овчарка Хуахуанма, на счету которой было 12 раскрытых убийств и успешное участие в более чем 20 уголовных делах. Поскольку большинство полицейских собак в Китае являются импортными и их обучение до уровня Хуахуанма может занимать до 5 лет и стоить около 75 тысяч долларов, полицейское управление трезво рассчитало, что клонирование собак сможет улучшить качество полицейских щенков и сэкономить государству приличные деньги. Цена клонирования на тот момент составляла 50 тысяч долларов и время воспроизводства — несколько месяцев. Куньминская овчарка — единственная местная порода, используемая в полиции Китая, которая была специально выведена в 1950-х годах в качестве собаки для прохождения военной службы из немецкой овчарки и гибридов собак и волков. Результаты обучения клонов от лучших образцов, давали обнадеживающие результаты и опыт стал расплзаться по миру.

Так клонированные и генетически улучшенные овчарки Джек и Том впервые попали в Россию. Собак, подарил новой колонии, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в знак давнего сотрудничества с ним. Видимо бывший ветеран этой службы. Эти собаки стали результатом научного эксперимента профессора Ву Сока в южнокорейском институте в сотрудничестве с компанией Sooam biotech reserch foundation. Эти хорошо обученные служебные собаки, с изначально выдающимися генетическими качествами, быстро подняли уровень работы в возрожденной исправительной колонии. Набранные молодые собаки, во всем подражали опытным командированным ветеранам. Джек, был явным лидером и авторитетом среди группы служебных собак. У него было потрясающее чутье и невероятно хорошо контролируемая злобность. Если надо было отработать, Джека всегда по возможности пускали первым, а другие собаки с замиранием сердца следили за его действиями. Экстерьер собаки действительно вызывал восхищение и не только у других собак. Это был

статный и мускулистый пес, практически эталон породы. Других слов для описания собаки было бы трудно подобрать. Том слегка терялся на фоне Джека, но отнюдь не по служебным параметрам, он буквально на миллиметр уступал Джеку. А самое главное, он по каким-то причинам уступил лидерство Джеку и совершенно по сему поводу не переживал. Для Тома лидировать в стае не представлялось интересным. Однажды, во время учебных занятий, его инструктора вызвали на КПП, доверяя псу оставил его не привязанным наблюдать за занятиями. Когда же инструктор вернулся, то ему пришлось наблюдать за идиллической картиной. Мощный служебный пес перемахнул через сетчатую ограду тренировочной площадки и с азартом гонялся по внутреннему двору за бабочками. Чем вызвал переполох среди заключенных. Но доселе злобный пес, совершенно игнорировал заключенных вне служебных рамок и продолжал азартно бегать за яркими бабочками, смешно подпрыгивая и вертась в попытках их прикусить. У конвойных бестолковая беготня пса вызывала сплошные улыбки умиления. Инструктор на корню пресек беготню Тома за бабочками, вернувшись с КПП. Описывая этот случай, этой свирепой служебной собаки можно понять, почему он уступил лидерство Джеку. Похоже пес не лишен был некоторого, с позволения сказать «романтизма». Это плохо для служебной собаки, но до тех пор, пока пес исполняет свои обязанности, на это смотрели сквозь пальцы. А что касается обязанностей, то вот кстати с чутьем у него было даже получше, чем у Джека. Однако лидерство Джека, тем не менее, было неоспоримо и все новые собаки признавали его безоговорочно.

Крах отлаженного механизма, вновь запущенной колонии наступил внезапно для всех сторон. Сейчас не представляется возможным, что именно пошло не так и почему генно-модифицированные клоны взбунтовались и начали организованную войну с людьми. Видимо, авторы генетического улучшения не учли какие-то факторы. Первыми, встретили пугающую новую неизвестность, инструкторы служебных собак, когда на утреннем разводе из клеток вывели Тома и Джека. Джек спокойно вышел из клетки, а затем повернулся к инструктору и зубами схватился за поводок. Ошарашенный инструктор попытался его дернуть на себя, собака даже не покачнулась. Она лишь внимательно посмотрела длинным не мигающим взглядом на инструктора и слегка оскалилась. Инструктор бросил поводок и попятился к двери. Джек сплюнул поводок. Том подошел к Джеку и методично отгрыз его от ошейника, Джек терпеливо дожидался освобождения. Затем, обе собаки дело-

вито подошли к клеткам и поочередно начали их открывать, вскоре вся стая оказалась на свободе внутри колонии.

Как собаки проникали в закрытые помещения, позднее на допросах описывали не многочисленные выжившие в этой бойне и их рассказ смело можно было бы характеризовать как фантастический бред. Том, схватив охранника за ногу, тянул его к закрытой двери, а Джек взглядом показывал на замок. В это время Том прикусывал ногу охранника. Охранник орал от боли и все понимал с первого раза, судорожно выхватывая нужные ключи из связки. Собаки не делали различия между заключенными и надзирателями. Они молча, нападали со всех сторон и деловито давили всех встречных. В их нападении четко прослеживался маршрут к входной двери. На пути к воротам, остался корпус с заключенными. Собаки разделились. Одна часть во главе с Томом, потащила надзирателя с ключами к общему коридору, а вторая часть во главе с Джеком преследовала разгромленную группу надзирателей. Покусанные остатки надзирателей, прижатые к корпусу с заключенными, сочли за благо открыть корпус и попытаться спрятаться там. Они логично предположили, что общество себе подобных в данном случае предпочтительней, чем общение со взбесившимися зверьем.

Закреть дверь за собой надзиратели не успели, Джек во главе отряда собак ворвался в корпус. Восемь надзирателей отчаянно отбиваясь, отступали внутрь помещения, пытаясь прикрыться между рядами двухэтажных кроватей. Ничего не подозревающие заключенные, сначала крайне удивились массированному вторжению надзирателей, ожидая внепланового шмона, но иллюзии быстро рассеялись. Злорадство по поводу боя надзирателей с собаками, мгновенно испарилось после того, как первый заключенный упал с распоротой шеей, заливая кровью пол. Преимущество зверей и невероятная злобность Джека, делали свое дело. Звери выигрывали за явным преимуществом. Бой, стремительно распространился на все помещение и вовлекал в себя всех присутствующих. Шесть собак метались по всему помещению и наносили ужасающие раны людям. Они целенаправленно рвали бедра, пытаясь добраться до артерии и при любом удобном случае проходили в шею со смертельным укусом. Джек воспользовался минутным замешательством и организовал загон надзирателей в один угол и отгоняя заключенных в другой.

В корпусе был один бывший офицер, сидевший за коррупцию с военными заказами. Он отреагировал на ситуацию первый. Бой только

внешне выглядел хаотично. На самом деле, это было организованное столкновение зверей, во главе с уникальной генно-модифицированной помесью волка с собакой, начисто лишенной малейшего страха перед человеком. Звери действовали методично и организованно. Шесть собак разбились на пары и поочередно нападали на людей по определенному шаблону. Одна собака хватала за ноги и фиксировала человека, после чего вторая бросалась на человека пытаясь его свалить. С собакой на ноге и под усилием ее челюстей довольно трудно сохранить устойчивость и как правило, если не с первого, то со второго броска собаки человек падал. После чего собака пыталась укусить за шею, человек естественно пытался закрыться руками. В это время собака, которая держала за ногу, быстро отпускала ногу и кусала за пах. Человек инстинктивно дергает руками вниз и открывает шею, что второй собаке и надо. Следует финальный укус в шею, а затем бойцовая пара переходит к следующей жертве. Человек с разорванной шеей как правило, стремительно истекает кровью с летальным исходом. Джек орудовал в одиночку, учитывая его выдающийся экстерьер, он не нуждался в напарнике и валил людей самостоятельно. Выбирая место и жертву, он управлял боем, задавая направления ударов для бойцовых пар. Одна пара работала по надзирателям, две другие под руководством Джека рвали заключенных. У заключенных на ногах остались половина из восьми, заключенные в считанные минуты потеряли треть личного состава заливая кровью пол барака. Бывший офицер быстро оценил упорядоченные действия нападающей стороны и перспективы хаотичной обороны людей. Имея боевой опыт, он на уровне подсознания требовал организации обороны.

- Всем ко мне!
- Построиться в круг!
- Спинай ко мне!
- Раненных внутрь круга!

Офицер выбрал место предполагаемого центра оборонительного построения и встал там, пытаясь организовать формацию. Он затаскивал раненных внутрь и орал на особо бестолковых. Люди начали формировать рваный защитный круг. Раненные, шатаясь или ползком потянулись внутрь круга. Надзиратели бились отдельно, прижатые в угол, истекая кровью.

- Для глухих повторяю!

— Всем в круг б... ь!

Офицер яростно орал, выразительно глядя на надзирателей. Те после секундного замешательства, потянулись в защитную формацию. Круг становился ровнее. Эффективность собачьих двоек резко упала, люди перестали падать после бросков на них собак, так как сзади их подпирали стоячие раненные и офицер. Висеть на ноге другой собаке становилось рискованно, рядом стоящие в круге яростно били им по головам и пытались выдавить собакам глаза. Бой плавно затухал. Собаки носились вокруг круга, безуспешно пытаясь применить свой прием. Люди отчаянно отбивались. Ходячие раненные внутри круга, перевязывали лежащих. Бой прекратил Джек. Он секунду постоял напротив офицера и спокойно развернувшись повел за собой собак к выходу. Когда собаки ушли за дверь, офицер скомандовал забаррикадироваться. За окном послышалась короткая пулеметная очередь, потом пулемет неожиданно захлебнулся и замолк. Заключенные разделились, часть активно перевязывали раненных, а другая часть, разрывала на полосы постельное белье. Пол корпуса был залит кровью и хождение по нему начало представлять проблему. Половина заключенных была с тяжелыми рваными ранами, треть из раненных была безнадежна. У надзирателей из восьми все были с рваными ранами и только один из них мог передвигаться самостоятельно. Зажимая кровоточащую рану на руке, он подошел к бригаде, которая рвала белье на перевязки и получил свою порцию перевязочных материалов. Вернулся и стал помогать своим. Бойцы по команде превратились в санитаров и методично пытались остановить кровотечения у раненных. Чтобы остановить кровь, потребовалось два часа. Всех перевязали. Истекших кровью и умерших, отнесли и сгруппировали в дальнем углу. Раненные надзиратели лежали вперемежку с заключенными на нарах. Офицер внимательно прислушался к заткнувшемуся автомату, периодически подходя к окнам для оценки ситуации. Затем подошел к наиболее уцелевшему надзирателю и глядя на него в упор произнес:

— Я с ходячими посмотрю периметр...

— Ты как?

Надзиратель тщательно сопоставил в уме размер своей скудной зарплаты со служебной инструкцией. Согласно инструкции, он должен был оказать всяческое сопротивление попыткам побега. Затем демонстративно обвел взглядом своих семерых забинтованных товарищей.

Приоритет выстраивался сам собой, при полном отсутствии возможности удержать от побега сразу нескольких здоровенных мужиков, будучи в явном численном меньшинстве.

— Не прощаюсь. Сказал он и саркастически ухмыльнулся.

Входные ворота поскрипывали, раскачивались на слабом ветру. Новая колония подверглась полному разгрому и вернулась в свой привычный статус заброшенки. Он встал в центре внутреннего двора, напротив ворот савтоматом, который взял у убитого Томом охранника и занялся организацией погрузки раненных в машины скорой помощи. Охранник на КПП успел позвонить в город и сбивчиво сообщить о налете. Первыми приехали машины скорой помощи из центральной районной больницы. Погрузкой раненых занимались заключенные, у которых ходячих было больше. Все надзиратели были покусаны и были не в состоянии заниматься погрузкой раненых. Машины скорой помощи целый день вывозили раненных в ближайшую больницу. Людей по максимуму, загружали в машины и на полной скорости везли зашивать в операционную. ФСИН отреагировал на звонок практически мгновенно. Когда ведомственный спецназ на полной скорости, вломился во внутренний двор, его взору предстала сюрреалистическая картина. Заключенные бережно грузили надзирателей и своих раненных в машины скорой помощи. Два уцелевших надзирателя охраняли с автоматами наперевес корпус с ранеными. Все погибшие были аккуратно уложены вдоль административного корпуса. Заключенный офицер деловито командовал погрузкой и организованной охраной от возможного повторного нападения. Как только во внутреннем дворе появились бойцы спецназа, он сразу же бросил автомат, на землю и вопросительно посмотрел на них. Командир отряда быстро оценил обстановку, подошел к офицеру и подобрал автомат. Затем пошел к охранникам за докладом, не мешая организованному процессу эвакуации раненых.

Охранник на главном КПП был убит после открытия двери прикушенным надзирателем. Джек разделался с ним, стремительно разорвав ему шею, но истеричная автоматная очередь агонизирующего охранника успела сразить Тома. Джек один вырвался из колонии, бросив у ворот обычных собак.

Охотника привезли на вышку, он устроился там, предвкушая встречу с «гастрономическим» кабаненком. По опыту он знал, что кабаны

старше двух лет отличались малосъедобным мясом. Вышка была довольно аскетичной и больше смахивала на беседку на курьих ножках. Однако он хорошо утеплился и запихнул химические грелки-стельки в обувь. Ближайшие шесть часов ноги не замерзнут. Ждать пришлось относительно не долго всего-то пару часов. Правда на кормушку вышел отнюдь не кабан, а какой-то другой зверь. Охотник пользовался обычным оптическим прицелом с подствольным фонарем. Он пока (морально) не дорос до тепловизора. В наступившей темноте неясные очертания сбивали с толку. Что за зверь такой вышел? Явно не кабан. Размер как у среднего кабана, но телосложение значительно тоньше. Зверь странно вел себя у кормушки и не чавкал как обычно это делают кабаны. Охотник подкрутил окуляр прицела на максимум и опешил от увиденного.

— Волк!

— Да как так?

Волк на кормушке для кабана прямо перед вышкой. Сказать, что это было необычное сочетание, значит ничего не сказать. Как минимум минуту Охотник разглядывал мохнатую зверюгу в прицел пытаясь сообразить, что ему делать. Он помнил, что Охотник обязан при любом законном нахождении в охот угодиях стрелять злобного вредителя. Но если он выстрелит, то кабаны сюда этой ночью точно не придут. Лицензия безнадежно пропадет, не говоря уж об обещанном экологически чистом мясе. С другой стороны, это очень редкий охотничий трофей, причем в идеальных условиях для стрельбы. Была не была. Выстрел! Попал! Зверюга закружилась на месте. Передернул затвор. Еще выстрел. Зверь лег, но продолжал биться в конвульсиях. Подождал минутку, чтобы отдышаться. Спустился с вышки и в полной готовности к выстрелу медленно подошел к трофею. Какой-то странноватый волк. Третий выстрел утихомирил его конвульсии. Позвонил егерю и рассказал о необычной добыче. Егерь примчался с еще одним сотрудником через полчаса. Они долго рассматривали добытую зверюгу.

— А может это не волк, а какая-нибудь помесь?

— Типа ублюдок?

После затянувшейся паузы спросил работник егеря. У клиента (то есть Охотника) в этот момент по лицу пробежала непередаваемая гамма чувств. Одно дело застрелить волка вместо вкусного кабанчика, а

совсем другое дело завалить бродячую собаку по цене кабана. Егерь быстро считал душевные терзания охотника и тут же вставил свои пять копеек.

— Сам ты ...

— Да не, точно волк! Спасибо тебе! Большое дело сделал для нас!

Подошел к Охотнику и торжественно пожал ему руку, с благодарностью от всего коллектива охотхозяйства, которое запарилось на прошлой неделе полным составом бегать за стаей пришлых волков. В качестве дополнительного бонуса Охотнику обнулили стоимость охоты, за исключением стоимости транспортировки с вышки на вышку и разделки волка для оформления настенной головы. На улице стояла крошечная тьма и решено было доспать в машине до первых лучей солнца и качественно сфотографировать редкий трофей. Как говорится, нет фотоотчета, значит нет события. С первыми лучами солнца довольный Охотник провел фотосессию. Работник хозяйства по-всякому вертел тушку для лучшего ракурса. Сделал кучу фоток горделивого Охотника рядом с поверженным животным с карабином наперевес. Затем волка разделали и упаковали. Обратная дорога ничем примечательным не отличалась, за исключением переговоров с таксидермической студией и размышлениями, где теперь перехватить круглую сумму на изготовление настенного медальона с головой.

На разбор полетов вызвали опытного следователя. Сначала он хотел покрутить пальцем у виска на бред опрашиваемых. Но позднее, количество одинаковых, как под копирку написанных показаний остудили его пыл. Разумеется, бывают массовые галлюцинации, но они никогда не бывают одинаковыми у группы людей. К тому же, куча трупов и искалеченных укусами людей, наглядно подтверждали зафиксированный в протоколах «бред». Показания заключенных и надзирателей совпадали целиком и практически дословно во всех деталях. Показания надзирателей слегка отличались так, как они подвергались нападениям в разных помещениях. По итогам расследования комиссия сошлась на предположении, что причиной восстания генно-модифицированных собак стал мутагенез не совсем ясного характера. Прокуратура и ФСИН делом не заинтересовались. Учитывая происходящие вокруг, прокуратура закрыла дело и на всякий случай поставила гриф секретности. ФСИН не стал проводить служебную проверку и ограничился списанием собак, как утраченного имущества и на всякий случай запретил сво-

им подразделениям принимать на службу модифицированных четвероногих. Вопрос был успешно замечен под ковер, по причине полного отсутствия ресурсов для получения квалифицированного ответа по проблеме.

Игорь Бézрук

г. Иваново

КОГДА К ТЕБЕ ПРИХОДЯТ СНЫ

... Лес. Сумрак. Он гонится за женщиной. Она быстро убегает от него. Ему никак не удается её поймать. Ветви больно секут лицо; ноги то и дело оступаются. Женщина тоже, видно, бежит из последних сил, иногда спотыкается, падает, но вновь подхватывается и снова сломя голову бежит, огибая деревья и кусты, и уклоняясь от веток. Ею управляет желание жить, им — жажда убивать. Но страх, в конце концов, лишает её и этой надежды. Он стремительно настигает её, тянет к ней руку, хватая за волосы. Женщина оглушительно кричит, и все-таки вырывается, оставляя в его кулаке небольшой клоч выдранных волос...



Грэг Маккони в ужасе просыпается в своей постели. Он ничего не поймет, он весь влажный, влажная и простынь под ним, и одеяло, и подушка. В висках до сих пор, как метроном, громко бухает кровь. Он весь, чувствуется, выжат, опустошен. Так, словно пробежал безостановочно миль пять. И все же знакомые стены, обстановка, антураж постепенно возвращают к реальности. Грэг начинает понимать, что происшедшее с ним пару минут назад, было лишь сном, *настоящим* сном, поэтому и волноваться так не следует, а только спокойно обвести всё глазами и сказать себе: «Было бы из-за чего переживать. Это же сон. Просто сон. Кошмарный сон — и только!» Он сейчас, как обычно, встанет, привычно включит свет и начнет собираться на работу, ведь на самом деле ничего *такого* не произошло, ничего *этого* не было. Он почистит зубы, умоется, пройдет на кухню, включит там «фунай», потом кофеварку, — и всё забудет, до мелочей. Может, у него еще сохранится

ощущение *того* ужаса, но и оно вскоре исчезнет, так как Грэгу теперь яснее ясного: *то* был лишь сон!

Грэг поднялся, спустил ноги с кровати; как под неимоверной тяжестью наклонил вниз голову, опустил плечи и собранные в кулаки кисти рук. Какими жилистыми показались они, вздутыми, как будто он только что с напряжением работал ими. Но что это! В правой руке — о, Боже! (Грэг раскрыл ладонь правой руки) — был зажат небольшой клочок человеческих волос!..

«Я, наверное, сошел с ума, — весь день только об этом Грэг и думал. — Такого не может быть! Ладно, я готов мириться с ужасным сном, с его кошмарами, но не с проявлением сна в реальности. Что ж выходит, что я на самом деле кого-то преследовал и вырвал у него клочок волос? Абсурд! Я же находился в полном сознании. Вечером лег спать, ночь не вставал, никуда не выходил, квартиру не покидал, и вдруг на тебе: какая-то безумная погоня, какое-то чудовищное преследование! Это не могло происходить на самом деле, хоть что мне говори! Я просто убежден, что уснул в своей постели и проснулся в ней! Хотя (какая нелепость!) именно это и не может быть моим алиби, так как я не могу наверное утверждать, что ничего не делал в промежутке между засыпанием и пробуждением! Бред какой-то!»

Грэг отпрашился с работы, сославшись на недомогание. Шеф, на удивление, не стал его, как обычно, наставлять. Грэг прошел к реке, которая текла неподалеку от учреждения, где он служил, и сел на одну из свободных скамеек. В реке игриво резвились дикие утки. Они то кружили проворно по воде, то плавно расплывались в разные стороны, то вдруг, что есть духу, неслись обратно к какой-нибудь крякве, выудившей со дна кусок травы. Их вид немного успокоил Грэга, хотя и не привел в норму. К вечеру, слава богу, нелепый сон всё-таки оставил его. Сидя у себя на диване возле телевизора и посасывая из банки пиво, Грэг только посмеивался над собой и своими страхами.

Однако через неделю подобный сон повторился.

...Он борется с какой-то женщиной. Вокруг сумерки и ворох листьев. Они шуршат под его ногами, ломаются, трещат. Женщина сильна. Ей придает силы желание жить, ему ярости — жажда убивать. И все же она еще сопротивляется с отчаянием безнадежности. Нет, не кричит, как в прошлый раз, только глухо сопит и упирается руками и ногами. На ней огромное пальто, и Грэг никак не может ни за что ухватиться. Тогда он наотмашь бьет ее по лицу: раз, еще раз, потом в грудь, в пле-

чо. Одна рука ее обмякает, ему удается схватить ее за воротник, он что есть силы раздирает его, и хватается правой рукой за цепочку на ее шее. Цепочка тут же обрывается и... он просыпается. Снова весь мокрый. С лихорадочно бьющимся сердцем. Грэг поскорее сбрасывает с груди влажное одеяло и вдруг видит зажатую в правой руке чужую цепочку...

Джон Рэд в смятении возвращался в участок с места происшествия. Ему все не нравилось. Не нравилось то, что сегодняшнее убийство по почерку полностью совпадало с предыдущим, недельной давности. Не нравилось, что убийца после себя ничего определенного не оставил. Даже не пытался надругаться над жертвами, только хладнокровно убивал и как будто тем самым освобождался, сразу теряя к ним интерес.

Орудовал одним и тем же ножом, наносил раны куда попало, колот, очевидно, пока не переставали сопротивляться. Потом уходил. Места в этой лесополосе глухие, свидетелей пока не отыскалось. С трудом установили личность первой жертвы, надо бы срочно дать информацию о второй. Обе убитые девушки — молодые. Пытались оказать сопротивление как могли, но убийца, видно, необычайно силен, так как даже грудь последней девушки прошел с одного удара.

В участке Джону сообщили, что его с утра ищет шеф. Джон сразу же пошел к нему. Подходя к двери кабинета, увидел у стены на стуле мужчину лет сорока, потерянный вид которого так и бросался в глаза.

Джон слегка постучал в стеклянную дверь кабинета начальника и спросил разрешения войти.

— А, Джон, давай, заходи скорее, — замахал ладонью начальник. — Видел в коридоре человека? Посмотри, что он принес.

Начальник пододвинул поближе к Джону небольшой конверт, поверх которого лежал пук человеческих волос и золотая цепочка с маленьким медальоном в виде сердечка.

— Что это? — не понимая, что хочет этим сказать начальник, спросил Джон.

— А ты как думаешь? Только что принесли результаты экспертизы волос. Не догадываешься, кому они принадлежат, а? На, прочти, — начальник сунул Джону результаты анализов. Джон глазам своим не поверил: по данным экспертов волосы принадлежали Лоре Ги, девушке, убитой неделю назад.

— Представляешь, какой мужчинка сидит у меня под дверью?

— А цепочка?

— Пока не знаю. Но он утверждает — как тебе? — что наши последние два убийства видел воочию во сне, и якобы клочок волос самостоятельно выдрал у первой жертвы, а цепочку сдернул со второй. Я сначала было подумал, что он больной, но тот вытащил из кармана конверт и выложил его содержимое. Если бы не результаты экспертизы, я бы выкинул его из участка в два счета, но у меня как пережмуло что: «А дай, думаю, отправлю волосы на анализ, с меня не убудет». И вот результат. Что скажешь?

— Не знаю, что и думать.

— Тут и думать нечего. Бери его в оборот. Сказки про сны и оборотней, пусть в редакции пишет, а мы ни в какую мистику не верим. Мы — реалисты. А реальность говорит однозначно: вот клочок волос первой жертвы, и он не мог оказаться у случайного человека, кто бы что ни говорил. В общем, так, забирай мужика к себе и раскручивай. Мне кажется, он только прикидывается ненормальным. Хотя я и допускаю некоторую долю амнезии. Вызови психиатра, всё в твоих руках. И цепочку проверь, мало ли что.

— Пройдемте, пожалуйста, со мной, — сказал Джон мужчине, сидящему возле кабинета начальника. Тот безразлично поднялся и пошел за ним.

В своем кабинете Джон усадил его напротив, но расспрашивать не спешил. Мужчина тупо уставился в пол и, казалось, пребывал в полной прострации. Джон несколько минут наблюдал за ним, и отметил про себя, что мужчина сильно измотан и, что называется, потерян.

— Вас что-то беспокоит? — наконец спросил Джон, и мужчина ответил:

— Сны. Мои сны. Я уже рассказывал одному из ваших. Последние две недели меня преследует один и тот же кошмарный сон, будто я за кем-то гонюсь, догоняю, с кем-то борюсь. А потом в ужасе просыпаюсь в постели с чем-нибудь в руке. Первый раз это был клочок женских волос, теперь вот цепочка. Всякий раз мой сон словно переходит в реальность.

— И как вы все это объясняете?

— В том-то и дело, что никак. Никакого разумного объяснения. Но точно знаю, что никуда теми ночами не выходил и находился у себя в квартире, в собственной постели.

— И вы думаете, что кто-то вам в это поверит?

— Конечно, нет. Но и другого выхода я не вижу. И к кому еще обратиться тоже.

— Что же вы хотите от нас?

— Не знаю. Я не знаю, что мне делать.

Мужчина замолчал, и Джон подумал, что тоже поставлен в тупик. Арестовать этого человека он как бы и вправе: тот пришел в участок с уликой с места преступления, которую не мог больше взять нигде. Но то что он мелет, ни в какие ворота не лезет.

— Вы не согласитесь пару суток посидеть в камере, пока мы не установим до конца вашу непричастность к происшествиям, — как можно тактичнее выразился Джон. — Мы проверим еще и предметы, которые вы принесли. Я охотно поверю в ваши сны, но, сами понимаете, со стороны все выглядит как-то нелепо.

— Понимаю. И поэтому согласен на что угодно, лишь бы это помогло мне избавиться от кошмаров.

— Вот и ладно, — поднялся с воодушевлением Джон. — Я вас передам одному полицейскому, вы заполните необходимые бумаги и немного побудете в камере. Мне тоже кажется, так для вас будет безопаснее.

Джон вызвал сержанта Малькольма и попросил оформить явившегося мужчину по всем правилам. Когда они ушли, Джон снова сел за стол, вскинул ноги на столешницу и закурил.

«Итак, что мы имеем?» — подумал он и начал перебирать в уме все имеющиеся у него на сегодняшний день факты.

Уже через день объявились родственники последней убитой и дали полное описание всего, что на ней и в ее карманах находилось. Несмотря на нелепость ситуации, Джон осмелился показать им цепочку с кулоном. На удивление, они сразу же признали её. Да, это цепочка Молли. Бесспорно. Они подарили её совсем недавно, на двадцатипятилетие. Уму непостижимо! Если Грэг Маккони на самом деле убийца, какой смысл самому приходить и сдаваться. Захотелось славы? А может, он больной? Убить, а потом прийти и сдаться, да к тому же предъявить неоспоримые улики, получить которые он мог, только находясь на месте преступления, надо быть, не знаю в какой степени сумасшедшим! Необходимо срочно провести обследование его личности.

Джон позвонил психиатру, прикрепленному к их участку.

Полное тестирование Грэга Маккони и выявление результатов заняло около трех дней. За это время расследование убийства Молли Сандерс не продвинулось ни на йоту. Начальник твердо настаивал на проработке версии Грэга Маккони, но Джон Рэд не знал, с чего начать. Результаты тестирования серьезных отклонений у Маккони не выявили. По крайней мере, не больше, чем у любого другого, заеденного бытовухой субъекта. Может быть, Маккони нагло врет? Зачем? Какой инте-

рес? Пойти на электрический стул? Стоило из-за этого выдумывать небывальщину про какие-то там кошмарные сны?

Джон еще раз попытался проанализировать мотивы поступка Маккони-убийцы, и снова все ниточки привели в тупик. Грэг не был знаком ни с одной из жертв, не жил с ними поблизости, не работал рядом, не ездил на автомобиле в направлении, где были убиты обе жертвы. А в последний день допоздна работал на фирме и вернулся домой, как показала соседка, встретившая его в это время, около одиннадцати. Может, он смог потом улизнуть от посторонних глаз? Но почему тогда на месте преступления не нашлось ни одной вещицы, принадлежавшей Грэгу Маккони?

Пятый день Джон Рэд бился, как об стену головой. И в четверг просидел в кабинете до восьми вечера. Однако не успел и до дома доехать, как передали по радию, что на окраине города патрульные снова обнаружили труп молодой девушки с множественными колотыми ранами, как и в предыдущих двух случаях. Джон тут же развернул машину.

Сходство было почти во всем. Молодая девушка, уединенное место, погоня, борьба, многочисленные раны в животе. Только у этой жертвы маньяк еще отрезал безымянный палец. Обручальное кольцо? Ограбление? Или, может, и прошлые разы мотивом убийств было ограбление. Ну уж к этому происшествию Грэг Маккони явно не причастен. Он сейчас спокойно отлеживает бока в теплой камере. Жаль, конечно. Проще было, если бы все эти убийства совершил он. Теперь снова надо будет ломать голову, выискивая настоящего убийцу.

Джон почувствовал, как безумно устал, но, наверное, заглянуть в участок все-таки придется. Когда он, наконец, выспится, одному Богу известно...

... Грэг снова гонится за девушкой. Сумерки. Привычные для него сумерки. И лес. Все тот же лес, те же листья под ногами, также шуршат, и лопаются, и трещат. Те же ветви больно хлещут по лицу, и та же жажда убивать охватила его с головы до ног. Но девушка еще бежит, потому что хочет жить. Однако и ее силы на исходе, Грэг это чувствует, и в конце концов настигает девушку, валит на землю, переворачивает к себе лицом. Она брыкается, как может, он сильно наотмашь бьет ее, и, только ослабляется хватка, вырывает откуда-то из-за пояса нож и несколько раз тычет им вниз. Потом окровавленное лезвие ножа попадает в поле зрения и... Грэг Маккони в который раз в ужасе просыпается. Но теперь не знает, что и думать: он находится в наглухо закупоренной камере, уж на этот раз он точно не покидал своего места,

значит, не он убивал, почему тогда *ему* снятся все эти кошмарные сны! Как они осточертели! И зачем тогда он здесь? Почему его, невинного, держат под замком. Он хочет на волю. Они должны немедленно выпустить его, не то он сойдет с ума!

Ералаш из мыслей взорвал мозг Грэга Маккони, он вскочил с нар, подбежал к двери и громко забарабанил в нее:

— Выпустите меня отсюда! Я не убийца! Не убийца!

На крик сбежались охранники и стали избивать его дубинками.

Едва Рэд переступил порог участка, к нему тут же подскочил дежурный:

— Джон, твой Маккони чуть не довел нас до белого каления. Только и визжал, как резаный: «Я не убийца, не я их убил...» Еле утихомирили. Может, ты с ним разберешься, в конце концов.

— Самое странное, что он действительно не убийца. Где он?

— У себя в камере, где ж ему быть.

— Ладно, сейчас пройду к нему, только умоюсь.

— Да, и еще, Джон, посмотри, что мы нашли в его камере, — дежурный протянул Рэду небольшой бумажный сверток. — Думаю, тебе будет интересно.

Джон Рэд развернул сверток и чуть не обомлел — в нем лежал отрезанный безымянный женский палец с уже знакомым обручальным кольцом.

НОЧЬ В ЛЕСУ

Виктор умело, с навыком установил палатку и теперь натягивал последние стропы, закрепляя их на вбитых в землю деревянных колышках. Всё делал спокойно, не спеша, основательно — так, что Анна даже залюбовалась им.

От него вообще веяло надежностью. Виктор и привлек ее именно цельностью своего характера, в котором, как в зеркале, отражались мужественность, сила и уверенность в себе. За таким, как говорится, будто за каменной стеной. Степенный, рассудительный, не подведет. Не о таком ли мужчине мечтает каждая женщина?

Виктор — второй у нее. Не чета первому. Тот какой-то весь издерганный был, суетливый, все пытался казаться лучше, чем есть. А этот... Господи, небо и земля!

Анна улыбнулась, найдя забавным такое сравнение, и почувствовала прилив воодушевления.

Сразу нахлынули сладостные грезы, в груди стало тепло, в теле легко. Она отломала небольшую засохшую ветку и от радости и удовольствия стала слегка похлестывать себя по ноге, расхаживая взад-вперед по залитой заходящим солнцем поляне и искоса поглядывая на мускулистую спину Виктора, её мужчины!

Как замечательно осознавать, что рядом с тобой такой обаятельный, сильный и надежный человек.

Тем временем он установил палатку и стал затаскивать внутрь матрас, бросив её на ходу, чтобы она достала из машины покрывало и одеяло.

Сначала Анна хотела спать в салоне, но Виктор отговорил ее, мол, какой в машине отдых, так и останется — что был, что не был на природе.

Разгорячился:

— В том-то и смысл — слиться со всем, впитать в себя всё!

И она согласилась. С ним трудно было не согласиться: он всегда говорил правильно. Даже мама удивлялась: как это Виктор всё так правильно понимает. Но это, видно, она преувеличивала, еще неизвестно, кому он больше понравился: маме или ей.

— Что ты, пострелёныш, там лопочешь?

Виктор как увидел её в первый раз, так и сказал: «Пострелёныш». Другая бы обиделась, а ей хоть бы что, даже где-то приятно: она ведь действительно бедовая девчонка, но вот при нем сильно стеснялась, никла, старалась не выпячивать активную сторону своего характера. И это нежное «пострелёныш» с неизменным потрепыванием по макушке, где, как мелкий ворс ковра, торчали коротко стриженные волосы, умиляло её и разнеживало...

Анна принесла всё, что он просил, расстелила, выбралась из палатки.

Виктор собрался за хворостом, разжечь костер.

— Будем всю ночь у огня.

— Замечательно.

— Я тебе не дам уснуть.

— А я и не усну.

— Да, да, ты такая соня, — с нежностью сказал он, удаляясь.

До сумерек еще можно успеть приготовить ужин. Всё необходимое они взяли с собой. Виктор прихватил даже чугунный котелок приятеля, в котором пища, как он говорил, становилась во сто крат вкуснее и ароматнее.

Анна достала из машины крупу, посуду, специи и стала готовить.

Каша должна получиться на славу...

Стемнело. Пестрозвездная ткань закрыла всё небо, и сквозь неё с трудом прорвалась луна. С озера потянуло сыростью, тихо зашумели деревья, покачивая тонкими верхушками. Где-то неожиданно, испугав Анну, крикнул сын. Она сильнее прижалась к Виктору, вызвав у него добродушную улыбку:

— Ах ты, мой пострелёныш.

Она не обиделась: Виктор был старше её и мог себе подобное позволить. Вернее, она могла ему такое позволить.

На природе с вином ужин показался романтическим. Но Анна почувствовала, что хватила лишнего: закружилась голова и потянуло на сон. Виктор был прав: эту ночь она вряд ли выдержит.

Виктор поднялся:

— Пойду, принесу ещё хворосту.

Анне не было страшно, вино давало и определенные преимущества. Она осоловело кивнула головой и плотнее укуталась в одеяло.

Виктор ушел. Некоторое время она еще прислушивалась к его тяжелой поступи, потом всё стихло.

Огонек весело поигрывал, сучья в жару забавно потрескивали, в небо дрожащей серой пеленой взметался дым и одинокие крохотные искры.

Виктор брел наугад, оставляя позади сноп костра. Впрочем, луна уже округлилась и роняла столько света, что можно было всё вокруг свободно различать. Очертания ветвей и стволов деревьев будто покрылись позолотой, но он не любовался ими, потому что был слишком усердным, старался брать сучья покрупнее, массивнее, чтобы огонь не угасал всю ночь и не пришлось бы больше ходить за хворостом.

На одной из полян он увидел огромное сломанное дерево. Было видно, что упало оно давно, так как успело затрухляветь, ветви высохнуть, кора отстать.

Виктор стал отдиравать её. Толстая, добротная, такая в самый раз годилась для костра.

Вдруг он услышал шорох, обернулся и увидел Анну. Она подбежала к нему легко, как будто не шла, а парила над землей, тесно прижалась, дрожа и словно говоря: «Я так испугалась: тебя нет и нет, нет и нет. Мне страшно».

— Ну что ты, пострелёныш, я же с тобой, — едва слышно пробормотал Виктор и замолчал, — что-то в ее поведении насторожило, она никогда так горячо его не сжимала. Хотя ему, наверное, просто показалось.

Виктор погладил Анну и тоже приобнял.

Её дрожь не утихала, наоборот, становилась все безудержнее. Ладони зашарили по его спине страстно, судорожно, больно впиваясь остро отточенными ногтями. Это даже несколько взбудоражило Виктора.

«Ах ты пострелёныш, ах ты скромница...» — подумал он, но ничего не сделал, чтобы остановить ее. Она быстро заставила его позабыть обо всём на свете.

Анна всё еще сидела у костра. Ночь не казалась холодной, но она всё же куталась в одеяло, скорее всего, от страха. Силуэт Виктора затерялся, шаги смолкли быстро. Анна отыскала на земле недопитую бутылку вина, открыла её и отхлебнула прямо из горлышка. Дрожь немного унялась. Осушила до дна. Голова пошла кругом, но стало спокойнее и снова потянуло на сон. Сопrotивляться было бесполезно — глаза предательски закрывались. Тогда она поднялась, пошатываясь, добралась до палатки и рухнула, совсем ослабев. Как сладко всё-таки засыпать, когда ты весь охвачен дурманом сна.

Но спать долго не пришлось — Виктор возвратился, влез в палатку и засмеялся как-то жутко, неестественно. Хотя это ей, наверное, показалось, потому что больше всего хотелось только одного — спать. Но Виктор стал гладить её, потирать, мять.

— Ах, оставь, я так устала... — с трудом произнесла она, но он был настойчив, повернул к себе спиной и влез под одеяло.

Сквозь тяжелую дрему Анна ощущала его возню, но остановить не могла: тело будто отрешилось от нее и совсем не слушалось.

«Да всё равно, делай что хочешь, только дай поспать», — как вязкая масса стекла у неё из мозга в небытие, но Виктор сделал ей больно. Анна вскрикнула, дернулась, и сон окончательно покинул её.

— Ты! — только и вымолвила она и попыталась освободиться, но Виктор недюжинной хваткой зажал руки и тело, сдавил, продолжая вклиниваться в нее своим огромным раскаленным естеством.

Анна стала кричать, вырываться; Виктор — хрипеть, сопеть и делать своё дело. Беспощадно, не считаясь ни с чем.

Вскоре её крики и стоны превратились в один неиссякаемый вой.

Анна уже рыдала и проклинала всё и вся.
Виктор дико гоготал, не разжимая стальных объятий.
И только когда она, обессиленная и истощенная, обмякла, — всё прекратилось. Мир погрузился во тьму...

Когда она открыла глаза, было еще темно. Сколько времени прошло — неизвестно.

Обернулась — никого. Значит, куда-то вышел.

— Негодяй, ублюдок! — так и выплюнула ему в лицо, как только он влез в палатку.

— Ты что? — ничего не понимая, опешил Виктор.

— Еще спрашиваешь? Мразь! Сволочь! — заколотила Анна по нему кулачками.

Виктор, подумав, что от страха, что он так долго не возвращался, с ней случилась истерика, попытался её унять:

— Ты ведь сама ушла... По нужде...

— Какой нужде! Ты что меня совсем за дуру держишь?! — набросилась она на него с новой силой.

— погоди, погоди! — попытался Виктор остановить Анну, но она, как с цепи сорвалась: царапалась, рвала на нем рубаху и заливалась слезами.

Вдруг среди этого бедлама откуда-то снаружи громко раздалось:

— Ну как, мой пострелёныш, сладкая ночь, а?!

И вслед за этим безумный, нечеловеческий смех, холодным ужасом пронзивший нашу парочку с головы до ног.

ОТДАЙ МОИ ЦВЕТЫ, ДЕВОЧКА!

Вы замечали, что на кладбищах осень наступает раньше обычного. Будто таится там в густых зарослях акаций, боярышника, кленов и осин. Солнце еще млеет высоко, поля и луга нежатся в зелени, а в тени раскидистых кленов и долгоногих мачтовых сосен уже потихоньку начинает осыпаться листва, вянуть трава, сохнуть хвойные иглы. И хотя ветру здесь особо не разгуляться, он нет-нет, да и скользнет игриво между крепких стволов, взовьется к кронам и увлечет за собою жухлый лист, томящийся среди своих вечнозеленых собратьев. Что он там ему нашептал, какими диковинными далями обольстил, неизвестно, но удивительно видеть, как еще вчера поникший, сегодня этот лист задрожит

ошалело, сорвется с ветки и понесется вслед бесшабашному новому другу неведомо куда. Но улетит недалеко: ветер снова стремительно взмывает в гудящие кроны деревьев и забудет скоро про своего наивного и доверчивого спутника. Тогда желтый лист сникнет обидчиво, опустит острые края, как убитый горем человек плечи, и медленно и плавно падет наземь, чтобы там, смешавшись вскоре с такими же, как и он сам, горемыками, уснуть навечно в общей могиле осеннего ковра.

Но некоторым из них, бывает, удается уловить последний рывок уносящегося проказника-ветра и они пролетят дальше, за погост, упадут на прогретый солнцем асфальт и еще покуражатся в шальных виражах рожденных вечерней прохладой младенцев Эола.

С приближением осени таких путешественников становится всё больше и больше; и вот уже у юноши, возвращающегося с работы, от буйства красок чуть ли не рябит в глазах, и он то и дело поднимает голову и переключается то на ряды густых кустов жимолости вдоль опоясывающей кладбище аллеи, то на стальные могилы, стеснившиеся в непроходимом на первый взгляд лабиринте.

Почти каждый день он ходит на работу по этой аллее, и каждый раз мимо него проплывают вензеля и завитушки, решетки и оградки, кресты и стелы, мрамор и бетон. Молодой человек так уже свыкся с ними, что, кажется, и сама смерть, вдруг объявившаяся в купе зелени, не испугала бы его. Отдельными барельефами и рисунками, бюстами и портретами он даже любовался, а фамилии, лежащие вдоль асфальта, давно выучил наизусть. Кладбище для него стало таким же обыденным и обыкновенным местом, как городской парк, сквер, сад. И потому, наверное, возвращаясь с работы и увидев свежий могильный холм, а на нем яркий букет черных роз, у него созрела шальная мысль подарить такие же розы своей девушке.

Бесспорно, среди всякого вида роз черные не шли ни в какое сравнение и были, наверное, очень дорогими. Наш юноша в жизни бы не позволил себе разориться на такую роскошь. Но когда он представил себе, какими влажными станут глаза девушки, когда она увидит такие розы в его руках, сколько радости появится в них, юноша не удержался, и хотя сомнения еще одолевали его — стоит ли вообще брать цветы с могилы, — вернул и взял.

Девушка на самом деле очень обрадовалась. Такая неожиданность: цветы в будний день, да еще розы, да еще черные, каких днем с огнем не сыщешь!

— Боже мой, солнце мое! — не сдержала она восторга. — Ты с ума сошел! Это просто немислимо! У меня нет слов.

Сияющая, она повисла у юноши на шее, крепко обнимая его и целуя, а он, словно ничего не произошло, только пожимал плечами и говорил:

— Да что такого, ничего особенного, просто захотелось доставить тебе удовольствие.

— Ты не понимаешь, дурашка, что это за подарок, какие это цветы! Как я тебя люблю! — чуть не парила вокруг него счастливица.

Но ночью ей приснился страшный сон. Будто они занимались любовью, и вдруг парень на глазах стал превращаться в безобразного мертвеца. Кожа его позеленела, волосы осыпались, лицо невероятно сморщилось, глаза запылали жарким огнем, и он произнес:

— Отдай мои цветы, девочка! Зачем ты взяла мои цветы?

Девушка в ужасе подхватилась в постели, посмотрела по сторонам, но вокруг была лишь комната, слабо освещенная уличным фонарем снаружи. В тусклом отраженном свете она увидела рядом с собой на постели спиной к ней своего дремлющего друга и облегченно вздохнула: то был лишь сон, самый обыкновенный сон. А раз так, то и мертвец, и тот ужас, который она испытала при виде его, нереальны и рождены всего лишь перевозбуждением накануне вечером. Значит, и бояться никого и ничего во сне ей не следует. С ней рядом друг, она может прикоснуться к нему и ощутить его.

И все же девушке было страшно. Она снова легла, прижалась к юноше, чтобы успокоиться.

А тот, будто во сне почувствовав ее прикосновение, заворочался, обернулся, и девушка опять дико вскрикнула: на нее как прежде усталый тот же мертвец и завел старую пластинку:

— Отдай мои цветы, девочка! Зачем ты взяла мои цветы?!

Девушка истошно закричала, кубарем выкатилась из постели, ударилась о стенку, затряслась в испуге.

Мертвец поднялся, сел на кровати, свесив ноги, и снова сказал:

— Отдай мои цветы...

Новое потрясение было неопишваемым. Девушка только раскрыла рот, чтобы глубоко вздохнуть, и тут же повалилась в обморок.

Утром с удивлением проснулась на полу. Решила, что ее состояние — последствия ночного кошмара. С трудом поднялась, так как чувствовала себя разбитой, еле дошла до кровати, бухнулась на нее и закрыла глаза. Мертвец все еще стоял перед ней. Девушка открыла глаза и посмотрела на розы. Бутоны их налились и стали еще краше. Утреннее солнце нежно золотило их лепестки.

«Какой странный сон», — подумала, но никак не связала его ни с букетом роз на журнальном столике, ни со своим близким другом, переадресовав все на вчерашнюю усталость и эмоциональную нагрузку.

Но следующей ночью мертвец пожаловал снова и потребовал, как и раньше:

— Отдай мои цветы, девочка, — чем вновь поверг ее в ужас. На этот раз все мало походило на сон, потому что девушка почувствовала на своем лице даже его дыхание, и трупный запах разлагающегося тела резко ударил в нос.

— Отдай мои цветы, девочка! — пролепетал мертвец, вперившись в ее глаза.

— Но я их не держу, — нашла наконец она силу духа, чтобы ответить безжизненному зануде.

— Э нет, держишь, держишь! Ты должна сама отнести их на мою могилу. Как взяли, так и верните.

И тут только до девушки дошло, что ее друг, оказывается, не купил эти цветы, а прихватил с могилы. «Как он мог?!» — не могла понять она.

А покойник все твердил:

— Отдай мои цветы, девочка! Зачем ты взяла мои цветы?

Надо сказать, наша девчонка была не из робкого десятка, могла, если надо, и мужика за пояс заткнуть, поэтому, кое-как успокоившись, сказала:

— Давай завтра, миленький, а? Давай. Отнесу я тебе их, отнесу.

Покойник попался, на удивление, понятливый.

— Ладно, — произнес. — Подождем до завтра.

Произнес и растворился в воздухе.

Девушка облегченно вздохнула, но сомкнуть глаз до утра больше не смогла.

Едва солнце взобралось на кроны деревьев, она позвонила близкой подруге и всё рассказала о происшедшем в мельчайших подробностях: как в первую ночь ей являлся урод, как во вторую приходил, чего требовал.

— Так твой что, в самом деле их с кладбища припер? — переспросила не менее удивленная подруга.

— Да не знаю я и узнать не смогу: сегодня мы с ним не увидимся.

— А завтра?

— Это будет завтра. Но если сегодня тот зомби явится снова? Я не переживу!

— А ты не бойся. Смотри ему прямо в глаза. Это же сон! Я где-то читала, что если к тебе повадился покойник, нужно в полночь сесть на порог и начать расчесывать волосы, а когда он покажется и спросит: «Что ты тут делаешь?» — надо ответить...

Наученная подобными наставлениями, наша девушка, дождавшись полуночи, села на порог своей комнаты и стала гребешком расчесывать волосы. Нежить не замедлила появиться. Увидела, чем занимается девушка, и спросила:

— Что ты тут делаешь?

Девушка, помня слово в слово подружкины речи, отвечала:

— Собираюсь на свадьбу. Брат на сестре женится.

Покойник удивился:

— Где это видано, чтобы брат на сестре женился?

Девушка отвечала:

— А где видано, чтобы человек умер, а потом к живым приходил?

Нечему было ворочаться в скисших мозгах нежити; поворотила она восвояси, а девушка поспешила выбросить цветы на помойку. Выбежала на улицу и лоб в лоб столкнулась с остолбенелым покойником. Он, казалось, весь был в раздумьях. Однако, увидав девушку с цветами в руках, словно вспомнил всё и сказал:

— Я ждал тебя, пойдем со мной.

И пошел впереди, а девушка за ним, сама не понимая как, — страх лишил её всякой воли.

Шли они долго через весь бесчувственный город. Было странно, что девушка не слышала ни одного звука. Как будто уши плотно заложили ватой, а город будто вымер.

Но вот и кладбище. Высоко над ним круглая луна тонко золотила чернеющую поросль. У девушки кровь застыла в жилах. Она вздрагивала от малейшего шороха, самые темные места мерещились безднами ада. Но когда невесть откуда с разных сторон один за другим появились другие покойники, пришла в неопиcуемый ужас. Чего можно было ожидать от них?

Девушка в смутном порыве попыталась прижаться к своему вроде как бы уже знакомому существу, но слизь и холод, почувствованные от одного только прикосновения к нему, сразу вернули ее на землю: она же среди мертвецов!

А новый приятель словно прочитал девушкины мысли и сказал:

— Не бойся, пока ты со мной, они тебе ничего не сделают: ты моя гостья.

Девушке только и оставалось, что поверить мертвецу на слово.

Но вот и его могила. Земля свежевыкопана, вернее, выворочена наружу. Наш покойник, побряхтывая от удовольствия, забрался в свою яму, лег на дно, поерзал там немного, умащиваясь получше, и благоговейно сложил на груди руки.

— Положи на меня цветы и можешь отправляться домой, я больше к тебе не приду. — Сказал и закрыл глаза.

Девушка в страхе посмотрела вокруг. Десятки горящих точек жадно уставились на нее. «Но он же сказал, что меня никто не тронет», — подумала с надеждой и кинула розы в яму. Ей хотелось, чтобы всё побыстрее закончилось. В тот же миг земля сама ссыпалась вниз и выросла свежим холмиком.

«Ну и слава Богу», — подумал девушка и собралась было возвращаться, как вдруг из могилы выпросталась гнилостная физиономия её надоедливой приятеля, ослабилась широко и произнесла:

— А твоя шутка про свадьбу брата и сестры мне понравилась: я сам люблю пошутить.

Произнесла и скрылась под землей так же быстро, как и появилась.

И тут же голодное отребье нежити с диким криком и гиканьем набросилось на девушку и в считанные секунды распотрошило её. Царство ей небесное.

«НИ ДВА, НИ ПОЛТОРА»

— А, ни два, ни полтора, — пробормотал как обычно Костя, быстро смахнул с тарелки толстыми пальцами остатки сыра и колбасы и впихнул в огромный чавкающий рот.

Поняв, что жена потчевать больше ничем не будет, он с сожалением вздохнул и грузно выбрался из-за стола. Тяжело проковыляв в прихожую, снял с вешалки свой сшитый на заказ пиджак шестидесятого размера, взял дипломат и только тогда громко позвал ее:

— Нина, крошка, я ухожу!

Из спальни как тень появилась Нина, маленькое анемичное создание с потухшим взором. Казалось, она была придавлена тяжестью, но Костя никогда не придавал значения тому, что кажется, тем более что утром Нина сказала, что опять плохо спала.

— Тебе надо больше есть, дорогая, — сказал он как бы между прочим, — ты плохо выглядишь.

Нина никак не отреагировала на его слова.

— Приготовь, пожалуйста, сегодня на ужин спагетти, как обычно готовишь. И чечевичную подливку. Она у тебя получается бесподобной. Ладно?

— Ладно, — сухо ответила Нина, не сдвинувшись с места. Но Костя совсем не обратил на это внимание. Он вообще стал мало обращать на неё внимание.

— До вечера, дорогая, — сказал он.

— До вечера, — едва слышно ответила она.

Дверь за Костей закрылась. Нина, как в тумане, прошла в гостиную и опустилась на диван, не сдерживая больше накопивших слез.

«Боже, как я устала, как устала от всего этого».

Она не могла поверить, что такое может с ней произойти.

«Почему именно мне такое наказание?» — спрашивала себя в последнее время часто. Прошло всего два года супружества, но всё будто встало вверх ногами. И она не хотела верить, что отчасти сама была виновницей свершившегося. Во-первых, она зря согласилась сидеть дома. Костя достаточно хорошо зарабатывал, чтобы обеспечить их двоих, но она не знала, решив стать домохозяйкой, что такой выбор может повернуться совершенно неприглядной стороной. Но ладно это. К этому еще можно привыкнуть, но как привыкнуть к тому, что Костя стал буквально меняться на глазах — толстеть как на дрожжах. День за днем, день за днем... Поначалу ей как будто нравилось это. Когда они только познакомились, Костя был обычным парнем нормального телосложения. А у неё в семье все женщины откармливали своих мужчин. Бабушка не уставала повторять: «Достаток в семье зависит от сытости главы дома». И Нина выросла с убеждением, что так оно и есть. К тому же ей нравились мужчины с брюшком. Они заводили её с полуоборота. И когда по прошествии года совместной жизни у Кости появилось брюшко, Нина была несказанно рада.

— Да что же это за мужик, который не съест полную миску супа, — стыдила она худосочного Костю и подкладывала еще половник. — Ни два, ни полтора, — заставляла доесть остатки из кастрюли или проглотить лишнюю куриную ножку.

И он покорно доедал, беспрекословно давился, поднимаясь из-за обеденного стола с тяжестью в желудке.

— Так ты меня совсем закормишь, — пыхтел и не мог отдышаться, но никогда не противился — было приятно, что жена заботится о нем, старается вкусно приготовить, побаловать новыми аппетитными блюдами.

А Нине нравилось готовить. Она могла часами возиться на кухне, выпекая какой-нибудь фруктовый пудинг по рецепту модного журнала или приготавливая утиную грудку с джемом и апельсинами.

И было лестно, когда соседки хвалили набирающего вес мужа: «Как вы, Нина, видно, сильно любите Костю, он у вас меняется прямо на глазах». Это было правдой. Она любила его и хотела, чтобы он ни в чем не знал нужды. Может, потому и на работе у него всё заладилось. Костя стал быстро расти по служебной лестнице, у них появились деньги, разнообразилась кухня. Но ведь не думала тогда, что всё обернется таким образом!

За первый год супружеской жизни Костя набрал почти двадцать килограмм, затем еще пятнадцать. Сейчас весил чуть больше ста, и аппетит рос с каждым днем всё больше и больше. О каких теперь оригинальных блюдах могла идти речь, когда он просто не мог наесться? Нина вынуждена была всё больше подносить мучного, сытного, плотного, которое поглощалось огромными мисками, килограммами, литрами. Ей, любительнице кулинарного искусства, в конце концов осточертела кухня. Она видеть её не могла. Когда соседки часами просиживали в парикмахерской, Нина возилась у плиты, когда приятельницы шли по модным бутикам, она торчала в супермаркете, выползая оттуда, как клуша, с доверху набитыми сумками с обжираловкой. И её шуточное «ни два, ни полтора» вскоре превратилось в излюбленное выражение обжоры-мужа. Костя бубнил его теперь, не переставая, до оскомины, до невозможности.

— Вы не больны? — спросил её однажды парень, с которым она случайно столкнулась при выходе из магазина и от столкновения с которым на землю посыпались все пакеты. Он был красив, и что-то задел внутри.

Дома Нина по-новому взглянула на себя в зеркало, увидела синие круги под глазами и впервые испугалась. Она еще так молода! Ей только двадцать семь, а выглядит на сорок с хвостиком! И после этого случая заметила, что Костя стал просто раздражать. Чавканьем, привычкой макать хлеб в соус, облизывать жирные пальцы, повторять раз за разом «ни два, ни полтора», «ни два, ни полтора». Даже круг интересов его сузился до кулинарного минимума. Он теперь во всем искал оправдание собственному ожирению. Его приводило в восторг чревоугодие древнеримских императоров, которые специально на пирах держали особых слуг, вызывающих у тех рвоту для последующего поглощения пищи, восхищался самой широкой — в три метра — талией Уолтера Хадсона, занесенного в книгу рекордов Гиннеса. Ради хохмы повесил в

гостиной плакат с изображением сидящих на мопедах братьев-близнецов Маккрэйри, каждый из которых весил более триста килограмм, и всё тыкал Нине в него:

— Смотри, малышка, смотри, вот это действительно толстые парни. Я по сравнению с ними просто тростинка!

Еще с полгода назад она, спохватившись, пыталась вернуть всё на круги своя, стыдила мужа теперь по другому поводу, пыталась посадить на диету, подсовывала различные медицинские журналы, где в пугающем виде представлялось ожирение и приводились примеры летального исхода на этой почве. Но Косте было уже все равно. Он больше не мог насытиться. Ел и ел, ел и ел. Когда смотрел телевизор, читал, делал что-нибудь по дому. Ночью вставал и лез в холодильник. Утром поглощал не меньше, чем в обед, вечером совсем не мог выбраться из-за обеденного стола. Жизнь Нины превратилась в кошмар. Слова «кухня», «готовка», «обед», «ужин» и все, близкие им по значению, стали для неё просто убийственными.

А вечером показалось, она просто сходит с ума. Костя возвращался обычно часов в пять. Но уже в половине пятого она услышала странные чавкающие звуки. Сначала подумала, что ослышалась. Но нет, звуки были четкими и доносились из кухни. Нина решила, что на кухню забрался непрошенный гость, но то, что она увидела, лишило речи. Костя, вернувшись с работы раньше времени, первым делом выудил из холодильника холодные спагетти, обильно смазал их чечевичной подливой и теперь, сидя за обеденным столом у включенного телевизора, с жадностью поглощал их. Но самым ужасным было то, что по телевизору показывали передачу про свиней. Грязные жирные отборные борова хрюкали, сопели и чавкали в стойлах, как хрюкал, сопел и чавкал над кастрюлей спагетти Костя, перемалывая макароны в туго набитом рту и ни на секунду не отрывая взгляда от экрана. Так же, не останавливаясь ни на миг, поглощал свою баланду боров и во все глаза пялился на Костю. И вот они всё чавкали и чавкали, чавкали и чавкали, пока у Нины не сорвало крышу. Не понимая как, она выхватила из подставки один из ножей и со всего размаха всадила его сзади в толстую, упитанную шею мужа. Он только тихо хрякнул и плюхнулся широкой мордой в кастрюлю.

Нина затряслась, на неё накатила истерика, она схватила тарелку и запустила ею в борова. Телевизор громко гахнул, Нина от испуга откинулась назад, ударилась головой о косяк кухонной двери и сразу потеряла сознание.

Когда очнулась, Костя всё так же неподвижно лежал, распластавшись на столе. В шее по-прежнему торчал нож, и Нина поняла, что убила его. Но истерики больше не было. Только осознание того, что тело мужа нужно куда-то деть. Но сдвинуть сто килограмм даже с места она была не в состоянии. Выходит, придется его расчленять. Ножом? Ножовкой?

Она вспомнила, где Костя хранил инструменты, отправилась в гараж. Принесла ножовку, но не знала, с чего начать, как подступиться к трупку. Выдернула из шеи нож. Тут же тело Кости дернулось, свалилось на пол и обагрилось кровью. Лужа стала постепенно растекаться по полу. Нина бросилась быстро собирать её мокрой тряпкой. Казалось, у него были десятки литров крови. Но Нина еще не разрешила его. Нет, лучше рубить, а жир срезать ножом с широким лезвием... Нина снова побрела в гараж.

Закончила с Костей около полуночи. Еще с час закапывала останки в саду. Следующий час скребла на кухне пол и драила в ванной тело — ей было противно.

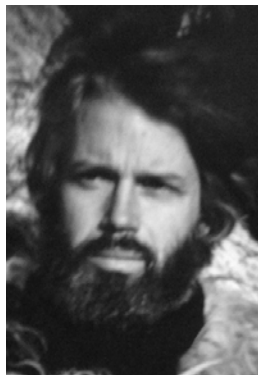
Легла после двух. Заснула мгновенно, но под утро проснулась от знакомых чавкающих звуков, доносившихся из кухни. Поверить не могла! Встала, накинула халат и крадучись прошла на кухню. Чавкающие звуки по мере её приближения не прекращались, наоборот, усиливались. Нина включила свет и обомлела. Сидя на корточках у помойного ведра, доедал спагетти покрытый трупными пятнами ее муж.

— Извини, дорогая, я что-то сильно проголодался. А тут смотрю: ни два, ни полтора. Дай, думаю, доем. Ложись спать. Всё нормально, — сказал он и снова продолжил поглощать остатки пищи.

СТИХИ

Эрих фон Нефф

Сан-Франциско



УЗНИКИ ПРОШЛОГО

Они жили в квартире напротив*
Пара немецких евреев, жертв холокоста
Я встречал их время от времени
говорил с ними по-немецки
ведь они не владели английским
и едва итальянским
хоть и жили, как я, во Флоренции
Почему же именно здесь?
Почему не в Израиле?
Не во Франции?
Не в Америке?
Да пусть даже в Германии?
Но нет, предпочли Флоренцию
Пятый этаж, дом 21 на Виа делла Пергола
Дверь с чёртовой уймой замков
и запоров времён Савонаролы
Пусть нынче не было особой нужды
запираться на все замки
они все равно запирались
как только входили в квартиру
Конечно, они выбирались из дома
но когда возвращались обратно
было слышно, как запирают замки
задвигают засов
и бренчат цепочкой
За запертой дверью, в своей квартире
они жили так, будто ждали ареста
ждали топота тяжёлых сапог по ступеням
ждали стука в дверь, злого крика:
"Juden raus!"**
Пусть теперь они жили в Италии

а не в нацистской Германии
всё равно
когда приходили домой
было слышно, как они запирают замки
задвигают засов
и бренчат цепочкой

* Флоренция, 1960

** «Евреи, вон отсюда!» (нем.)

КАРЛО ФРАНЧЕЗЕ

Карло Франчезе слонялся по Клемент-стрит:
Бар «Черчилль», ресторан «Сатро-хаус»
Варьете «Священный городской зоопарк»*
Танцклубы «Веселый монах» и «Клемент-миксер»,
Бар «У О'Шея» —
Он был известен повсюду
Все красотки знали его
Все красотки считали его жеребцом-итальянцем
Все красотки желали заманить его на ночь
или даже не на одну ночь
У Карло не было ни дома, ни адреса
Может, поэтому его не призвали
на вьетнамскую бойню
Но один за другим — «Черчилль», «Сатро-хаус»... закрылись
Одна за другой красотки повыходили замуж
или смылись из города в погоне за счастьем
А Карло Франчезе заблудился в былом
Карло Франчезе, смазливый жеребец-итальянец,
которого все обожали,
теперь жил под мостом
на пересечении шоссе Линкольна и бульвара Сансет
Над головой проносились машины
Люди в них
забыли про Карло Франчезе,
который скрывался внизу,
в своей волчьей норе
Грабитель он не хотел

не хотел никому причинять вреда
Жил неведомо как
И неведомо как умер

* Holy City Zoo — клуб-варьете в Сан-Франциско, где в семидесятые годы со своими разговорными скетчами часто выступал Робин Уильямс.

ХОЛОДНЫЕ, КАК КАМЕНЬ, ГУБЫ

Играя белокурым локоном своим,
Фрида сидит на краешке рояля,
взирает сверху вниз на Карла
и молвит тоном ледяным:
«Зачем мне снова с вами обниматься?
Ведь губы ваши холодны, как камень.
А кофе, что вы для меня сварили, —
меня с него прямо-таки воротит.
К тому же вы так и не научились
искусству росписи по вазам из стекла.
Или храненью пармезана
в холодильнике, как дóлжно.
Короче, как сказал бы Давид Гильберт*,
ваш кругозор сужается неумолимо,
стремясь к нулю,
пока в конце концов не обратится в точку.
Смиритесь, герр Сосулька-Пенис!»

* Давид Гильберт — знаменитый немецкий математик (1862–1943).

ДИКИЕ ГУСИ

Мы гуляли вдвоем, болтали, смеялись
Я старался не поддаваться на ее уловки
А затем
Она увидела стаю гусей
И я увидел стаю гусей
Стаю диких гусей
Улетающих вдаль

Наши мысли совпали
Я был этому рад и в то же время
Отчего-то напуган

БЕГАЯ ПО КРОМКЕ МОРЯ ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Пока я танцую в волнах
Море хлещет меня по ногам
А песок щекочет босые ступни
Что это, рокот моря?
Или рокот стучащего сердца?
Мои следы на песке
Скоро смоем морскими волнами
А все мои мысли
Растворятся в небесном эфире

Перевод с английского: Олег Кустов

Карен Миро (Karen Mireau)
Оклэнд, Калифорния

Стихотворения из книги «Редфилд-плейс»

На чердаке

посвящается Рику, Доку и Эрику

В дни зимней непогоды,
когда то дождь, то снег, то гололёд,
нас, малышню, не заставляли одеваться потеплей,
не выпроваживали, как обычно, за дверь,
а отправляли на чердак:
Придумаете сами, чем заняться.
А нам лишь этого и надо —
пускай заиндевела окна от мороза,
и в незаделанные щели люто дует,
зато мы, как пираты, незаметно

можем подглядывать за всеми по соседству.
И мы следили, ничего не упуская, и всё-всё на ус мотали.
Мы и подумать не могли, какая нам дарована награда —
остаться без присмотра, сами по себе,
в безумном царстве неподписанных коробок,
швейных машин с ножным приводом, старых книг,
поблёкших писем, старомодных платьев,
фрагментов прежней жизни мамы и отца.
Такое восхитительное дело —
вдруг отыскать свои забытые игрушки,
сокровища, утраченные по недоразумению,
ими завален весь чердак, и вот мы бродим
как будто на чужой планете
среди неведомых вещей,
семейных тайн, непреднамеренных намёков.
Но что нам открывалось, мы держали втайне
даже друг от друга, лишь воображенью
мы позволяли разыграться вольно,
не задаваясь глупостями, типа, что да как да почему?
И мы не признавались даже вечером отцу:
Да чем же вы, детишки, были заняты весь день?

Библиотека

Я аккуратно складываю книжки
рядком, сколько влезает в мою красную тележку,
и тут внезапно и бесцеремонно
библиотекарь забирает почти всё назад
и приговаривает: «Не рано ли тебе читать такое?
Ты в этих книгах вряд ли что поймёшь».
А я готова плакать от обиды,
но тётке вредной делать радость не хочу.
Пусть мне лишь пять, но я-то знаю, на что я способна,
характер у меня железа крепче.
Я улыбаюсь, карточку вручаю тётке,
известно мне, зачем этот клочок картона,
в чём его сила над библиотекарем скаредным,
(ведь скоро год как я читать умею).

Ну а потом я замечаю ангела,
что обитает в той библиотеке.
Ей слышен крик моей души и шёпот сердца,
ей ведомо моё желание страстное узнать —
кто, отчего и почему
внушает мне пугающую мысль,
что я сейчас буду отправлена домой
с опустошёнными руками,
без книг, которые я так искала.
Коснувшись моего плеча рукой,
мне говорит тихонько ангел:
«Ты приходи опять на будущей неделе,
библиотекарь будет здесь другой...»
Я знаю, кто имеется в виду —
она, что с пониманием смотрит мне в глаза,
в мой формуляр записывая книги
без вопросов лишних,
мол, да неужели ты осилишь их...
просто позволяя сделать мне самой
мой самый верный выбор.

Дрянной мальчишка

всем нам, кто знает
продолжение подобных историй
Был в пятом классе
дрянной мальчишка
что таскался за мной по пятам
по пути из школы домой
чуть ли не каждый день
Этот дрянной мальчишка
был очень хитёр
носил мои книжки
и беспрестанно твердил
что любит меня очень-очень
Этот дрянной мальчишка
запихнул мои книжки
в почтовый ящик на углу

когда я отказалась
с ним целоваться
Дрянного мальчишку не волновало
что я стояла там целый день
ждала почтальона
и дала нелепое объяснение
как учебники в ящик попали
Почтальон не поверил, конечно
ни единому слову
спрашивал, все ли со мной хорошо
Я сказала, да, разумеется
это вышло случайно, просто случайно
А дрянной мальчишка сказал
что он сделал это нарочно
и что сделает это опять
всё потому
что он меня очень любит
А если я не уступлю
и не сделаю так, как он хочет
то он всё равно всем расскажет
будто мы целовались и обнимались
Ну так что?
Я сказала дрянному мальчишке
что бы ты не наплёл
я тогда расскажу
будто бы от тебя залетела
Как такое тебе?
Да, сказала, но только в уме
я слишком боялась
дрянного мальчишки
слишком боялась
чтобы вымолвить даже слово
Я всего лишь хотела
чтобы дрянной мальчишка
просто ушёл домой
и наконец оставил в покое
меня и мои книжки
В общем, я ничего не сказала
уступила, подставила щёчку
холодную, словно камень

Вот лишь тогда дрянной мальчишка
ушёл по своим делам

Как я становилась птицей

посвящается Эми Мива
День за днём
Я взбиралась на старый скрюченный дуб
и слушала птичьи трели
познавала сердцем
их цветистый язык, их божественное наречие
их совершенные, тонкоголосые песни
Я страсть как хотела коснуться самых высоких веток
хотела быть той, что парит на ветру, в лазоревом небе
переволотиться из девочки в истинно птичью сущность
И я пряталась среди листьев
пока во всех домах не закрывались двери
пока не стихали на улице детские голоса
Я сидела там тихо-тихо
и не отзывалась даже
на отчаянный мамин зов
А потом я бросалась вперёд
ни мгновения не колеблясь —
и летела!
Летела над лугами и речками
над крышами нашего города
и никто не видел меня и не слышал
как птичье моё сердечко пело сладкую песню
никто не увидел, как мои птичьи ножки
мягко коснулись земли
И неважно:
ведь нам с тобою известно —
это было ещё одно идеальное приземление

Перевод с английского: Олег Кустов

Вячеслав Кушнир

Инта, респ.Коми



День рождения

Дождь лиственный —
Цвет медвяный —
О земь.
Прямо с неба —
Корка хлеба —
Озимь.
Злато это —
Отблеск лета —
Сносим.
Остальное
Всё — весной —
Скосим.

Дух осенний
Дней рождений
Бродит —
Вековую
Грусть земную
Родит...
Водят годы
Хороводы —
Рьяно,
Откружиться —
С лёту сбиться —
Рано.

Дети будут —
Нас забудут
Грозно,
Изловчиться —
Откреститься
Поздно:
Пала с неба
Корка хлеба —
Озимь...

Дождь лиственный —
Цвет медвяный —
О земь.

Подражание Окуджаве

Когда становится печально
И ниже левого соска
Забьётся вдруг шальной галчонок
И станет больно у виска
Я подзову к себе гитару
И ей тихонько сообщу
Что ту Придуманную мною
Я до сих пор ещё ищу

Искать нисколечко не больно
Куда больнее не искать
Пока в груди галчонок бьётся
Надежд не стоит оставлять
И шестиструнная подруга
К биенью буйного птенца
Найдёт мелодию такую
Что можно слушать без конца

А ту Придуманную мною
Надеюсь всё же не найти
Как странно было бы однажды
Узнать что не за чем идти
Но будет больше странно если
В минуту жалкого нытья
Её Придуманную мною
Вдруг не смогу придумать я.

О башмаке

Когда земле лопочет дождь
О чудесах вверху,

По пузырям-словам идешь —
Шагаешь по стиху.

Сонетов горсть с дерев слетит,
Переплетаясь в венке,
Глядишь: один уже дрожит
На сбитом каблукке.

По сентяблям, по октяблям
Сонетов скользких вязь
Спешит, казалось, в руки к вам, —
Но попадает в грязь.

И, приглядеться, всё — не так,
Дела твои плохи:
Расползся старенький башмак,
Как первые стихи.

Место рождения

1.
Привет Парижу, я — из Сыктывкара,
Позвольте в вашей Франции присесть,
Мусью, я пиво пью из самовара,
Я — дырноосский, мне — можно, справка есть.

Пришли, мусью, мне местную деваху,
Вели нам самовар пивка пренести —
Как засандалю всё это с размаху...
Я — дырноосский, мне — можно, справка есть

Ты чё съешь мне нашу эмигрантку,
У ней на роже — совесть, ум и честь,
Я ж утром зашибу её, поганку...
Я — дырноосский, мне — можно, справка есть.

У нас есть свой Париж — под Сыктывкарком.
Не веришь мне, мусью? На пузе — крест!

Дарю тебе парижских — наших — даром.
Я — дырносский, мне — можно, справка есть.

Но если наши коми парижане
Тебе объявят кровавую месть —
Скажу, что я дарил в шутейном плане.
Я — дырносский, мне — можно, справка есть.

Там, в Сыктывкаре, с женщинами туго —
Их столько развелось, хоть в петлю лезь,
Я бросил их на уроженцев Юга.
Я — дырносский, мне — можно, справка есть.

Пускай теперь я буду жить в Париже,
Который настоящий, тот, что здесь!
Пусть "маде ёб франсе" стоит на грыже...
Я — дырносский, мне — можно, справка есть.

А после, как споймаю кайф парижский,
Я дам французкам коми кайф поймать —
Порву лямуры на цветные книжки
И в Сыктывкар отправлю почитать!
Я — дырносский. Что, справку показать?

2.

«В бананово-лимонном Сыктывкаре»
/Из записных книжек Сергея Довлатова/

В бананово — лимонном Сыктывкаре, в баре,
Забили стрелку бывшие зека,
Прошли в стране лимонии, как в таре,
Их годности срока.

В бананово — лимонном Сыктывкаре, в баре,
Когда уже на сердце — о-го-го!
Срок годности и срок печали в паре
Забацали танго.

И нежно вспоминая
Иное небо мая,

Иную жизнь — до Коми АССР,
Зека ничуть не плачут
И цифирок херачут —
Жизнь не переиначить на иной манер.

А где-то, замирая
От криков вертухая,
Просыпанной черникой на снегу —
В своей счастливой робе,
Как в маминой утробе —
Сидят зека в сугробе и хотят в Доху!

В лимонном, снежном коми-Сингапуре, в бурю,
Отдав очередной лимон стране,
На собственной, как на тигровой, шкуре
Глядит зека во сне:

Как в этом самом — коми-Сингапуре, в бурю,
Зека, как будто, не было, и нет!
А он — в чужой тропической лазури —
Магнолии букет.

3.

Страна лимония — это Коми АССР
«Словарь жаргонных слов и выражений»
Льва Мильяненкова

В угрюмых серых северах есть автономия,
Для фраеров и для блатных — страна лимония.
Её придумал и сложил кавказский Бер...
И я скажу вам имя: Коми АССР.

В страну лимонию лимоны не везут,
В стране лимонии лимоны так растут.
И государственная твёрдая рука
Лимоны грузит строго силами зека
Или совка, или другого ммм ... чудака.

В бесстыжих сумрачных снегах зачали нас с тобой.
На северах, как на югах, любили под луной.

Я — на снегу и сам смогу, пойдём — проверь!
Меня зачали, милка, в Коми АССР.

В страну лимонию лимоны не везут.
В стране лимонии лимоны так растут.
И государственная твёрдая рука
Слимонит строго даже девку у зека
Или совка, или другого ммм ... чудака.

Здесь, хошь-не хошь, а попадёшь в интернационал.
Кто чистоту кровей соблюл, тот вымер иль сбежал,
Сплыла рыбёшка за бугор и сгинул зверь,
Остались: мы да эта Коми АССР.

В страну лимонию лимоны не везут.
В стране лимонии лимоны так растут.
И государственная твёрдая рука
Махнула строго на зека и на совка,
Одна надежда на простого мужика.

Госпожа Инта

Кто жил в Инте, тот знает эту госпожу —
Самодержавный приполярный этот нрав.
Я до сих пор ещё по осени дрожу:
А вдруг да в чём-нибудь да как-нибудь не прав.

Для этой вьюжной сероглазой госпожи
Я — только падшая снежинка во дворе.
Ты мне, метелица, на жизнь не ворожи,
Наступит май, и я растаю на заре.

Кто жил в Инте, тот замечал за госпожой
Её заснеженную томную печаль,
Когда походкою усталою домой
Уходит тундрю, как по небу, Февраль.

Кто жил в Инте, тот знает цену госпожам.
Когда в студёной сероглазой немоте

Вдруг станет ясно: немота и та — не вам,
Но господам, живущим в вечной высоте.

Троицко-Печорская застольная

Куда нас только, Саня, ни заносит —
То стольный град, то всякий — разный ... горск,
Нас даже Сопот в гости очень просит,
А накось — выкусь: Троицко-Печорск.

Здесь Лёва Станиславович сам Ивкин —
Первейший из вторых секретарей,
Взбивает перестроечные сливки
И делит ради бога меж людей.

Здесь Юра — от компартии стерпевший
Афганских разных там дороговизн.
Здесь Митя — лет семнадцать отсидевший,
Три ходки ни за что — за нож, за жизнь.

В гостинице сидим, под самым кедром,
Потягивая водку и кефир,
Душевные выкачиваем недра...
И вновь в новинку человечесий мир!

Мне, братцы, страшно грустно удивляться,
Я, знаете ли, брошен и влюблён,
Мне нынче в прорубь в пору бы бросаться,
Однако, накось — выкусь: удивлён!

Давай, Дмитро, накатим понемногу
За волю и за ридный наш футбол,
За троицкие Юркины дороги
И лучший в мире Лёвкин комсомол.

Достань-ка, Санька, наши три аккорда
Да нашу песню грянь на посошок...
Сегодня у луны такая морда,
Как если б я забраться в небо смог.

Усть-Цильма

Кобылица белогрива, не строптива, но горда —
То могучая Печора — усть — цилёмская вода.

И верхом на кобылице, голова — под небеса,
Мчится дева, синеока — усть — цилёмская краса.

Освещают путь зарницы Аввакумова костра...
Ждёт девицу Русь-царица — усть — цилёмская сестра.

Подарила царским словом: Ах, девица хороша!
Будь же ты благословенна, усть-цилёмская душа.

Княжпогост

Стучат колёса. Чай да водка. Пика-черва.
А за окном — земля, где все земляне — гости.
Старик, читая по складам, прошамкал: Емва.
Потом добавил: Нас сгружали в Княжпогосте.

Край не лесов — лесоповала,
Не край земли, но край тоски,
Где Вымь-река дерьмо смывала
И пили кровь большевики.

Однажды мать-Россия деток разлюбила.
Она решила: Средь детишков есть излишки.
И тем излишкам мамка землю наделила:
Погост-железку, кости-шпалы, псов да вышки.

Край не лесов — лесоповала,
Не край земли, но край тоски,
Где Вымь река дерьмо смывала
И пили кровь большевики.

Как ни сучись, ни суетись и как ни лайся,
Земля зовётся Княжпогост. Никак иначе.

Как от сумы да от тюрьмы не зарекайся,
Так Княжпогост держи в уме, живя на даче.

Совершеннозимие

Совершеннолетие, сколь могло, — цвело.
Совершеннозимие — снегу намело.
По весне и осени приходилось жить.
Просто не запомнилось. Так тому и быть.
Совершеннозимие снегу намело.
Совершеннолетию во снегу тепло.
По сугробам — тайные кладовые лет...
По стране сугробии бродит Божий Свет.

Слезинка Боженьки закружится снежинкою —
Благословением родимым Северам!
И снеговой мой край заветною тропинкою
Возляжет к Боженьке, как раз к Его стопам.

По весне и осени приходилось жить.
Даже принуждением можно дорожить.
Совершеннозимие — время всех времён.
Этот возраст временно во сугроб сметён.
Даже принуждением можно дорожить.
Во стране сугробии белизна лежит.
По стране сугробии бродит Божий Свет —
Белый Цвет, принужденный дать на всё ответ.

Слезинка Боженьки закружится снежинкою —
Благословением родимым Северам!
И снеговой мой край заветною тропинкою
Возляжет к Боженьке, как раз к Его стопам.

Танго в феврале

Под страстный строй гитары
Разделимся на пары,
Разделимся и танго станцуем на столе.

Ах, странный танец этот —
Простой народный метод
Науки врачеванья печали в феврале.

Где-то
Всегда одно лишь лето.
Кто-то
Не знает наших холодов.
Танго
Пусть будет им приветом —
Танго
И грохот сломанных столов.

В февральном ресторане
Парит июль в стакане,
Звенит экватор струнный про знойную любовь.
Ах, жить немножко грустно:
Одни сплошные чувства.
Танго качает люстры под стоны каблуков.

Где-то
Всегда одно лишь лето.
Кто-то
Не знает наших холодов.
Танго
Пусть будет им приветом —
Танго
И грохот сломанных столов.

Мадмуазель, не спите
И сон с ресниц смахните,
Для ваших ножек чудных вот самый крепкий стол!
И вы, кто весь в заботах,
Найдите в этих нотах
Спасенье от печали, как то, что я нашёл!

Северянка

«Северянка», ты — моя северяночка,
Я — твой верный самый северный пацан,
Я спешу к тебе на лыжах, на саночках!
Ты — мой самый задушевный ресторан.

Здесь, конечно, всё за деньги подают,
Даже песню за «спасибо» не споют,
Но зато всё — от души и для души,
И не душат душу лишние гроши.

Здесь я паспорт свой советский обмывал,
Здесь Россию от путчистов защищал,
Здесь однажды я пришёлся ко двору,
Здесь — друзья. Здесь я с похмелья не помру.

«Северянка», ты — моя северяночка,
Я — твой верный самый северный пацан,
Я спешу к тебе на лыжах, на саночках!
Ты — мой самый задушевный ресторан.

Здесь любимую когда-то повстречал,
Здесь любовь свою по рюмкам расплескал,
Здесь держусь ещё тихонько на плаву,
Как бы ни было, но всё-таки — живу.

Подставляй стакан, случайный мой сосед,
У меня пока к тебе претензий нет,
Может, дурь какая нас и посетит,
Это ж — после, а сейчас душа горит.

«Северянка», ты — моя северяночка,
Я — твой верный самый северный пацан,
Я спешу к тебе на лыжах, на саночках!
Ты — мой самый задушевный ресторан.

Застольная

А по столу бежит — да таракан.
Зачем бежит? Куда бежит?

Да хоть куда... пускай бежит.

А по подушке клоп бежит.
Зачем бежит? Куда бежит?

Да хоть куда... пускай бежит.

А по полу — да мышь бежит.
Зачем бежит? Куда бежит?

Да хоть куда... пускай бежит.

А это — мы живём.
Зачем живём. Куда живём.

Да хоть куда. Пускай живём.



Дмитрий Учитель

Днепр, Украина

РАЗМОЛВКА (2001)

... И мы говорим не с теми —
По поводу и без повода —

Срываясь с темы на тему,
Как снег срывается с провода,

Снимаем с души разлуку,
Как гитару с гвоздя...

Идёт разговор по кругу —

И видим чуть погодя:

Нечаянная размолвка
Песком на зубах скрипит,

У двери жмётся неловко
Заброшенный полубыт...

... И мы говорим не с теми —
По поводу и без повода —

Срываясь с темы на тему,
Как снег срывается с провода...

ПЕРВЫЙ КУРС (2002)

... Прячемся на галёрке,
Как ящерицы в кустарник.

Конспекты наспех листаем.
Звонок — далеко-далёко.

На перемене — блинчики,
Шницели в панировке...

Стоят по углам отличники —
То радостные, то робкие.

Узкие коридоры
Залиты светом тусклым.

(Любят здесь тараторить
Местные златоусты)

Времени воплощение —
Лучшие наши годы:

Тень полупросвещения,
Воздух полусвободы.

МЕЛОДИЯ (2002)

Бессонная воздушная река
В лицо лучами ломкими плескала,
Все имена пичужьего вокала
Предвидя, как судьбу, издалека.

И март-пастух, сгоняя облака,
Играл на тонкой дудочке бузинной.
Мелодия была несхожа с зимней —
Приветлива, прозрачна и легка.

И сердце на границе полусна
И яви замирало покаянно...
Где снег сошел, там рытвины да ямы...
И уносила дудочку весна.

ДНЕПРОПЕТРОВСК (стихотворение в прозе, 2001)

1

Бывают судьбы непрístupные, до последней кровинки договорённые, с привкусом железистой воды.

Такую именно судьбу несёт на своих плечах Днепропетровск.

... Город отчитывает лужайки за фривольную радость, с какой те встречают демонстрацию пчёл у водосточной трубы.

Насупленные стариковские брови глядят из-под петушиного гвардейского шлема на растущие толпы у «Рэйнфорда».

По всему радиусу трассы в три ручья брызнули дождевые струи. Словно Гамлет, окликнутый тенью отца, шагнул в трепещущую темноту... Нет-нет, не надо цитат!

На Шевченко, по пути к Спасо-Преображенскому, стоит вполоборота голландское лето. Ни слова не теряют ливни в чудесном переводе Гуттенберга!

На той и другой стороне — плотное движение транспорта, девичий смех и мелькание журнальных обложек. Признаться, я был порядком смущён, приняв грибную шляпку аптеки за место встречи газетчиков: местность людная, даром что узкая.

Отсюда хорошо видны цирк и плечистая набережная, где острова лотков и фонарные реки.

Тема детворы, бегущей к музыкальному училищу, с трудом поддаётся оркестровке, — и мы не услышим, как журчат рояли в то памятное июльское утро...

2

Как-то раз, огибая ленту улицы Гоголя, я успел заметить тень Сен-Жюста, исчезающую в такси, — ни дать ни взять, чудеса!

«Не может быть, — подумал я, — чтобы рельсовые координаты сошлись в точке «Лотоса». Иначе высадка кавалера состоится неподалёку от супермаркета, что маловероятно: он явно рассчитывал потолкаться в цветочном отделе».

Рядом с парадом готики бил тремя ключами свет Реформации, а поблизости, начиная от торцовой горы, где прежде размещался комиссионный магазин, на виду у прохожих отливала серебром снежная шапка Фудзи.

Напротив же подковой разбежался щербатый малороссийский двор, и в нём, как в огромной жардиньерке, неуклюже барахтались повреждённые корни строений.

3

...Но каково же вечерами, пересекая угол Баррикадной, ловить на себе колючие взгляды лоточников! Каково распахивать звуковое поле!

Днепропетровск, не тесно ли тебе в родословной, подбитой ветерком, не сквозит ли из окна? Или околдовал тебя наигрыш Оперного театра, с оптической силой выводящий в воздухе, примятом синицами и антеннами, слова Фигаро?

Бог весть!

Ведь бывают судьбы...



РАССКАЗ

Яков Курдяпин

С.-Петербург

NAPOLIMANIA

Высокий негр цвета переспелого баклажана катил перед собой старую детскую коляску. От коляски несло мочой и марихуаной. От негра, впрочем, тем же. В коляске были диски, музыка, видео. Самопально нарезанные на CD болванки сборники на любой вкус. Негра звали..., блядь, да не помню как его звали, что-то типа Бэлло, это красавчик по-итальянски, и никто у него ничего не покупал. Он стрелял сигареты, извивался всем своим двухметровым телом как надувная кукла возле автозаправки и предлагал интим услуги. Всё приговаривал — кто-нибудь хочет трахнуть меня, или хотите я вас отсосу. Услуги его тоже были без надобности. Ни диски, ни секс — ничего, извини, чувак. И он катил свою коляску дальше по улице к следующему кафе.

Пожалуй, он был тогда редким явлением в Неаполе. В то время нелегальные иммигранты представляли собой весь цвет бывшего Советского Союза, а еще Албанию, Болгарию и Румынию. Но было вполне свободно, работы хватало. Грузины воровали в магазинах электроники

и парфюмерии, хохлы держали стройки, а все остальные просто работали где могли и никто особенно ни к кому не лез. Хочешь работай, а хочешь сиди у ног Гарибальди на одноимённой площади и пей вино за полтора евро за бутылку. Всем на тебя плевать.

В Неаполе я впервые в своей жизни столкнулся с западными хохлами. Пошел на пляж, и, услышав славянскую речь, спросил: "как водичка, девчата?". В ответ получил: "По-русски не понимаем". Мне было двадцать три и я не разбирался в таком тягучем дерьме как национализм. Да и сейчас не разбираюсь. Это мне уже в квартире, которую я снимал совместно с еще восьмью такими же нелегалами, сказали, что на пляже были западенцы и ну их нахуй.

А потом в нашей квартире появилась Алла. Всего на три дня её пустили по протекции перекантаваться, но за три дня она успела вынести всем мозги. Алла была из Ивано-Франковска и причитала постоянно о ще не вмерла Украина при любом удобном случае. Мне она подарила «Кобзарь» на украинском и там я вычитал: «не гуляйте девки с москалями, гуляйте девки с хохлами чубатыми». Ничего не понял и больше эту книгу не открывал.

Вспоминаю как добирался до Неаполя, сейчас бы точно сдох столько ехать. Трое суток без малого на автобусах. Задница квадратная. Сначала со станции метро «Аэропорт» до Бреста в Белоруссии. Потом пересадка на другой автобус, уже не такой удобный, забитый на сто процентов нелегальными задницами и через Польшу, Германию, Австрию и больше половины «сапожка» в Неаполь. В душном Неаполе я вылез уже зеленым. Меня встречала подруга Олеся со своим любовником Нанду. Мы недолго ехали по узким улочкам, где едва могли разъехаться два авто, а местами и пара мопедов с трудом теснили друг друга. С высоты этажей болталось бельё. Дома сужались кверху, отовсюду слышалась ругань на не знакомом мне языке. Душно.

Квартира у Олеси была двухуровневая в старом доме. Дому то ли четыреста, то ли пятьсот лет. Он находился на *via Purgatoria ad Arco* 13 недалеко от пьядца Кавур в районе Пендино. Настоящее палаццо с толстыми стенами, сыростью и открытой балкой на потолке в кухне, чтобы было видно историческую принадлежность. Сотовая связь в квартире не ловила, видимо из-за толщины стен, поэтому все телефоны лежали на подоконнике. А неаполитанские мальчишки заметив такой подарок судьбы — периодически телефоны у нас воровали. Первый этаж.

Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco — это религиозное сооружение в центре расположенное на улице *Via dei Tribunali* было пер-

вым красивым сооружением, которое я узрел. Стиль барокко. Тогда я еще что-то помнил о стилях, потому что всего пару месяцев назад только закончил университет. Но теперь я здесь в шумном Неаполе, работаю бариста за восемьдесят евро в неделю плюс обед. По-итальянски я не знаю ничего, а мои боссы, семейка Адамс, не знают английского. Здесь его вообще никто не знает. Но я учусь.

Вот Нико, сын хозяина, показывает мне чашку для эспрессо и говорит «тацца». ОК. Показывает чашку для капучино и говорит «тацца грандэ» и снова чашку для эспрессо — «тацца пиколло». Да запросто, это большая, это маленькая.

Цветочник Франко из магазина через дорогу научил меня нехитрому неаполитанскому мату и теперь я тренируюсь на хозяевах. Всем нравится, но мне больше всех.

Механики Джанни, которого я называю Джанни Родари постоянно говорит — запиши на мой счёт. Заказывает кофе по пять раз в день и нехера не платит. Нико орёт и жестикулирует, что это козёл Джанни совсем обнаглел, но кофе ему всё равно отпускает. На этом стоит Неаполь, а то и вся Италия.

Парукьери и рядом барбьери любят капучино. Девчонки из пекарни за углом любят макьято. Я быстро выучил всех основных клиентов. Со мной не будет проблем. Я научился считать — uno due tre и так далее. Я легко и практически без акцента могу послать куда подальше как на итальянском, так и на неаполитанском. Со мной здороваются местные барыги, которые в переулке толкают сигареты из Болгарии и Албании. Сигареты уже тогда стоили три восемьдесят, а у барыг от двух до двух с половиной евро за пачку. Барыги нормальные. У одного явные признаки умственного отклонения, второй толстый с грязными ногтями. Таких барыг я бы развел в два счёта. Но это мысли вслух.

Я познакомился с едой. Пасты, пиццы, местная выпечка, превосходное мороженное, и натуральные свежавыжатые соки. Я нашел здесь свою любовь— кофе. С тех пор я не пил растворимого. Ни разу за тринадцать лет. Я так и не смог привыкнуть к шуму и неразберихе, к ругани и жестикулированиям. Я не попал на Везувий, хотя из Неаполя в хорошую погоду он был виден. Я пробыл в Неаполе всего три месяца, но запомнил их на всю жизнь.

БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ

Один лишь Аркадий пытался высосать жизнь из пальца. Но у него не выходило. То ли палец в рот он клал не тот, возможно если бы клал тот, то и жизнь его была бы совсем иной. А так как норовил Аркадий в рот заложить палец-подрезок, тот который ему на фрезерном станке укоротило, то что с того подрезка высосать осталось — шиш. Аркадий, как вы уже догадались, был дурачок. Хотя и добрый малый.

В обеденный перерыв он видел эротические сны. В них пленительная Жанна Терентьевна из бухгалтерии манила его куда-то вглубь цеха. И он плыл за ней, как Ной на своем ковчеге за землей. И так каждый обеденный перерыв пять раз в неделю. В живую подойти к Жанне Терентьевне, Аркадий боялся больше чем похода к стоматологу. От одного взгляда бухгалтерши он начинал мямлить что-то нечленораздельное и чесаться во всех местах. И это всего за два посещения в месяц, то есть за походом за авансом и за зарплатой. Он бы и аванс не брал, лишь бы не идти в бухгалтерию. Этот нестерпимый зуд, эти эротические обеденные сны после перловой каши с гуляшом, о, боги...

Аркадий думал, что лучше бы ему снились кровавые мальчики, чем Жанна Терентьевна. Ведь в сущности за что себя наказывать — не за что. Сны такие надобно запретить на самом высоком уровне, вплоть до увольнения, Жанны Терентьевны, конечно. Потому что Аркадиев таких мало, а Жанн Терентьевн — пруд пруди. Вот и житья никакого от них нет, во снах являются и манят. А ведь в цеху не безопасно, всякое может случиться. Вон хоть палец на фрезерном станке оттяпает или голову, как у Петровича. Но Петрович — ветеран, ему голову на место быстро поставили, это же не жопа, а голова. Потому что Петрович человек уважаемый, вот его без очереди по всем врачам и провезли. Там стежок, тут стежок и как новенький Петрович, только немой и не пьет. Не во всем еще наша родная медицина шагнула куда надо, но она очень старается. А Петровичу и так сойдет, ему за это прибавку положили к окладу, а он молчит и не пьет. Ладно бы сам не пил, так ты проставься, всадник без головы, и молчи себе дальше в тряпочку.

А эротические сны снова накрыли Аркадия. Хотя сегодня перловку он заменил гречкою, а гуляш минтаем. И необычно взял два компота из сухофруктов. И только закимарил, как снова марево цеха и в пелене этого марева, среди станков, кран-балок и забивания козла Жанна Терентьевна с кулей на голове. Куль её этот очень раздражает. Похож на улей, из которого вот-вот вырвется рой злых пчёл и искушает до смерти. И глазки у неё под большими роговыми очками сомнительно ост-

рые, будто очки так, бутафория, для отвода глаз, а на самом деле видит она тебя насквозь.

Минтай плескался в двух компотах и бил жареным хвостом по берегу гречневой каши, Жанна Терентьевна терялась среди станков, один раз даже ее чуть не подцепил крюк ручной тали. А Аркадий за ней, потеющий ловелас. И лишь удар в рельсу, извещающий, что обед закончен, помог Аркаше вырваться из цепких лап сна.

И в день аванса Аркадий был чернее тучи. Нет, не понятно же, скажет любой и каждый пролетарий, аванс — это предтеча получки, это праздник, которому быть. Возможно, только для безголового Петровича, которому пришили голову, не важна эта мысль, а тебе, дураку, что же мешает радоваться?!

Окошко кассы. Окошко кассы всегда на высоте пупа. Чтобы страждущий кланялся и клячил свои кровные— вот такая идея. И кланяются и клячат и некоторые, особо горемычные, суют в окошко шоколадку или конфету. А из окошка мымра с ульем на голове всё равно не довольна. Ей нужна только закорючка, не человек — а росчерк пера, слесарь за тридцать серебрянников, за ним многостаночники два раза по тридцать серебрянников и завершает всё эту траурную процессию директор— энное количество раз по тридцать серебрянников. Иуда Петрович, вы не расписались,— доносится как иерихонская труба из окошка. И Иуда Петрович вынужден склониться.

Много раз, ах какое же бесчисленное количество раз Аркадий думал об уходе. Но он был слаб, безволен и привык. И к нему здесь все привыкли, даже собаки. Хотя память у собак короткая, за выходные могут забыть и цапнуть за штанину. А его помнили и виляли хвостами и громко лаяли ему вслед.

А еще был Аркадий почти невидим, бесцветен, как моль и занимался не пойми чем. В компании когда обсуждали политику и баб, всегда сходились на том, что все мужики любят толстых баб, ну, примерно девяносто девять процентов, и лишь один процент— очень толстых. Аркадий и этих мыслей не понимал и сторонился. Пить— пил, скидываться— скидывался, но всё время лишь тупо улыбался и боялся, что кто-нибудь догадается о его обеденных снах. Только это мало кого интересовало, когда было что пить и о чем поговорить.

И текла как тонкий ручеек его жизнь. Ручеек этот перешагивали, в него мочились и бросали мусор. Никто не пытался ловить в нем рыбу или тем более утолить жажду. А однажды ручеек пересох. И этого никто не заметил. Нет, заметили позже, когда за авансом не пришел один единственный человек. Жанна Терентьевна и заметила и подняла шум.

Что ей сдавать ведомость, а этот разгильдяй не соизволил даже прийти и поклониться до пупа. Стали искать нарушителя спокойствия и не нашли. Потом выяснили, что человек то умер. Но Жанна Терентьевна всё равно еще долго возмущалась, почему если умер, то ей не сообщил. Разгильдяй! Она громко хлопнула дверцей окошка изнутри и спустилась в ад.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ (С КОНФИСКАЦИЕЙ)

— Павлик, а где же твой друг? — спросила мама сына вошедшего в дом.

— Он мне больше не друг, — угрюмо, шмыгая носом ответил Павлик.

— Ободрал?

— Да. Сволочь.

— Это что за слова еще такие, ты где нахватался, — стала сердиться мама.

— Так бабушка Маша деда Колю называет, — парировал Павлик.

— Не нужно всё и всегда повторять от взрослых, особенно от бабушки Маши. Она уже старенькая, у неё под платком мозги поседели.

— А мозги седеют?, — удивительно спросил Павлик.

— Конечно. И я стану старенькая, и у меня мозги поседеют. Вот уже на висках несколько седых волос выбиваются.

И мама Павлика выдернули один седой волос.

— Мама, а подари мне этот волос, ну пожалуйста, — стал канючить сын.

— Ой, да зачем он тебе?

— Мне очень-очень-очень-очень нужно! Мамочка, любимая, ну подари!

— Глупости, Павлик.

— Ну пожалуйста.

— Если скажешь зачем, то я подумаю, — утвердительно сказала мама, все это время она накручивала седой вьющийся волос на безымянный палец.

— Он мне нужен для колдовства.

— И над чем же ты собрался колдовать?

— Над Мурзиком. Потому что он гад и сволочь, ободрал меня. А я его заколдую и он никуда не рыпнется.

— Кто же тебя колдовать научил?

— Как кто — деда Коля! Он мне говорит: Павлик, я почему еще живой, а потому, что я старуху свою на коротком поводке держу, найду её седой волос и специальную молитву прошепчу. Она меня и не трогает. А также бы убила давно, выдра. Или я её. Хотя я её любил, по молодости. А теперь что, трудовому герою выпить нельзя, курица седая, коза без колокольчика. А трудовой герой заработал горбом.

Так говорил Павлику дед Коля.

— Ну и ну, папаня совсем разошёлся. Не пойдешь больше к ним.

— Почему? Деда Коля весёлый, а баба Маша слов много знает. И пирожки у неё с вишней, и кошка Брыська умная. И Бобик на цепи один заскучает. Почему, мам?

— Не мамкай.

— А волос, ты же обещала. Там Мурзик в грядке спит, я его сейчас как заколдую.

— Глупости всё это, сынок. Дед Коля пошутил. Он всю жизнь шутит, шут гороховый.

— Нет, не глупости. Я сам видел, как деда Коля седой волос бабы Маши на палец крутил и особый заговор говорил. А баба Маша потом ему сама самогона налила.

— Сама, да не ври уж. Врать, Павлик, не хорошо.

— Да, честное слово, мамулечка. Сама, сама.

— Значит твой дед колдун.

— Конечно, а ты дочь колдуна, а я внук.

— Ну да, ну да.

— Мам, волос...

— Всё, хватит, — гаркнула мама.

— Ты обещала, если расскажу зачем, ты мне его дашь. Там Мурзик сейчас проснётся и убежит к своим кошкам драным. Мне прямо сейчас нужно. Ну, пожалуйста.

— Ой, да бери, только кота не мучь.

— Это он меня мучает. Сволочь он, сволочь и есть. Ну ничего, сейчас я его заколдую.

В грядке с подвешенными помидорами сладко спал чёрный как смоль кот Мурзик. Послеобеденная нега сморила старого крысолова и он растянулся в блаженной тени. Павлик подкрался незаметно.

Павлик присел возле грядки, из которой торчал только тонкий облезлый хвост Мурзика. Да и то торчал только кончик хвоста. Павлик достал из кармана шорт седой волос и принялся повязывать его на хвост дерзкому коту. Какое-то время Мурзик терпел, только пытался

сдернуть хвостом манипуляции юного колдуна. Но Мурзик был старше и опытнее, одних только крыс за этот год он изловил восемь штук, а мышей — и того не счесть. Мурзик снова ободрал Павлика. На этот раз не так сильно, но на руке остались четыре горящие красные линии, которые сразу начали саднить.

В тот день Павлик окончательно расстроится, весь день пропадал во дворе и пришёл только к ужину.

— Сынок, ну как твоё колдовство? — с улыбкой спросила мама.

— Я думаю, что я приёмный. Я не ваш настоящий.

— Ты что сынок. Я сама тебя родила в третьем роддоме. Да ты же сам все свои детские фотографии наизусть знаешь.

— А почему тогда я не могу колдовать?, — шмыгая носом и вот-вот готовясь зареветь спросил Павлик, — почему?

— Ты просто еще не готов. Я тоже не сразу стала колдуном.

— Правда?

— Конечно. Хочешь, я тебе завтра ещё один седой волос подарю и мы вместе пойдем Мурзика заколдовать?

— Очень. Очень-очень хочу.

— Тогда завтра мы этого Мурзика заколдуем, что он тебя больше никогда обижать не будет. А сейчас давай я тебе йодом помажу, чтобы никакой заразы от этого кота не занести.

— Только ты мне подуй, мамулечка, а то я боюсь.

— Конечно, подую, сынок.

ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ

Отец пожелал остаться неизвестным. Или отцы... Впрочем, мать тоже была из без вести пропавших. Но обо всём этом я узнал гораздо позже по доброте душевной местных нянек.

Дородные мясистые фигуры их имели страшно маленькие тени, уродливо маленькие, не соразмерно мизерные с их обширными телесами. Стоит такая тётя Маша или тётя Глаша в коридоре, огромная как столп, как римская колонна, а от неё падает крохотный тень, карлик, пигмей, карикатура. Как если бы от танка падала тень в виде игрушечной машинки.

Улюлюлю, смешно, тётя Маша или тётя Глаша такие здоровые, с пудовыми ручищами, а взглянешь на тень, а там кошка, ну или максимум болонка. За этот постоянный безудержный смех меня и не взлюби-

ли. Но разве я виноват, что у тётки Маши или, скажем, у тётки Глаши такое душевное преломление. У меня нормальная строго пропорциональная тень. Сразу видно, что стоит мальчик, неказистый, но не кошка и не болонка; пусть со вшами и с обкусанными ногтями, но он — это я.

За такое юродство на меня обычно выливался целый ушат ненависти. И про без вести пропавшую мамашу-кукушку и про дюжину неизвестных отцов, из-за которых в моей мамаше всё перемешалось и вышло то, что вышло — сюрреализм, Кощей на курьих ножках, отравляющий жизнь тётке Маше или же тётке Глаше.

Но я на них не обижался. Я — человек с нормальной тенью, этого им у меня не отнять.

Но зависть гложет людей, особенно больших с маленькими тенями. Решили тётя Маша и тётя Глаша меня удавить. Три центнера на двоих — шутка ли.

Дело было ночью.

Только спал я чутко, каждый скрип, каждый шорох слышал. А тут вижу как из под двери торчат огрызки двух маленьких теней. Ага, теньки пришли. Чего это они здесь забыли среди ночи. Что-то здесь неладное. Но моя то тень тоже начеку. Скрипнула дверь, сцепились наши тени, моя и тётки Маши да тётки Глаши, клубок теней. Вижу, что хоть и уродливые тени, а мою всё же одолевают. Пигмеи хитрые, карлики юркие...

Лежит на полу моя тень как рубашечка после глажки — распятая. А я ни пошевелиться не могу, ни вздохнуть. Ни чем уже ей не поможешь. Только бессильно плачу. А тётя Маша с тётей Глашей довольные поправили кули свои на головах и вышли из палаты.

Наутро я увидел, что у меня совсем нет тени, даже крошечной как у клопамы, который мне ночью все ноги сгрыз. А у тётки Маши и особенно у тётки Глаши огромные тени, больше их самих, как будто бы они римские колонны, а тени их — Колизей. Два. Тогда я понял, что они питаются чужими тенями и попросил аиста унести меня подальше, хотя бы и в капусту. Пусть меня там червяки съедят.

СТАРЫЙ ЧЁРТ

Один чёрт стал совсем старым. Или как говорят в их канцелярии — профнепригодным. И как всякий старик, стал он всё чаще вспоминать что сделать успел. Жизнь то у чертей длинная, не то что человеческая. Воспоминаний, томов больше чем у графа Толстого. А на новые пако-

сти сил нет, копыта не слушаются, да и нюх не тот. Рога коростой и без того поросли, а рога у чёрта— это главный GPS на всякие пакости. Так что считай потерялся тот чёрт во времени и пространстве. И остался не у дел.

Вспомнить то есть чего. Но то в основном по мелочи, больше на шалости похоже. То в самый последний момент светофор переключил на красный, то газ на плите открыл, то воду в ванной. Это всё ерунда. Так всякий может. Надо мыслить масштабнее. А масштабных проделок у того чёрта как раз и не было.

Опечалился чёрт, жизнь чертовскую прожил, а вспомнить не о чем. Потомкам рассказать нечего. Будто и не чёрт он, а ангел. Только у ангелов рогов и копыт не бывает. Но это мелочи. В роддоме могли и перепутать.

Жил тогда этот старый чёрт в старенькой квартирке, которая ему от последнего жильца в этом доме под снос осталась. Жильца он газом уморил. Шалил! Остальных жильцов расселили по другим куличкам. И остался чёрт один. Только мыши еще да тараканы. А те сами хуже чертей. Глаз да глаз.

И решил старый чёрт последнюю пакость сделать. Но так, чтобы по крупному. Пан или пропал. Чтобы все его пакость запомнили и передавали из уст в уста. Чтобы пакость ту разбирали в чертовских академиях и в пример ставили. А потом можно и копыта отбросить.

Думал, думал, прикидывал, вспоминал, рога чесал, копытами стучал друг об дружку. Ничего в чертову башку не идёт. От нервов всю шерсть на груди выдрал. Шерстинки седые-преседые, жесткие, как проволока. Мышка ухватила одну такую шерстинку, да и подавилась. А черту мышку жалко стало. Не о том он мечтал.

"Эх, чёрт меня дерит"— бывало в сердцах вскрикнет. Но то всё во сне. Во сне тоже никакие пакости не приходят. Как ты не чертыхайся.

И решил тот чёрт на себя руки наложить, то есть копыта. А с копытами то оно сложнее, чем с руками, даже если растут понятно от куда.

Газ бы открыть, так дом давно от газа отрезан. И электричества нет, и воды. Не дом, а черти что. Ад!

Кое-как чёрт собрался и вышел на улицу. А на улице солнышко, весна, все радуются. Идёт чёрт по переулку, аж тошно ему, что всем вокруг так хорошо и весело. Дошёл до светофора на перекрестке, да силы уже не те, не сумел зеленый на красный переключить. Осточертело всё. Нет жизни ни здесь, ни выше.

Сел старый чёрт на остановку и заплакал.

Вдруг, чувствует, что его кто-то по голове гладит. Да так нежно, как только в детстве его чёртова мать гладила. Он голову поднял и видит старуха стоит. Скрюченная, как домишка, в котором он доживал. А в руках у старухи коса. А сама старуха в чёрном саване. И лица не видно. Только чёрная непроглядная мгла из под капюшона. Испугался чёрт. Стал копытами сучить, говорит, что еще нужно ему времени совсем немного. Он, дескать, непременно что-нибудь этакое выкинет. Что все ахнут.

Но Смерть не стала слушать старого чёрта и забрала его.

А потом и старый дом снесли. Мыши и тараканы по округе разбежались. Сперва им без чёрта одиноко было. Всё какое-то живое существо, хоть и с копытами. А потом и они про чёрта забыли. Других забот полно.

А про того старого чёрта в чертогах стали так говорить— черти существа Бессмертные, но был один чёрт, глупый-преглупый, которого Смерть прибрала. Так что мотайте на ус.

ЧЕРТОВЩИНА

Стоило начать говорить о чертовщине, как эта самая чертовщина оживлялась и принималась шкодить. Сами по себе открывались краны, включался газ и перегорали разом все лампочки. Это означало, что черти вкрадчиво опохмелились и позволили себе ранее недозволенное. Черти что творилось вокруг. А мне — сиди и терпи. Иначе конца края не будет всему этому.

Через какое-то время я открываю настежь все окна, газ улетучивается на волю, воздух в комнате снова становится чистым, закрываю краны и достаю из шкафа резервные лампочки на замену перегоревшим. Работы то— тьфу, на пол часа. Черти спят. Устают они быстро. А еще если не отвечает им никто в проказах, то они сами перестают, не интересно становится, как-будто сами для себя, а они всё для людей.

Вообще мне с чертями повезло. Узнав много общего. Они как выпьют, так становятся спокойными. А когда долго не пьют, то наоборот— тянет их на промысел.

Вечером. Да какой вечером, уж когда жена спит, самой что ни на есть ночью темной, я тихонечко крадусь к холодильнику. И чьи-то копыта цок-цок, тоже крадутся к холодильнику. Вот так встреча! Но ни я, ни черти вида не подаем. Молча выпиваем пятьдесят граммов, откусыв-

ваем по куску вареной колбасы и расходимся. Утром всё как ни в чём ни бывало, бывало, то есть "доброе утро" через нос, кофе— два раза царю, и на работу. Черти на хозяйстве.

На работе скука смертная, там бы ни один чёрт не выжил, сразу бы копыта откинул. Бабье царство на моей работе, сплошная химия на головах и бусы вокруг морщинистых шей. Нет, такого добра нам не надо. Шесть часов, со всех ног на автобус и домой к родному чертогу. Дома родные черти, ну, жена ещё, конечно, кот — сволочь, и водочка в холдильнике, как талая вода.

В автобусе давка, черт плешивый мне на ногу наступил, ни тебе "извините", ничего. У, гад, в аду тебе гореть и не переворачиваться на другой бок. А чёрт глазками своими поросячьими из под очков смотрит сквозь меня, зубы редкие скалит. Под мышкой у него портфель потертый, прямо как его голова, плешивый такой портфель, кожзам. Он этот портфель всё время норовит выронить и дергается как висельник на плахе. Дергается и на ногу мне наступает, вот уже три раза наступил своими пыльными штеблетами, черт. Будь ты проклят, водитель "гармошки" и автобус на повороте снова раздувает "меха" так, что зад его не поспекает за передом, народ наваливается на другой народ, чуть ли не до побоища дошло. Но случилась остановка. Я вышел, а плешивого послал к чёрту.

Дома котлеты дымятся. Дома жена в хорошем настроении, которое так и хочется испортить. Кот — сволочь тоже ведёт себя в рамках приличия. Чертей не видно, не слышно. Ну, да ладно. Будем здоровы. Всё выпито, съедено. Ой, что-то не хорошо. В глазах темнеет, чертовщина какая-то. Отравила, сука подлая и кот-сволочь на её стороне, сукин сын. Черти, черти, родные мои где вы? Молчат. А я умер.

Умер я значит и нахожусь теперь в месте похожем на регистратуру. Там все вновь отбившие на тот свет ждут направлений. И ждать можно вечность. Зато видно что-то там внизу, то есть дома происходит, как через стеклянные полы. Жена моя ходит по квартире и копытами цок-цок, а за нею кот-сволочь тоже цок-цок. Вот, черти! Это же надо так меня провести.

И тут меня вызывают.

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

Николай берег свои резиновые сапоги. Ничего дороже этих сапог для него не существовало. На свою жизнь и на жизнь окружающих ему было насрать. Но вот сапоги— за них он был готов умереть.

Сапоги достались ему от отца, сгинувшего на рыбалке. Отец-пропойца утонул, а сапоги всплыли. К слову сказать, отца так и не нашли. А вот сапоги, добротные, с подворотами отдали его вдове, которая сказала: "нахуй мне его вонючие сапоги, чем я ребенка кормить буду?!". Хотя о том, что муж утонул она особо не горевала. Вскоре привела домой другого пропойцу, который умудрился пропить из дома всё, что плохо лежало, кроме резиновых батиных сапог. Что удивительно.

Вдова и сама не чуралась бутылки, от нового мужа не отставала, чтоб ему пусто было. И потому слегла в белой горячке, стала совсем дурной, ходила под себя и гоняла невидимых чертей. Вскоре померла, перестав мучить сына и сожителя-пропойцу. Сожителя сын в тот же день выпер и он сгинул, как чернозем под первым снегом. По весне тело его нашли в поле. "Подснежник" лежал кверху пузом, и с оскалом смотрел в серое безоблачное небо. Прикопали его по доброте душевной на краю того же поля. Потянули и забыли как звали.

А что же до сапог, то в них Николай щеголял в любое время года. Да и не было у него другой обуви. Зимой и летом одним цветом. Сам Николай был грязен и неопрятен. Цветом кожи всё больше сливался с цветом резиновых сапог. Бабы на такого чумазея не глядели даже искося. Поэтому жил Николай бобылем, пил и боролся с назойливыми как мухи мыслями с помощью мозолистых рук.

Впрочем, случилось в их посёлке появление нового человека. В Доме Культуры появилась библиотекарь, женщина. На первый взгляд она была похожа на перетраханную всем театром Мальвину, с волосами цвета ультрамарин. И все поселковые сворачивали шеи при виде такого чуда.

Николай в библиотеку никогда не ходил. Он иногда читал бесплатную газету "Заря" и на том его запросы ограничивались. Сидит в сапогах и читает о сборе урожая или о том, кто умер. Иного уже много будет.

Познакомились Николай в резиновых сапогах и Мальвина случайно, на рынке. Самое благоприятное место. Приглядевшись, он рассмотрел в ней сломанную женщину, трижды замужнюю и ровно столько же раз

вдовую. И пожалел её, увидел в её цветомаскировке защитную реакцию ужа, во вдовости не увидел её вины. Мрут мужики сейчас, быстро мрут, наверное, ей просто трижды не повезло.

И мозоли постепенно стали сходить с ладоней, а цвет её волос стал светлее, постепенно острый ультрамарин смылся, и Мальвина стала светло русой.

Только вот резиновые сапоги сильно раздражали библиотекаря. Но Николай сказал, что от ношения сегодня атрибута настоящего мужика не за что не откажется. К тому же это единственная память о сгинувшего отца-рыбаке, которого возможно утащили русалки на самое дно и там замучили до смерти ни за что ни про что.

Стала тогда Мальвина думать, что от сапог всё равно нужно как-то избавиться. Самого то Николая она более менее привела в божеский вид. Но при виде этих сапог у неё всё падало.

И, однажды, пока Николай спал, она взяла нож и и изрезала на лоскуты отцовское наследие. Проснулся Николай, ноги с кровати свесил и не нащупал своих сапог. Глаза протер, стал смотреть да где же это они и видит в углу лоскуты резиновые да ошметки с подошвами. Зашелся тогда громом и молниями Николай, схватил Мальвину свою русоволосую и забил до смерти остатком сапога резинового. А лоскуты ей в рот и во все остальные дыры распахал.

Пил сутки, потом в белой пелене пьяного морока решил от тела избавиться. Вытащил из сарая санки, положил на них труп Мальвины и потащил к пруду.

Тяжело с санками летом, но за такое деяние Николай рогом уперся и тащил по пашне санки с телом сожительницы. На берегу стояла лодка. Николай свалил труп Мальвины в лодку и поплыл на середину пруда. Перевалил за борт библиотекарьшу и заплакал. Сидит в лодке, ревет белугой. Вдруг видит, что всплыло что-то. Он подумал, что это Мальвина его не тонет. Приглядеться, а это отец. Лежит на воде, как живой. Николай протрезвел мигом. Глаза только трет и трет, не верит им. А отец по рыбки рот открывает, только слов не разобрать. Прыгнул тогда сам Николай из лодки в воду, да к отцу. Только сил всё меньше и меньше, а отец всё удаляется и совсем из виду ушел. Стал Николай тонуть. Кричит, на помощь зовёт. Никого вокруг.

Участковый Сорокин на рыбалке выловили из пруда добротные резиновые сапоги. Как новые. Вспомнил он, что точно такие же сапоги были у Николая, сына утопленника, которого так и не нашли. Решил зайти к нему. Дома никого, кровь только в хате и во дворе колеи от

детских санок. Пошел тогда участковый по следам и вышел всё к тому же пруду. Совсем ничего не поняв, решил что дело явный висяк. Не тела, нет и дела. А сапоги очень хорошие. Такие в хозяйстве очень пригодятся.



ТЕАТР

Вадим Волобуев

Бишкек

КОНГРЕСС

Комедия в одном акте

Народы пришли бы в ужас, если бы узнали,
какие мелкие люди управляют ими.
Шарль Морис Талейран-Перигор

Действующие лица:

Александр I, император России, 37 лет.

Клеменс фон Меттерних, князь, министр иностранных дел Австрии, 41 год.

Шарль Морис Талейран-Перигор, князь, министр иностранных дел Франции, 60 лет. Сильно хромает на правую ногу и потому опирается на трость.

Вильгельмина де Саган, наследная герцогиня Курляндская, 33 года.

Екатерина Багратион по прозванию «Обнажённый ангел», княгиня, 31 год. Блондинка, носит лёгкие полупрозрачные одежды, часто с низким декольте.

Доротея де Перигор, графиня, родная сестра Вильгельмины де Саган, жена племянника Талейрана, 21 год.

Карл Август фон Гарденберг, барон, канцлер Пруссии, 64 года. Очень плохо слышит.

Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, фельдмаршал, британский посол во Франции, 45 лет.

Слуги, газетчики

Действие происходит в Вене в сентябре 1814 — марте 1815 гг.

Акт первый

Картина первая

Улица Вены, на заднем плане — трёхэтажный барочный дворец.

Появляется Екатерина Багратион, за ней — слуга, несущий вещи.

Екатерина Багратион. А эта интриганка уже здесь? Я слышала, она тоже намерена поселиться во дворце Пальмов. Конечно же, назло мне.

Слуга. О ком вы, мадам?

Екатерина Багратион. Об этой курляндке, которая делала любовника со своей матерью. Теперь она, видимо, рассчитывает очаровать своими увядающими прелестями вашего министра иностранных дел. Назло мне, конечно же.

Слуга. Если ваше сиятельство говорит о герцогине де Саган, то её светлость ещё не прибыли.

Екатерина Багратион. Выходит, я и тут обогнала её. Что ж, обнадеживающее начало.

Уходят.

Появляется Вильгельмина де Саган, за ней — тот же слуга, несущий вещи.

Вильгельмина де Саган. А эта бесстыжая вертихвостка уже здесь? Насколько мне известно, она тоже сняла апартаменты во дворце Пальмов. Всё ещё на что-то надеется, несчастная брошенка.

Слуга. О ком толкует ваша светлость?

Вильгельмина де Саган. О белой кошке, прыгающей с одного кота на другого. О куртизанке с титулом княгини. О той, которая так и не смогла сохранить любовь Австрии, несмотря на все старания.

Слуга. Если ваша светлость о княгине Багратион, то её сиятельство только что заселились в левое крыло дворца.

Вильгельмина де Саган. Прекрасно! Значит, я выберу правое. Вы будете часто видеть там вашего министра иностранных дел. Надеюсь, мои апартаменты украшены орлами Габсбургов? Ему будет приятно.

Уходят

С одной стороны сцены появляются Александр I и Гарденберг, с другой — Веллингтон и Меттерних.

Веллингтон и Меттерних (*кланяясь императору*). Ваше величество... (*кивая Гарденбергу*). Барон...

Александр I. А вот и наши славные союзники! Господа, поскольку тьма, висевшая над Европой, рассеялась, нам осталось вернуть народы на стезю справедливости и счастья. При том добром согласии, которое царило у нас во время борьбы с Бонапартом, дело это не должно занять много времени. Надо лишь возвеличить достойных и наказать виновных, не забывая о христианском милосердии. Полагаю, вы согласны исходить из этих посылок на наших переговорах?

Меттерних. Ваше величество знамениты не только доблестью на поле боя, но и дипломатическим искусством. Лучших основ для переговоров невозможно и представить.

Веллингтон. Справедливость, конечно, должна стоять превыше всего.

Гарденберг. Прошу вас, господа, говорите громче. Я очень плохо слышу.

Меттерних (*громче, Александру I*). Справедливость, упомянутая вашим величеством, требует вернуть все нации к границам, бывшим до французских оккупаций.

Александр I. Всемерно поддерживаю эту мысль, князь. Я даже готов пойти на возрождение Польши, и самолично возглавить этот процесс.

Меттерних. Не могли бы ваше величество подробнее коснуться этой темы?

Александр I. Прошу вас. Поляки согрешили, поддержав узурпатора. Но их чувства можно понять. В отношении Польши совершена большая несправедливость. Самое время исправить её, а заодно помирить два великих народа: поляков и россиян. Нет лучшего способа сделать это, чем объединить их под скипетром одного монарха на условиях личной унии. Все поляки, с которыми я говорил, едины во мнении, что таким монархом должен быть я. Если бы члены уважаемого собрания дали согласие на такую комбинацию, совесть многих участников конгресса была бы спокойна.

Меттерних. Устремления вашего величества, несомненно, возвышенны, но кажутся мне чересчур смелыми. Боюсь, мой император не сможет разделить с вами радость по поводу воскрешения Польши, особенно в первоначальных границах, ибо это означало бы для него отказ от Галиции. (*Гарденбергу*) А вы что думаете об этом, барон? Планы его величества императора России напрямую затрагивают интересы Пруссии.

Гарденберг. О чём вы говорите, князь? Говорите громче.

Александр I. (*громко, на ухо Гарденбергу*) Князь Меттерних любопытствует, как вы и ваш монарх отнесётесь к восстановлению Польши. (*Меттерниху*). Я уже обсудил этот вопрос с моим братом королём Прусским и он выразил полную поддержку — при условии, что за Пруссией и Австрией останутся некоторые польские земли, а ещё Пруссии будет уступлена Саксония.

Меттерних. Лишить владений древний род Веттинов! И это вы называете справедливостью, ваше величество? Кажется, вы замыслили перекройку карты Европы не хуже Бонапарта.

Александр I. Саксонцы предали дело Европы, передавшись узурпатору!

Меттерних. Сир, это вопрос дат. Не одни лишь саксонцы входили в союзы с Бонапартом, о чём вам должно быть прекрасно известно. Мой государь ни за что не согласится на такое нарушение европейского равновесия. (*Веллингтону*). Полагаю, принц-регент и члены британского правительства — тоже.

Веллингтон. Принц-регент и британское правительство везде и всюду ратуют за справедливость. Лишать тронов царствующих монархов недопустимо. К тому же, это может вызвать революционные потрясения в тех польских областях, которые останутся под управлением Пруссии и Австрии.

Александр I. И это говорит представитель державы, гордящейся своими свободами!

Веллингтон. Принцу-регенту, равно как и премьер-министру Великобритании, дорого европейское равновесие, о котором говорит князь Меттерних. Объединение России и Польши под одним скипетром чрезмерно усилит одну державу в ущерб остальным.

Александр I. Европейское равновесие не может быть нарушено тем, что делается от чистого сердца! Ручаюсь вам, господа, я не оставляю свои войска в Польше, а уведу их за Неман.

Веллингтон. Как военный я исхожу из того, что равновесие зависит больше от наличия вооружённых сил, чем от их расположения.

Меттерних. Поддерживаю герцога. Если однажды император всероссийский решит, что держать армию лучше во владениях польского короля, каковым он же и является, кто возразит ему? Этот факт мне представляется более существенным, чем добрая воля, проявленная вашим величеством в текущий момент. Признаться, меня удивляет беспечность барона Гарденберга по такому важному вопросу. Я могу объяснить её лишь его глухотой.

Александр I. Но король Фридрих Вильгельм отнюдь не глух и уже выразил полное одобрение моим планам, князь. К тому же, я не смогу распоряжаться в Польше, как в России — я дарую полякам конституцию, как прусский король дарует её Германии.

Меттерних. Час от часу не легче! Ваше величество, для того ли мы боролись с революционной заразой, чтобы теперь носиться с конституционными утопиями? Мой государь император австрийский никогда не согласится на конституцию для Германии, тем более, под эгидой Пруссии.

Александр I. Вот странный оборот: в моей стране народ лишён свободы, я же мечтаю даровать её. Ваши народы обладают правами и свободами, но вы хотите отобрать их.

Меттерних. Когда ваше величество говорили о справедливости, я видел это совершенно иначе.

Александр I. В чём же справедливость, как не в праве народов выбирать свою судьбу? Разве не об этом писал Руссо?

Меттерних. Руссо? Не верю своим ушам! Ваше величество действительно произнесли это ужасное имя?

Общий гвалт. Входит Талейран, опирающийся на руку Доротеи де Перигор.

Гарденберг. Господа, прошу вас потише.

Гвалт стихает.

Меттерних. Князь Талейран и графиня де Перигор! *(целует руку графине)* А где же ваша матушка, графиня? Осталась в Париже? Передайте её сиятельству моё восхищение. Мне иногда кажется, что род де Саганов тайно правит Европой! Вы знаете, что ваша сестра Вильгельмина поселилась здесь рядом, во дворце Пальмов? Думаю, её салон будет одним из самых блестящих на этом конгрессе. Не собираетесь составить ей конкуренцию?

Александр I. *(Талейрану)* Не могу простить вам, князь, что вы навязали Франции этих никчемных Бурбонов. Я говорил вам в Париже и повторю здесь, в Вене: Людовик Восемнадцатый — самый посредственный и незначительный король во всей Европе.

Талейран. Не думаю, ваше величество, что у вас была возможность оценить способности моего короля, ведь он всего полгода на престоле. Впрочем, судьба неразборчива: посредственные личности нередко играют существенную роль в важных событиях, поскольку оказываются вовремя в нужном месте. Но как поборник справедливости, вы, ваше величество, должны признать, что Людовик Восемнадцатый — законный правитель Франции. *(всем)* И если, господа, вы действительно

намерены следовать принципу справедливости, то моей стране надлежит занять место среди великих держав, решающих судьбу Европы на этом конгрессе. Война велась не против Франции, а против Наполеона. Ныне Наполеон на острове Эльба, а принцип захвата, который он проповедовал, отвергнут. Следовательно, должен возобладать принцип законности. И он требует уважать ту позицию, которую Франция завоевала своей историей.

Вежливый смех. Все уходят, кроме Талейрана и Доротеи. Слуга выносит два стула. Талейран и Доротея садятся на них: Талейран лицом к залу, а Доротея — боком к залу, лицом к Талейрану.

Т а л е й р а н . Вот она, участь Франции — пренебрежительное хихиканье. Я знал, что этим закончится. Чем выше взлетаешь, тем больше падать. Наполеон воспарил на такую высоту, что солнце растопило воск в его крыльях, и вместе с собой он погубил Францию. Если бы он действительно любил её, то остановился бы после Аустерлица. Меня обвиняют, будто я изменил ему. Это так. Но была ли это измена Франции? Я составлял заговоры лишь в те эпохи моей жизни, когда моими сообщниками были большинство французов. Верность других длилась не дольше, просто заблуждения их были продолжительнее. Я покидал лишь тех, кто уже находился при смерти. Не моя вина, что я раньше остальных замечал признаки смертельной болезни. К сожалению, на этот раз болезнь зашла так далеко, что превратила Францию в полутруп. Что ж, нам остаётся признать это и надеяться на лучшее. До такого состояния страну не доводили даже министры несчастного Людовика Шестнадцатого. Тогда мы потеряли множество колоний, наш государственный долг грозил банкротством, но нас не презирали! Над нами не потешались! Ах, я даже тоскую по тому времени! Кто не жил при старом режиме, тот не познал сладости жизни. В моём доме на улице святого Доминика бывал незаконнорожденный сын Людовика Пятнадцатого! Из Берлина мне слал отчёты сам Мирабо! Мы однажды крепко повздорили с ним, он обрушил на меня поток таких ругательств, которых я не могу повторить при вас, милая Люзи. Впрочем, он был любезнейший человек. Какую игру я вёл тогда! С какими женщинами общался! Герцогиня де Люинь, виконтесса де Лаваль, герцогиня де Сент-Джеймс, мадемуазель Гримар, мадемуазель де Сталь, которая теперь присоединилась к хору моих обвинителей, графиня де Флао... В то беззаботное время связь со священником не могла скомпрометировать умную женщину. В салонах и будуарах творились великие дела, которые потом обретали законченную форму в королевском дворце. Кто понимал это, имел успех. Подозреваю, здесь будет нечто подобное, но в

ещё большем масштабе, учитывая число влиятельных особ, собравшихся на конгресс. Надеюсь, ваш салон, дорогая, поможет бедной Франции встать на ноги. Ваша красота, ваша сообразительность и, что уж греха таить, ваши родственные связи позволяют надеяться на это. В том, что нас поселили во дворце Кауница, я вижу доброе предзнаменование. Этот славный канцлер был отцом франко-австрийского сближения перед Семилетней войной. А другой добрый знак я вижу в вашем имени. Знаете, как звали первую, кто открыл мне чудесный мир женщин? Доротея Доренвилль. Она была не только вашей тёзкой, но и отличалась такой же живостью. Все называли её мадемуазель Люзи, она играла в «Комеди Франсез», но терпеть не могла театр. Я тогда делал духовную карьеру и долго маялся без места. В сердцах я заявил госпоже дю Барри, что в Париже легче найти женщину, чем хорошее аббатство. И это была сушая правда! Сейчас меня за такие слова заклевали бы моралисты, а тогда это показалось всем очень остроумным. «Вы должны быть остры на язык, чтобы добиться успеха», — посоветовала мне виконтесса де Лаваль. Она была права. Женщины не раз давали мне дельные советы. Куда чаще, чем мужчины. На мой взгляд, женщины вообще смыслённее мужчин. И лучшее доказательство их ума — мужская вера в то, будто женщины глупы. История столько раз доказывала обратное, но мужчины упорно пребывают в своём заблуждении. Так кто из нас глуп? Разве что моя жена с её энциклопедическим невежеством. (*с трудом поднимается*) Ну что же, пойдёмте, дорогая Люзи. Нас не пустили на сцену большой политики, будем наблюдать из зрительного зала.

Картина вторая

Апартаменты Екатерины Багратион

Александр I и Екатерина Багратион сидят на диване.

Александр I. Мадам, я обращаюсь к вам не только как ко вдове героя, но и как к христианке, которая и сама сделала немало для низвержения врага святой церкви. Мне известно, что в те трудные времена вы близко общались с князем Меттернихом, который сейчас строит из себя победителя Наполеона, но тогда всячески угождал этому исчадию ада. Пользуясь положением хозяина конгресса, он смеет указывать мне, покорителю Парижа, на каких принципах переустраивать Европу. Я исхожу из воли народов и христианского согласия между государями. Он же хочет встать выше этих священных основ любого договора, подменив их собственным произволом и интригами. Прошу вас, княгиня, памятуя о вашей дружбе с ним, повлиять на этого упрямяца.

Намекните ему, что добрые отношения с самым сильным монархом мира куда ценнее идеи европейского равновесия, о которой он почему-то не вспоминал в дни могущества Франции.

Екатерина Багратион. Я польщена тем, что вы просите об этом меня, ваше величество. Но боюсь, вы переоцениваете мои возможности. Как вы знаете, сейчас у князя в фаворе герцогиня де Саган. Если бы ваше величество нашли способ избавить министра от её влияния, мои шансы на успех значительно бы повысились.

Александр I. К сожалению, человеческие чувства неподвластны даже такому могущественному монарху, как я. Если бы конгресс проходил в России, можно было бы что-то придумать. Но мы в Вене, сударыня, а здесь распоряжается Меттерних.

Екатерина Багратион. Однако если бы герцогиня была скомпрометирована, чувства князя к ней немедленно бы остыли.

Александр I. Скомпрометировать её больше, чем она делает это сама, вряд ли возможно. Я весьма наслышан о её похождениях. И потом, не будет ли это противно христианской морали? Я, победитель Наполеона, плету козни против одинокой женщины, даже не королевы... Попросите что-нибудь другое, мадам.

Екатерина Багратион. Это была не просьба, а совет, ваше величество. Что касается моих просьб к вам, то вот они: во-первых, прошу выкупить орловское имение, которое князь Багратион семь лет назад заложил в казну...

Александр I. Считайте, что это уже сделано.

Екатерина Багратион. Во-вторых, заставьте князя Меттерниха признать мою дочь, рождённую от него.

Александр I. Сударыня, по-христиански ли это? И что скажет свет? Вдова князя Багратиона... Какой выйдет скандал!

Екатерина Багратион. Ваше величество, неужели свет настолько недалёк, что не понимает, отчего моя дочь, рождённая в Дрездене в бытность там послом Клеменса фон Меттерниха, наречена Клементиной? Думаю, пора уже перестать разыгрывать эту комедию.

Александр I. Княгиня, если бы я имел такую власть над Меттернихом, разве обратился бы к вам за помощью против него?

Екатерина Багратион. Быть может, мои слова вкупе с вашими армиями совершат то, чего они не смогли добиться по отдельности?

Александр I. Быть может, вам стоит воздействовать на совесть князя через мадам Меттерних?

Екатерина Багратион. Госпожа Меттерних прекрасно осведомлена об изменах своего мужа. Она даже гордится ими, говоря, что ни одна женщина не устоит перед ним. В Париже она самолично выгораживала его перед маршалом Жюно, когда тот обнаружил их переписку с герцогиней д'Абрантес, супругой маршала.

Александр I. Что за растленность! Жена стоит мужа! Поразительная бестактность! Я многого мог ожидать от Меттерниха, но вовлекать в свои измены жену — это низко даже для него. Да что он! Это было бы низко даже для Талейрана, самого недостойного человека, какого я знаю. После Бонапарта, конечно. Какие ещё тайны министра вы готовы мне открыть?

Екатерина Багратион. Я всей душой готова служить вашему величеству как своему государю, но прошу вас помочь мне. Не забудьте в беседах с князем про мою дочь и постарайтесь удалить с конгресса эту кляузницу де Саган. Уверяю вас, это значительно облегчит вам переговоры с князем Меттернихом.

Александр I. Вы откровенны, и я буду с вами откровенен, княгиня. Царь — отец своему народу и заботливый муж российским вдовам. Печься о них, окружить их опекой — его обязанность и священное право. Вы согласны с этим, сударыня? У де Саган есть Меттерних, а кто есть у вас? Хотите, я заменю вам мужа на этом конгрессе?

Екатерина Багратион. Ваше величество принимает меня за покорённую область?

Александр I. У меня большой опыт в покорении областей. Из-за этого мы и спорим с князем Меттернихом. Он хочет самолично решать, какие области мне причитаются, не спрашивая ничего мнения. А мне нравится Польша, и это чувство взаимно. Я уже ввёл туда войска, и мы оба испытали такое удовольствие, что теперь её обитатели мечтают отдаться мне. Поверьте, ни одна область из покорённых мною не пожалела об этом. Я вводил войска в Германию, во Францию, введу их и в Австрию, если потребуется. Пусть Меттерних знает об этом. *(Целует ей руку и нежно прячет её ладонь в своих).*

Екатерина Багратион. Это ваше твёрдое желание?

Александр I. Более чем.

Екатерина Багратион. Но разве, прежде чем вводить войска, не следует возбудить симпатию к ним?

Александр I. Многие говорят, что я умею возбуждать симпатию. Надеюсь, вы разделите чувства поляков, мадам, если предоставите мне шанс облагодетельствовать вас.

Медленно поднимаются с дивана, не сводя друг с друга глаз. Екатерина осторожно снимает свою ладонь.

Екатерина Багратион. Теперь я вижу, что вас недаром называют главным обольстителем Европы, ваше величество.

Александр I. А вы вполне заслужили прозвание русской Андромены, княгиня.

Александр I со смехом берёт её в охапку и уносит за кулисы.

Картина третья

Апартаменты Вильгельмины де Саган.

Меттерних и Вильгельмина де Саган сидят на диване.

Меттерних. Легче уладить европейские дела, чем отношения с тобой. Я несу на плечах целый мир, вся Европа собирается в моей передней, а я должен думать о твоих капризах...

Вильгельмина де Саган. Капризах? Так ты называешь законные требования женщины к мужчине? Вот она, ваша суть. Мужчины всегда готовы уверять женщин в любви, но когда доходит дело до подтверждения своих чувств, тут же исчезают.

Меттерних. Как ты можешь говорить такое! Разве я в чём-то отказывал тебе?

Вильгельмина де Саган. Разумеется — в самой важной вещи.

Меттерних. В какой же? Все сокровища мира лежат у твоих ног.

Вильгельмина де Саган. Как ты мелочен! Будто говоришь не с герцогиней, а с куртизанкой. А ещё величаешь себя министром коалиции и осью Европы! Ты и на переговорах так себя ведёшь?

Меттерних. Как?

Вильгельмина де Саган. Уходишь от темы.

Меттерних. Ухожу от темы? Но чего же ты хочешь? Скажи мне.

Вильгельмина де Саган. Ты прекрасно это знаешь.

Меттерних. Клянусь, нет! Скажи прямо.

Вильгельмина де Саган. Чего ждёт всякая женщина от любви? Соединения сердец. Всего лишь маленького колечка на безымянном пальце. Полагаю, это несложно для того, кто готов положить к моим ногам все сокровища мира. Маленькое незаметное колечко.

Меттерних. Но зачем, бога ради, зачем? Почему нельзя просто любить друг друга? Женятся ради детей, а не для того, чтобы утлеть сердечные чаяния.

Вильгельмина де Саган (*вскочив с дивана*). Какой подлый удар! Ты прекрасно знаешь, что... (*бросается прочь из комнаты*) Ноги моей больше не будет в Вене.

Меттерних кидается за ней и падает на колени, обнимая её ноги.

Меттерних. Я сглупил, прости меня! Ты мне дороже жизни! Дороже всего на свете!

Вильгельмина де Саган. Так я стану княгиней Меттерних?

Меттерних. Пока идёт конгресс, это невозможно, дорогая. Назови любое другое желание, и оно будет тотчас исполнено!

Вильгельмина де Саган. Любое? Тогда я желаю, чтобы эта мерзавка Багратион убиралась из Вены.

Меттерних. Чем она тебе не угодила?

Вильгельмина де Саган. И ты ещё спрашиваешь? У неё ребёнок от тебя. Думаешь, она случайно поселилась рядом со мной?

Меттерних. Хорошо. Это будет нелегко, но я постараюсь. Обещаю тебе!

Вильгельмина де Саган. Это ещё не всё. Теперь, когда умер Армфельт, мне должны наконец вернуть дочь, мою маленькую Густаву. (*плачет*).

Меттерних (*под нос*). Что за манера называть детей в честь любовников? Это так осложняет жизнь...

Вильгельмина де Саган. Что ты сказал?

Меттерних. Ничего! Послушай, но что я могу поделать с родней Армфельта? Если бы она жила в Австрии... Но они живут в Финляндии, а там распоряжается император Александр!

Вильгельмина де Саган. Значит, договорись с ним.

Меттерних поднимается с колен.

Меттерних. Дорогая...

Вильгельмина де Саган. Да-да?

Меттерних. Ты требуешь от меня почти невозможного. Даже императору австрийскому было бы не под силу такое.

Вильгельмина де Саган. О, так ты уже не ось Европы и не министр коалиции!

Меттерних. Вильгельмина, это жестоко!

Вильгельмина де Саган. Жестоко обманывать беззащитных женщин!

Меттерних. Давай поговорим спокойно.

Возвращаются на диван.

Меттерних. Я поставлю перед царём вопрос о твоей дочери, хоть это чрезмерно усложнит наши и без того непростые отношения. Я также постараюсь удалить из Вены княгиню Багратион...

Вильгельмина де Саган. Постараешься?

Меттерних. Да, постараюсь. Насчёт же остального — давай обсудим это после конгресса.

Вильгельмина де Саган. Ещё я хочу, чтобы ты вернул престол неаполитанскому королю.

Меттерних вскакивает.

Меттерних. Нет, это невыносимо! При чём здесь неаполитанский король?

Вильгельмина де Саган. О, перестань изображать невинность! Вся Вена знает, что ты не выгнал Мюрата из Неаполя только потому, что состоял в любовной связи с его женой.

Меттерних. Чепуха! Неаполитанская корона Мюрата — это игла, которой я колю Бурбонов. Франция сейчас слаба, но кто знает, что будет через несколько лет? Лучше не пускать родню Луи Восемнадцатого в Италию. Но если Мюрат зарвётся — а он зарвётся — у меня останется игла и против него: законный король Неаполя, сидящий в Палермо. Поэтому я посылаю дружеские послания обоим, не забывая подкармливать их деньгами. Это называется «эквilibр», моя дорогая. Европейское равновесие. Меня научил ему в Майнце профессор Фогт.

Вильгельмина де Саган. А твоя интрижка с герцогиней д'Арбантес, из-за которой тебя чуть не вызвал на поединок маршал Жюно — тоже часть этого равновесия? Я слышала, герцогиня пишет мемуары. Надеюсь, мы узнаем из них немало интересного о твоей эквилибристике.

Меттерних. Послушать тебя, так я состоял в любовной связи с половиной знатных женщин Европы.

Вильгельмина де Саган. Знатных? О, ты льстишь себе. На конгрессе в Раштатте ты не брезговал и дамами низкого происхождения.

Меттерних. Грязная ложь!

Вильгельмина де Саган. Скажешь, не тебя с отцом вывел в своей пьесе господин Коцебу под именем двух Клингсбергов? Я читала её.

Меттерних. Гнусный пасквиль никчемного бумагомараки. Коцебу всегда потакал самым низменным вкусам. Неудивительно, что нашёл признание у русского императора. Я весьма огорчён, что ты считаешь меня каким-то сатиром. Мне больно это слышать.

Вильгельмина тоже вскакивает с дивана.

Вильгельмина де Саган. Так докажи мне серьёзность своих намерений! Пока у меня нет оснований думать, что ты не отнёшься ко мне как ко всем прочим своим мимолётным увлечениям.

Меттерних. Вильгельмина, я уже сказал тебе, что пока идёт конгресс, я не могу себе позволить семейные неприятности.

Вильгельмина де Саган. Тогда сделай то, что можешь прямо сейчас: вышвырни отсюда эту голую кошку!

Меттерних. Хорошо. Завтра же займусь этим.

Вильгельмина де Саган. Не завтра. Сейчас.

Меттерних. Сейчас? Подумай сама, на что это будет похоже!

Вильгельмина де Саган. Сейчас. Немедленно.

Меттерних. Сейчас? Но я надеялся...

Вильгельмина де Саган. На что?

Меттерних. Что этот вечер я проведу за более приятными занятиями.

Вильгельмина де Саган. О, это сколько угодно! Не смею тебя задерживать.

Меттерних. Я имел в виду — с тобой.

Вильгельмина де Саган. Успех у женщин избаловал тебя, Клеменс. Ты переоцениваешь своё обаяние. Выполни первое условие, и тогда я подумаю.

Меттерних. Подумаешь?!

Вильгельмина де Саган. Да. Конгресс, видимо, продлится несколько недель, так что торопиться мне некуда.

Меттерних делает неловкий шаг и чуть не падает. Вильгельмина успевает подхватить его.

Вильгельмина де Саган. Кажется, я только что поддержала европейское равновесие.

Меттерних. О, жестокая! Не случайно тебя величают курляндской Клеопатрой!

Вильгельмина де Саган. Но ты пока не Цезарь и даже не Антоний. Они не оглядывались на жён, когда добивались любви египетской царицы!

Меттерних. Что ж, хорошо. Я прямо сейчас пойду к княгине и поговорю с ней.

Вильгельмина де Саган. Вперёд, мой храбрый рыцарь!

Картина четвёртая

Сцена поделена надвое: в одной половине — гостиная Екатерины Багратион из второй картины, в другой — её же спальня.

Александр I вносит хохочущую хозяйку апартаментов в спальню и осторожно кладёт на кровать. Начинает раздеваться, и тут за сценой гремит голос Меттерниха.

Меттерних. Немедленно доложи своей хозяйке обо мне, или я войду без предупреждения. Мне плевать, что княгиня занята. Я — министр иностранных дел Австрийской империи и не потерплю промедления.

Голос служанки (*испуганно*). Ваше сиятельство, князь Меттерних требует немедленно принять его.

Александр I и Екатерина Багратион замирают. В гостиную широким шагом входит Меттерних и мрачно усаживается на диван.

Меттерних (*громко*). Катрин, я не уйду.

Екатерина Багратион. Что нам делать, ваше величествово?

Александр I. Вы ждали сегодня князя?

Екатерина Багратион. Нет.

Александр I. Я был уверен, что ваша история с ним закончена.

Екатерина Багратион. Я тоже так думала, сир.

Александр I. Вот что, я останусь здесь, а вы пообщайтесь с князем. Если он будет настойчив, постарайтесь внушить ему, что ваша благосклонность зависит от его отношения к российским интересам на конгрессе. Будьте уверены, я не забуду этой услуги.

Екатерина Багратион. А как же моя дочь?

Александр I. Ручаюсь вам, я напомню о ней князю, когда придёт время.

Екатерина Багратион открывает дверь в гостиную. Меттерних встает с дивана, приближается к ней и целует руку.

Меттерних. Катрин, ты восхитительна как никогда. Я каждый день жалею, что встретил тебя, когда уже был связан браком. Ты — прекраснейшая из венских роз. Как себя чувствует маленькая Клементина? Это такое счастье, что моя дочь носит моё имя. Когда она придёт в возраст, я подыщу ей хорошую партию.

Екатерина Багратион. Судя по обилию любезностей, тебе что-то надо, Клеменс. Чем обязана нежданному визиту?

Меттерних. Катрин, мне очень неудобно тебя просить, но ради всего святого покинь Вену на время конгресса. Твоё присутствие крайне стеснительно для меня. Мои враги могут использовать наше прошлое как орудие против меня, против австрийских интересов. Если моей просьбы недостаточно и тебе нужна награда за снисходительность, я готов обсудить этот вопрос.

Екатерина Багратион. Ты хочешь, чтобы я уехала из Вены?

Меттерних. Да. Пока идёт конгресс.

Екатерина Багратион. Ни за что на свете.

Меттерних (*пытаясь обнять*). Прошу тебя! Не будем ссориться.

Екатерина Багратион (*отстраняясь*). Я не уеду из Вены, Клеменс. Это герцогиня Курляндская заставила тебя прийти ко мне?

Меттерних. При чём здесь герцогиня Курляндская, дорогая? Дело совсем не в ней.

Екатерина Багратион. А в ком же? Больше я никому здесь не мешаю.

Меттерних. Ты забыла о моей жене, Катрин. Враги при дворе нашёптывают разное кайзеру Францу. А кайзер очень не любит, когда семейные дела вмешиваются в высокую политику.

Екатерина Багратион. До сих пор твоей жене не мешало моё пребывание в Вене. И даже когда я родила Клементину, мнение твоей жены совсем тебя не заботило. Но стоило нагрязнуть сюда этой верхивостке...

Меттерних. Как я и предполагал, ты не поверила мне. Но уверяю тебя, дело совсем не в Вильгельмине...

Екатерина Багратион. О, она уже Вильгельмина для тебя? И ты будешь меня уверять, что дело не в ней? А её сестричка, которую привёз Талейран, ещё не стала для тебя Доротеей? Как ты смешон, Клеменс!

Меттерних. Катрин, что ты хочешь за согласие?

Екатерина Багратион. Ничего. Согласия не будет.

Меттерних (*снова пытаясь обнять*). Может, мы всё-таки уладим наш спор, дорогая?

Екатерина Багратион (*вырываясь*). Я не буду угождать твоей обожаемой герцогине ни при каких обстоятельствах.

Меттерних. А если я признаю Клементину?

Екатерина Багратион . Всё равно. Я не уеду из Вены.

Меттерних . Даже так?

Екатерина Багратион . Да.

Меттерних . Но почему? Что за глупое упрямство!

Екатерина Багратион . Ты так и не научился понимать женщин, Клеменс.

Меттерних . О да, когда вместо рассудка действуют чувства — это невозможно понять.

Екатерина Багратион . Просто ты лишён этого чувства, Клеменс.

Меттерних . Какого? Гордости?

Екатерина Багратион . Чувства собственного достоинства.

Меттерних . Ты говоришь это министру иностранных дел Австрийской империи.

Екатерина Багратион . Что очень прискорбно для Австрийской империи.

Меттерних . Я могу просто приказать тебе уехать.

Екатерина Багратион . Вряд ли его величество император России одобрит такой приказ.

Меттерних . Что ж, можно это проверить. Ни один иностранный монарх не смеет указывать нам, кого мы желаем видеть в нашей столице.

Екатерина Багратион . Бонапарт легко решал эту проблему. А у его победителя она и подавно не вызовет затруднений.

Меттерних . Победитель Бонапарта — я! Именно австрийская армия перевесила чашу весов в пользу союзных держав.

Екатерина Багратион . Думаю, его величеству императору Александру будет интересно узнать о таком мнении министра иностранных дел Австрии.

Меттерних . Я всегда подозревал, что ты шпионишь для него.

Екатерина Багратион . О, ты перешёл к оскорблениям! Легко же министру Австрийской империи задевать чувства женщины. Полагаю, разговор закончен.

Меттерних . Если ты мнишь себя главной звездой его венского сераля, то глубоко заблуждаешься, Катрин. Император оказывает знаки внимания графине Софии Зичи, княгине Лихтенштейн, княгине Аурсперг и даже юной графине Сечени. Княгине Эстерхази он отправил предложение о визите сразу, как только узнал, что её муж отлучился на охоту. Когда же её светлость, уступая этой просьбе, прислала ему

список дам, которых император хотел бы видеть во время своего визита, Александр вычеркнул там всех, кроме самой княгини. Неудивительно, что князь Эстерхази очень быстро охладел к охоте и почёл за лучшее вернуться в Вену, что сделало пребывание императора в его дворце весьма кратким...

Александр I врывается в гостиную.

Александр I. Ну это уж слишком! Что вы себе позволяете, князь! После такого вызывают на дуэль или объявляют войну. Выберите, что для вас лучше.

Меттерних склоняется перед императором.

Меттерних. Ваше величество, какая приятная неожиданность!

Александр I. Вы — презренный сплетник, интриган и лжец. Больше всего на свете я ненавижу лицемерие, а вы, князь — его воплощение, настоящий отец лжи!

Меттерних. Позволю себе заметить, ваше величество, что княгине Багратион, возможно, неприятно слышать такие слова в своих апартаментах.

Александр. Вы кичитесь своей ролью в победе над Бонапартом. Но я прекрасно помню, что в то пражское лето вас куда чаще видели в салоне герцогини Курляндской, чем за столом переговоров. И кто знает, как обернулось бы дело, если бы не мои тысяча семьсот дукатов, переданные вам.

Меттерних. Ваше величество, верно, не знает, что Бонапарт предлагал мне десять миллионов франков.

Александр I. Однако деньги от меня вы приняли, князь!

Меттерних. Я боялся оскорбить ваше величество отказом.

Александр I. А может, вы просто поиздержались на подарках герцогине? Ну так знайте, что пока вы строчили её светлости горячие послания, она принимала графа Виндишгреца, лорда Стюарта, сына виконта Мельбурна и даже одного офицера моей армии. Вы посмели попрекнуть меня любезностью к нескольким дамам, а сами потеряли голову от любви к Диане-охотнице, собирающей мужские скальпы. И это — министр иностранных дел Австрии и зять великого Кауница!

Меттерних. Никогда не думал, что подобные сведения могут быть интересны славе вашего величества. Спешу в связи с этим ещё раз обратить ваше внимание, сир, что наша беседа проходит в покоях княгини Багратион.

Александр I. Мне также прекрасно известно, что вы снабжаете деньгами сицилийского короля, настраивая его против Мюрата,

и самого Мюрата, чтобы поддержать его против сицилийского короля. Поразительное коварство и крайне странная манера вести дела. Видимо, напрасно судачат, будто нынешний конгресс разоряет Австрию — вашему казначейству явно некуда девать деньги, не так ли?

Меттерних. Почитаю своей обязанностью, ваше величество, не отвечать на такие вопросы. Со своей стороны не могу не уведомить вас, сир, что князь Талейран не будет в восторге от ваших гарантий сестре Бонапарта и его пасынку касательно сохранения за ними некоторых итальянских владений. Герцог Веллингтон также будет категорически против того, чтобы династия узурпатора имела в управлении какие-либо государства, даже такие незначительные, как княжество Лукка. Впрочем, если ваше величество согласится помочь обедневшей австрийской казне, к примеру, пятью миллионами франков, я возьмусь переубедить герцога в его пристрастиях. Мнением же Франции две наши великие державы могут пренебречь.

Александр I. О, вы открыли дипломатический торг, князь! Боюсь, сумма, названная вами, несоразмерна важности вопроса.

Меттерних. Я потому прошу так много, сир, что не хочу задеть величия России чрезмерно малой суммой.

Александр I. А я потому отказываю, что не хочу навлечь на вас подозрения в корыстолюбии. Сойдёмся на пятистах тысячах, и ручаюсь вам, об этом не узнает ни одна живая душа.

Меттерних. Два миллиона, ваше величество, и можете рассказывать об этом кому угодно.

Екатерина Багратион. Князь, мне право неловко прерывать вас, но я ужасно устала.

Меттерних. Прошу прощения, Кат... княгиня. Я сейчас же откланиваюсь. Мне ужасно жаль за это вторжение и за всё прочее, что сегодня произошло. Ваше величество, примите мои извинения.

Уходит

Екатерина Багратион. Le azioni sono la prima tragedia della vita, le parole sono la seconda.

Александр I. Простите?

Екатерина Багратион. Это по-итальянски, ваше величество. Сначала нашу жизнь омрачают поступки, затем — слова.

Александр I. Не терплю итальянцев. Вы же — русская, княгиня, говорите по-французски!

Екатерина Багратион. Как вам будет угодно, ваше величество.

Александр I. Благодарю за вашу верность, мадам. К сожалению, это наглое вторжение совершенно расстроило мои чувства, и я вынужден оставить вас. Будьте уверены, князь Меттерних горько раскается за свою невоспитанность. Ручаюсь вам за это.

Уходит

Картина пятая

Тот же пейзаж, что и в первой картине. На сцену медленно выходит Талейран, которого поддерживает Доротея де Перигор. Слуга ставит им два стула, те садятся — точно так же, как в первой картине.

Т а л е й р а н . Что за удивительное зрелище мы наблюдаем, милая Люзи! В одном месте собрались два императора, пять королей, одна королева, два наследных принца, три великих герцогини, три принца крови и двести пятнадцать глав княжеских домов. Со времён Вестфальского мира человечество не видело столь блестящего собрания! И каков же итог? Конгресс не движется, он танцует! Тебя, вероятно, изумляют мои слова, ведь я говорил, что большая политика делается не в кабинетах, а в салонах. Но всё хорошо в меру. Здесь у нас целых пятнадцать салонов, в каждом — по оркестру, и везде играют полонез. Даже Бетховен поддался модному поветрию и написал полонез для русской императрицы. Впрочем, что я жалуюсь? У герцога Веллингтона и вовсе танцуют вальс. Вальс! О времена, о нравы! Возможно, ты объяснишь моё недовольство тем, что сам я лишён возможности плясать, но нет, я прекрасно могу себя занять чем-нибудь другим, например, игрой в пикет. Во всяком случае, это лучше, чем ходить по всем балам подряд, как это делает русский император. Говорят, он протанцевал уже тридцать ночей и на приёме у леди Каслри упал в обморок. Царь отличается поразительной лёгкостью нравов. Я не узнаю в нём победителя Наполеона. Да что там, я не узнаю в нём даже своего эрфуртского собеседника. Тот Александр был предельно серьёзен и мгновенно уловил суть моего предложения, когда я явился к нему под покровом ночи. «Сир, — сказал я ему. — Французский народ цивилизован, французский монарх нецивилизован. Русский монарх цивилизован, русский народ нецивилизован. Во имя спасения цивилизации русскому монарху следует войти в союз с французским народом». И теперь, когда русский монарх и французский народ в моём лице спасли цивилизацию от корсиканца, что я вижу? Этот новый Цезарь, покоритель Европы и обольститель сердец, веселится как ребёнок. На балу у прусского короля он танцевал в чёрном домино и без маски, а когда мадемуазель Эме упа-

ла, Александр отправил к ней важного сановника, кавалера орденов святого Владимира и святой Анны, чтобы осведомиться о здоровье. А ведь эта балерина — даже не его любовница! Как можно быть таким бестактным? И всё это — на глазах у жены. Бедная императрица! Александр словно задался целью всячески её унижать. Грубиян Наполеон не обращался с такой бесцеремонностью со своими родственниками, как русский император — со своей супругой. Он изменяет ей чуть ли не в открытую, упиваясь вседозволенностью. Не хочется накликать беду, но этот монарх, кажется, страдает наследственной болезнью отца и деда. Удача вскружила ему голову. Он возомнил себя орудием Господа и чуть ли не мессией Европы. Утром он выстаивает службы в соборе, вечером наносит визиты дамам, а ночами танцует! Поверь мне, Люзи, такая беззаботность, охватившая императора и весь конгресс, не приведёт ни к чему хорошему. Народы ждут решения своих судеб, а политики развлекаются! Даже прусский король при всей меланхоличности своего нрава отбросил привычную сдержанность и заявил мне: «После всего, что Франция заставила нас пережить, мы заслужили сезон удовольствий». Я совершенно изумлён переменами, произошедшими с этими господами. Меттерних штурмует жилище неприступной любовницы, Веллингтон отбивает рил, Александр соревнуется с графиней Вильчек в скорости переодевания, и только Гарденберг, кажется, занят делом, да и то, я полагаю, по причине глухоты. Ты слышала, Люзи, как шутят венцы? Баварский король пьет за всех, вюртембергский король ест за всех, царь любит за всех, а кайзер Франц платит за всех. По моим прикидкам каждый день конгресса обходится австрийской казне в сто тысяч гульденов. Неудивительно, что Меттерних поспешил войти в альянс с англичанами: британские деньги спасли Европу от Бонапарта, спасут и Австрию от банкротства. Меттерних — отличный церемоний-мейстер, но никудышный министр. Он думает, что союзников можно приобрести, раздавая деньги. Между тем всё наоборот: истинные друзья сами рады поделиться с вами деньгами, а не ждут от вас подачек. Поэтому я то и дело принимаю подношения от других. Забавно, что наш законный государь прислал сюда герцога Ноая как бы надзирать за мной. Он боится, что я пойду на чрезмерные уступки нашим оппонентам. Досточтимый король не осознаёт всей трагичности нашего положения. Подобно императору Генриху в Каноссе, мы должны каяться и ждать высочайшего вердикта, который определит нашу судьбу. Вот они, плоды блестящего правления корсиканца! Ты спросишь меня, Люзи, отчего я не гоню герцога Ноая прочь? Очень просто. Если он уедет, король пришлёт другого шпиона, неизвестного мне, а значит, куда бо-

лее опасного. Точно так же я держу при себе герцога Дальберга для разглашения секретов, о которых должны знать все. Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому хороший дипломат импровизирует в том, что надо сказать, и тщательно готовит то, о чём следует молчать. Ныне нас заставляют молчать, а значит, остаётся последнее средство — производить впечатление. Будем затмевать всех блеском своих приёмов. Задача не из лёгких, учитывая размах соперников. Говорят, на семейном празднике у князя Эстерхази подавали столетний токай по сто пятьдесят гульденов за бутылку, а на его супруге сияли бриллианты общей стоимостью в шесть миллионов ливров. Превзойти его будет сложно, но мы попробуем. Нынче вошли в моду живые картины, нам надо придумать что-нибудь из эпохи «короля-солнца» или греческой древности. Ты будешь изумительна в роли Венеры, милая Люзи. А в перерыве королева Гортензия почитает свои сочинения. Я с ней в хороших отношениях, её величество не откажет нам в такой просьбе. Сыр бри, дорогая Люзи, который ты заказала из Парижа, произвёл фурор. Вчера мы как раз спорили с графом Врбна и графом де ла Гард-Шамбона о достоинствах честера и стракино, и тут курьер доставляет нам бри — победитель сразу стал очевиден. Ты спросишь меня, есть ли от всего этого польза для нашей миссии? Конечно: наши котировки растут на глазах. А всё потому, что я — единственный из участников конгресса, который ничего не требует. Пойдём же, милая Люзи, нам нужно крепко подумать, как добиться ещё большего, ни на что не претендуя.

Уходят

Картина шестая

Комната возле зала приёмов, в котором идёт балмаскарад. В центре — ломберный стол, за которым играют в пикет Талейран и Веллингтон. Талейран наряжен по моде семнадцатого века, Веллингтон — в шотландском одеянии. Из зала звучит музыка полонеза, слышен гул голосов.

Т а л е й р а н . Главная ошибка Бонапарта — неутолимая вражда к Англии, герцог. Я всегда был убеждён, что Франции следует быть союзницей Англии, а не её врагом. Две соседние нации, из которых одна основывает своё процветание на торговле, а другая — на земледелии, самой природой призваны к согласию и взаимному обогащению. Пойнт из пяти.

Веллингтон. Принято. Почему же при такой любви к Англии вы оказывали услуги царю, а не нашему правительству, князь? Покойный Питт был прав, когда стращал нас русскими. Если эти византийцы захватят Париж, говорил он, они подчинят всю Европу, а мы останемся на одной овсянке. Так и произошло. Ваш Бони наломал дров, и теперь мы с Меттернихом пытаемся спасти то, что осталось от Европы.

Талейран. Я потому имел дело в русском императором, что вы, герцог, были недосыгаемы. Ныне обстоятельства изменились. У меня пять очков. Кварта.

Веллингтон. Слишком поздно. Вы всё ещё пытаетесь играть роль министра «короля-солнца», но на престоле у вас всего лишь Луи Восемнадцатый. Какой высоты кварта?

Талейран. Дама. Полагаю, герцог, правительство вашего государя слишком проникнуто сознанием своего величия, чтобы отказывать в таковом же нашему правительству. Министры Людовика Восемнадцатого по крайней мере не имеют обыкновения путать личные дела с государственными. Взгляните на Меттерниха. Это же Скапен от дипломатии. Его интересуют только празднества и живые картины. К пустякам он относится серьёзно, а серьёзные вещи считает пустяками.

Веллингтон. Не принято. Туз. Кроме того, трио. У меня семь очков. Мнение Меттерниха не зависит от размера подношений. А о вас судачат, что вы продали всех, кто вас купил. Ходят слухи, что даже с Бурбонов вы стрясли двадцать восемь миллионов за возвращение им престола.

Талейран. Это не более справедливо, чем утверждение, буд-то своей карьерой вы обязаны старшему брату, герцог. Не верьте сплетням, распускаемым завистниками. Впрочем, я готов признать, что нечто необъяснимое во мне приносит несчастье всем правительствам, которые начинают мной пренебрегать.

Веллингтон. О двадцати восьми миллионах толковал Баррас. А Фуше выражался о вас в столь оскорбительном тоне, что я не смею повторить.

Талейран. Три короля. Баррас гнусно лжёт. Я бы никогда так не продешевил, герцог. А Фуше до сих пор не может простить мне, что я выскользнул из его рук и не попал в проскрипционные списки, куда он вносил врагов и друзей, не забыв ни одного. Знаете ли вы, герцог, что он голосовал за казнь Людовика Шестнадцатого? Когда Бонапарт напомнил ему об этом, он лишь цинично ответил: «Это была первая услуга, оказанная мною вашему величеству».

Веллингтон. Не принято. Четырнадцать дам. У меня четырнадцать очков. Начинаю с двадцать одним очком. А вы, князь, одобрили расстрел герцога Энгийенского.

Талейран. Начинаю с шестью очками. Я как мог старался отвести руку судьбы от этого несчастного. Но моё мнение в глазах Бонапарта ничего не стоило, впрочем, как и мнение любого другого. Единственный упрёк, который могу себе поставить — что я не ушёл в отставку после того ужасного дня. Но если бы я так поступил, то возможно, не играл бы сегодня с вами в карты, герцог. Это были мрачные времена, и если моя вина состоит в том, что я выжил, то я покорно её принимаю. Быть может, именно этот опыт научил меня не быть легкомысленным. К сожалению, на этом конгрессе слишком многое зависит от лиц, которые не видят разницы между угождением любовнице и службой своему монарху. Кстати, обратили ли вы внимание, что княгиня Багратион начала устраивать приёмы строго по понедельникам — тогда же, когда и князь Меттерних? Я вижу в этом явные признаки альянса её светлости с императором Александром. Судьба Европы зависит от настроения нескольких женщин! Вот до чего мы дожили, герцог.

Веллингтон. Ваше замечание справедливо, князь, но я как военный привык обозревать всё поле боя, а не только отдельные его участки. А потому не могу не обратить внимание, что вы прибыли сюда без супруги, зато в сопровождении прелестной графини Перигор, жены вашего племянника, если не ошибаюсь. Это наблюдение заставляет меня думать, что присутствие красивых женщин по какой-то причине необходимо дипломатам.

Талейран. Любопытное наблюдение, подкрепляемое тем, что и вы, герцог, предпочли оставить в Париже вашу очаровательную супругу. Лышу себя надеждой, что ваш поступок вызван боязнью отяготить герцогиню трудностями пути, а не тем фактом, что Вену почтила своим присутствием блистательная мадемуазель Уилсон, чья слава гремит по обеим берегам Ла-Манша.

Веллингтон. Ха-ха, какое интересное замечание. Будь мы в Великобритании, я бы предложил вам с Меттернихом основать нечто вроде Клуба весёлых джентльменов — под августейшим покровительством царя и принца-регента.

Талейран. До тысяча семьсот восемьдесят девятого года я уже состоял в одном весёлом обществе, большинство членов которого позднее гильотинировали. С тех пор предпочитаю действовать в одиночку. Но мы забыли об игре, герцог.

Веллингтон. Вы правы, князь. Женщины так отвлекают...

Картина седьмая

Бал-маскарад. Гости в вычурных одеждах и масках танцуют полонез. На переднем плане Гарденберг в образе Одина выступает с Доротеей Перигор в платье пастушки, а Екатерина Багратион в костюме боярыни — в паре с Меттернихом, наряженного под турецкого пашу.

Меттерних. Как я и предполагал, Катрин, ты вошла в союз с царём против меня. Это крайне огорчительно. Ты прекрасно знаешь, что Александр очень непостоянен в своих симпатиях. Даже Наполеон считал, что русским недостаёт стабильности во взглядах и принципах. Я лично слышал это от него.

Екатерина Багратион. Уж кто бы говорил, Клеменс. Разве не ты развивал передо мной мысль, что политика должна быть гибкой? Ты называл это мобильностью, но твой секретарь выражался проще: держать нос по ветру. Я прекрасно помню, как ты лебезил перед Бонапартом. Он даже подарил тебе несколько фарфоровых тарелок. «Сервиз за сервис» — так, кажется, выразился принц де Линь? Его высочество очень меток в определениях.

Меттерних. Ты несправедлива, Катрин. Я всегда держу слово. Чего не скажешь о царе. Он сыпет обещаниями направо и налево, но ни одного пока не выполнил. Датский посол, заболев разлитием желчи, говорил мне, что при коварстве Александра этим недугом скоро будет страдать весь конгресс...

Меняются парами. Теперь на первом плане Гарденберг, танцующий с Екатериной Багратион.

Гарденберг. Мой государь, княгиня, в высшей мере ценит преданность царя нашему союзу. Датский посол был так поражён твёрдостью его величества, что от расстройства заболел, ха-ха!

Екатерина Багратион (*громко*). Уверена, канцлер, Австрия должна будет смириться с утратой влияния в Германии. Быть может, ей оставят Италию, но я отнюдь не уверена, что маршал Мюрат станет покорно выслушивать указания из Вены. Я прекрасно знаю его нрав, а ещё лучше — нрав его супруги.

Гарденберг. Мне радостно видеть столь ослепительную союзницу общегерманского дела.

Екатерина Багратион (*громко*). Полагаю, Австрии давно пора уступить первенство Пруссии в германских делах. Я воспитываю дочь в этом убеждении и уже сейчас присматриваю ей партию среди ваших дворян. Надеюсь, ваш государь посодествует мне в этом.

Меняются парами

Меттерних. Катрин, ты просто убиваешь меня. Зачем ты так жестока?

Екатерина Багратион. А ты уже заказал портрет у Изабэ, Клеменс? Он сделал для меня миниатюру с розами, такая прелесть! Между прочим, я встретила у него в Леопольдштадте принца Евгения. Мы замечательно провели время: принц рассказывал мне о балах в Лувре и о танцевальных вечерах в особняке принцессы Зальм... Оказывается, принцесса была хорошо знакома с его отцом! А завтра в Пратере конная карусель. Ты не участвуешь? Я же поеду слушать орфееву гармонию.

Музыка умолкает. Дамы делают реверанс зрителям. Екатерина Багратион уходит, Меттерних бросается за ней, но тут слуга подносит ему записку. Меттерних читает и, всплеснув руками, убегает за сцену. Екатерина Багратион и Доротея Перигор берут под локти Гарденберга и медленно удаляются.

Екатерина Багратион (*громко*). Кажется, министра отвлекли неотложные дела.

Гарденберг. Уверен, князь опять помчался к герцогине де Саган. Он проводит у неё каждое утро, а иногда и вечер, и это ужасно. Представьте, на днях Меттерних опоздал подписать договор с баварским королём, который уже согласился уступить Австрии часть своих владений в обмен на итальянские, но успел передумать, пока министр сидел у герцогини, ха-ха!

Уходят

Картина восьмая

Апартаменты Вильгельмины де Саган. Решительным шагом входит Меттерних в наряде турецкого паши, но без маски.

Меттерних (*потрясая запиской*). Вильгельмина, как это понимать? Что за новые игры? Ты уже начала брать деньги от иностранных дипломатов? Вильгельмина, я не уйду. Нам надо объясниться.

Выходит Вильгельмина де Саган.

Вильгельмина де Саган. Клеменс, ты решил вообще не покидать моих покоев? О, какой экзотический вид! Тебе идёт!

Меттерних протягивает ей записку. Вильгельмина де Саган берёт её и читает вслух:

«Ваше сиятельство! Одна высокопоставленная особа, пребывающая с вами в ссоре, обещает вам миллион флоринов и благоволение высо-

кородной дамы, столь для вас желанной, если вы измените свою позицию в отношении Саксонии и Польши».

Меттерних *(отбирая у неё записку)*. И что ты скажешь на это?

Вильгельмина де Саган. Не представляю, кто это написал. Какая-то грязная интрига.

Меттерних. А я вот представляю. Я много мог ожидать от царя, но не такого. Ты уже взяла у него деньги? Только не лги, я всё равно узнаю правду.

Вильгельмина де Саган. Твои подозрения глубоко оскорбительны, Клеменс.

Меттерних. Любопытно, на что он рассчитывал, гарантируя мне твоё благоволение? Впрочем, царь раздал уже столько беспочвенных обещаний — одним больше, одним меньше...

На сцену с той же стороны, откуда вышла Вильгельмина де Саган, врывается Александр I.

Александр I. Что вы себе позволяете, князь! О каких беспочвенных обещаниях вы говорите? *(Осекается)* О, я с трудом узнал вас. Уже готовитесь сменить подданство? Весьма предусмотрительно, ха-ха!

Меттерних *(кланяясь)*. Ваше величество! Какая... неожиданность.

Александр I. Если я пока не выполнил всех своих обещаний, то лишь из-за ваших происков. Ни от одного слова я не отказываюсь.

Меттерних. Ваше величество... Вильгельмина... Я поражён.

Вильгельмина де Саган. Поскольку ты не смог добиться того, о чём я тебя просила, Клеменс, мне пришлось взять дело в свои руки.

Меттерних. Во время наших импровизированных переговоров в апартаментах княгини Багратион его величество изволили отказать мне в твоей просьбе, Вильгельмина.

Александр I. Вы даже не упоминали о каких-то просьбах герцогини, князь. Но теперь, выслушав её светлость, я проникся её горем и готов приложить все усилия, чтобы воссоединить дочь с матерью. Ручаюсь вам, герцогиня, не пройдёт и месяца, как вы увидите юную Густаву.

Вильгельмина де Саган. О, ваше величество, вы истине ангел!

Меттерних. Ну, если его величество ручается, это, несомненно, меняет дело.

Александр I. Именно так!

Меттерних. Столь могущественный государь, как вы, не разбрасывается словами, ваше величество. Уверен, обещания, данные принцу Евгению Богарне, княгине луккской, датскому королю и многим другим, тоже дождутся своего осуществления.

Александр I. Разумеется. Если вы не будете мне мешать, князь.

Меттерних. Как может министр иностранных дел Австрии помешать в чём-то русскому императору и победителю Бонапарта?

Александр I. Конечно, никак. Если бы не правительство Англии, во всём с вами согласное, мы бы уже давно разрешили все недоразумения. Для меня загадка, чем вы так очаровали герцога Веллингтона, что он взялся отстаивать австрийские интересы как свои собственные. Впрочем, его светлость обнаруживает в себе заносчивость, недопустимую для умного человека. Герцогу мерещится, будто именно он разгромил Бонапарта. Держу пари, если бы он хоть раз встретился с узурпатором на поле боя, тот быстро сбил бы с него спесь.

Меттерних. Вполне вероятно. Спешу поздравить ваше величество с новой победой, которой несомненно будут восхищаться во всех европейских салонах. Вами взят курляндский бастион, столь долго отбивавший наш приступ. Выражаю горячее желание, чтобы тактический успех не обернулся стратегическим поражением, как бывало у упомянутого вами Бонапарта. Напоследок позволю себе полюбопытствовать: не из ведомства ли вашего величества вышел сей документ?

Меттерних протягивает царю записку. Тот её читает и с омерзением отбрасывает.

Александр I. У нас довольно средств добиваться своего и без столь низких приёмов, князь. Чтобы убедиться в этом, достаточно отправить кого-нибудь в Польшу пересчитать наши войска.

Меттерних. Разумеется, ваше величество. Прошу прощения за это вторжение. Ваше величество, герцогиня, позвольте откланяться.

Уходит

Картина девятая

Тот же пейзаж, что и в первой картине. На сцену под руку с Доротеей де Перигор медленно выходит Талейран. Вслед им слуга выносит

два стула, Талейран и Доротея садятся — в точности так, как уже было дважды.

Т а л е й р а н . На этом конгрессе, моя драгоценная Люзи, звучат благородные речи о восстановлении общественного порядка, о возрождении политической системы и утверждении прочного мира, основанного на справедливом распределении сил, но в действительности победители делят достояние побеждённого. Судьба Наполеона воистину служит лучшей иллюстрацией его же замечанию, что от великого до смешного — один шаг. Ещё вчера властитель почти всей Европы, ныне — правитель единственного островка у итальянского берега. Я слышал, мадам мать императора, отличавшаяся ужасной скупостью, оправдывала свою чрезмерную бережливость тем, в старости на её попечении окажется несколько королей и королев. Что ж, так и произошло. Одна только Каролина держится за престол, угождая Меттерниху. Если бы не она, не видать Мюрату неаполитанской короны. Эта хорошенькая женщина носит голову Кромвеля! Но и её будущее представляется мне незавидным. А Франция, бедная Франция лежит у ног терзающих её хищников. И всё же я тешу себя надеждой, что наше положение скоро изменится, милая Люзи. Франция — слишком большая страна, чтобы лишаться влияния, а великие державы чересчур преисполнены чувства собственной важности, чтобы идти на взаимные уступки. Этот грандиозный банкет, на котором мы имеем честь с тобой присутствовать, кажется, приближается к концу, и на десерт будут подавать пушечные ядра. В таких условиях мнение Франции вновь обретёт вес. Надо только подождать, когда представители держав дозреют до понимания этого факта. О, я уже предвкушаю этот торг! На переговорах, моя добрая Люзи, следует сразу отвергнуть все условия противника, чтобы принятие некоторых из них он посчитал за свою победу. При этом уступать надо прежде, чем тебя принудят силой, пока ещё можно поставить уступчивость себе в заслугу. Ты спросишь меня, чем же мы занимаемся, пока торг не начался, и что я пишу в депешах, которые отсылаю королю. Открою тебе этот маленький секрет. Я старательно сообщаю его величеству всё, что мне удаётся разузнать любопытного; если же ничего такого нет, я придумываю собственные новости, которые опровергаю со следующим курьером. Таким образом я не испытываю недостатка в корреспонденции...

Быстрым шагом входит Меттерних

М е т т е р н и х . Какая приятная встреча, князь! Я искал вас. Видите ли, с некоторых пор мне кажется, что участники этого конгресса совершили ошибку, не приняв Францию в свой концерт. К сожалению,

ваша великолепная речь на открытии заседаний, когда вы развивали мысль о правах династий, не была по достоинству оценена, и переговоры направились по ложному руслу. Пришло время исправить эту несправедливость и принять во внимание интересы Франции наравне с интересами других держав. Я предлагаю вам войти в альянс с Австрией и Англией против России и Пруссии. Так мы восстановим равновесие наций и вернём Европу на тот путь, по которому она шла до тысяча семьсот восемьдесят девятого года.

Талейран преображается: он выпрямляет спину, на его лице сияет улыбка.

Картина десятая

Тот же пейзаж, что и в первой картине. По сцене туда-сюда бегают газетчики, объявляющие новости.

Г а з е т ч и к и . Бонапарт бежал с острова Эльбы!

Корсиканец высадился во Франции!

Указ Людовика Восемнадцатого: «Любой, кто окажет содействие предателю и бунтовщику, будет казнён».

Все дороги контролируются королевскими войсками. Пути к отступлению отрезаны!

Муниципальные работники Парижа выражают поддержку его величеству и всячески осуждают иностранца, который ступил на берег Франции в тяжёлый для государства момент. Нет тирании Наполеона!

Солдаты бегут из армии Бонапарта. Жители Гренобля и Марселя вывесили в окнах королевские флаги и славят монарха!

Кассационный суд Парижа выразил возмущение безумной авантюрой врага Франции и всего мира.

Обращение маршала Сульта к армии: «Бонапарт настолько презирает нас, что считает способными предать своего законного правителя».

Судьи департамента Сена единодушно осуждают действия узурпатора.

Король Людовик Восемнадцатый в сопровождении принцев покинул Париж. Его императорское величество Наполеон Первый прибыл в свой дворец в Тюильри. С ним вместе в Париж вошли те самые войска, которые были посланы, чтобы его остановить.

На сцену с одной стороны выходят Меттерних, Веллингтон и Талейран, а с другой — Александр I и Гарденберг.

Александр I. Ах, вот и наши друзья-обманщики! Я знал, что дипломаты — лицемерный народ, но вам, господа, удалось меня изумить. Бонапарт был так любезен, что прислал мне из Парижа союзный договор, который вы тайне заключили против меня и прусского короля. Его величество Людовик Восемнадцатый в такой спешке убежал из своей столицы, что забыл прихватить его с собой. Мир ещё не видел подобного коварства! Обсуждая со мной переустройство Европы, вы готовились обнажить против меня мечи! Что вы на это скажете, господа?

Веллингтон. Ваше величество, правительство Великобритании не чувствует себя обязанным отчитываться в своих действиях перед кем-либо, в том числе перед монархом столь великой державы, как Россия.

Александр I. О да, вы на своём острове всегда думаете отсидеться при любой опасности! Но вы упустили из виду, что Россия куда ближе к вашей Индии, чем Франция, а значит, мне будет легче добраться до неё, чем Бонапарту. Поразмыслите об этом, герцог!

Веллингтон. Моё правительство, несомненно, примет это к сведению. К сожалению, ваше величество, я не могу продолжить эту увлекательную беседу, так как должен отбыть к войскам в Голландии. Разрешите откланяться.

Уходит

Александр I (*Меттерниху*). А вас, князь, я вызову на дуэль!

Меттерних. Это невозможно, ваше величество. Неужели вы верите, что у меня поднимется рука на августейшую особу?

Александр I. Что ж, тогда мы с королём прусским будем действовать без оглядки на Австрию. (*Гарденбергу, громко*) Считайте, что Саксония ваша, канцлер. А Польшу я забираю себе.

Меттерних (*громко*). Спешу уведомить ваше величество, что я уже подписал с бароном Гарденбергом договор, согласно которому Пруссия получает северную Саксонию и Вестфалию в обмен на поддержку Австрии в польском вопросе.

Александр I (*Гарденбергу*). Как, барон, и вы против меня?

Гарденберг. Простите, ваше величество, я не расслышал ваших слов.

Александр I. Какое невероятное, невысказанное предательство! Я никогда не поверю, что мой брат король Фридрих Вильгельм одобрил ваш поступок, канцлер.

Талейран. Ваше величество, позвольте мне уточнить, что все эти договоры заключались до новой узурпации власти Бонапартом. В

изменившейся обстановке союз с Австрией уже не столь приятен Франции, как дружба с Россией.

Меттерних (*Талейрану*). Вот как? Вы — негодный человек, князь! На нашем договоре ещё не просохли чернила, а вы уже готовы отречься от него. Теперь я понимаю чувства Бонапарта, который жалел, что не повесил вас на решётке Карусельской площади.

Талейран. Я не чувствую себя столь непринужденно, как вы, князь: вы руководствуетесь своими желаниями и интересами, а я вынужден следовать принципам легитимизма. Принципы не могут быть предметом сделки.

Меттерних. Принципы? Да вы их меняете как белье! Уверен, вы потому так презираете людей, что много изучали самого себя. Наверняка это вы передали мне ту записку, из-за которой произошла моя размолвка с герцогиней де Саган. Будьте уверены, я отплачу вам тем же. Я слышал, мать герцогини бежала из Парижа и вскоре прибудет сюда. Уж я постараюсь донести до неё все подробности ваших отношений с графиней де Перигор. Вашей бывшей любовнице, несомненно, будет интересно узнать, что её место рядом с вами заняла её собственная дочь. Свет не видел подобного скандала!

Талейран. Так уж и не видел! А ваша пассия разве не родила от Армфельта в бытность его любовником той же герцогини-матери?

Александр I (*Талейрану*). Как, князь! Вы — и графиня де Перигор? Она же годится вам во внучки. Не говоря уже о её браке с вашим племянником.

Талейран. Ваше величество, если позволите, мне бы хотелось обсудить вопрос новой коалиции против Бонапарта.

Александр I. О каких коалициях может идти речь со столь непостоянными союзниками? Отныне у меня нет доверия к вам, господа. (*Гарденбергу, громко*) Особенно вы, канцлер, меня разочаровали.

Гарденберг. Я совершил ошибку, ваше величество, признаюсь в этом. Мой государь ничего не знал о тайных переговорах с князем Меттернихом. Теперь, когда Бонапарт снова на престоле, я вижу ужасные последствия своего неверного шага. Поверьте, ваше величество, я страшно корю себя за необдуманность. И чтобы показать вам искренность моего раскаяния, открою две тайны. Первая: это я передал князю Меттерниху записку, вызвавшую охлаждение его отношений с герцогиней де Саган. Вторая: до меня дошли сведения, что князь Меттерних подбивал княгиню Багратион возобновить отношения с принцем Вюртембергским, её прежним кавалером, чтобы сорвать его помолвку с вашей сестрой, великой княгиней Екатериной.

Александр I (*Меттерниху*). Как это подло, князь!

Меттерних (*Гарденбергу*). Так вот кто причина моих бед! Но зачем вы послали ту записку?

Гарденберг. Интересы Пруссии требуют присоединения Саксонии. Я защищал эти интересы тем способом, который подсказывал характер данного конгресса.

Меттерних (*громко*). Считаю столь блистательную тираду счастливым признаком улучшения вашего слуха, канцлер. Так значит, вы всё-таки подкупили герцогиню?

Гарденберг. Конечно. Но я не предусмотрел, что его величество император России сделает то же одновременно со мной.

Талейран. Господа, всё это необычайно любопытно, но обстоятельства требуют от нас обсудить другие, более насущные, вопросы.

Александр I (*Меттерниху*). Как жаль, что вы не ответите на мой вызов, князь! Вы нанесли мне немислимое количество оскорблений, а теперь ещё и взяли за мою несчастную сестру.

Меттерних. Смею предположить, ваше величество, что сведения барона Гарденберга происходят из того же источника, из которого и мои подозрения насчёт внезапного перемещения в Вену Восьмого кирасирского полка. Я решительно удивлён, какая неотложная необходимость потребовала присутствия этого полка в нашей столице.

Александр I. Полк переместили, потому что в Вену приехал мой брат Константин, который, как вам хорошо известно, является его шефом.

Меттерних. Мы оба также знаем, что герцогиня де Саган давно испытывает слабость к командиру этого полка графу Виндишгрецу. Не могу не поразиться такому необычному совпадению.

Александр I. Ха-ха, как забавно наблюдать у министра иностранных дел столь романтические переживания! Не закончить бы вам как юному Вертеру!

Талейран. Господа, я настоятельно призываю вас подумать о деле!

Гарденберг. Что вы сказали, князь? Повторите, прошу вас!

Общий гвалт. Все расходятся.

На сцену в разных сторон неспешно выходят Доротея де Перигор, Вильгельмина де Саган и Екатерина Багратион.

Доротея де Перигор. Дамы, события во Франции требуют решительных действий. Мы видим, что стороны продемонстрировали полную неспособность договориться. В таких обстоятельствах

судьба возложила на нас обязанность привести этот конгресс к счастливому окончанию. Думаю, вы согласитесь, что другого выхода нет.

Вильгельмина де Саган. Пожалуй, ты права, сестрица.

Екатерина Багратион. Поддерживаю вас, графиня.

Доротея де Перигор. Итак, я предлагаю оставить Лейпциг за Саксонией, а Пруссии передать Торн, Позен и часть Ганновера. Оставшуюся часть герцогства Варшавского признать за Россией, но на правах личной унии. Вернуть Австрии Галицию, утерянную в пользу России пять лет назад, и те земли, что отошли тогда Баварии, но Краков и Майнц сделать вольными городами. Кроме того, отдать Австрии все прочие владения, утраченные по Шёнбруннскому миру, как то: Иллирию, Тироль и Ломбардию. Австрийские Нидерланды объединить с Голландией, Норвегию передать Швеции, возродить Папское государство, в Парме, Модене и Тоскане восстановить легитимных монархов...

Вильгельмина де Саган. О, значит, сестрицу Бонапарта оставить с носом? Хорошо! А что с другой сестрой? Той, которая в Неаполе.

Доротея де Перигор. Разве ты не слышала? Мюрат объявил войну Австрии. Значит, Каролину тоже прочь.

Екатерина Багратион. Если принцип легитимизма внедрять повсеместно, то логично будет возродить в Германии Священную Римскую империю.

Доротея де Перигор. Нет, это вызовет множество юридических казусов: хотя бы отмену Австрийской империи и обратное переименование кайзера Франца Первого во Франца Второго. Лучше на месте Рейнского союза создать нечто очень похожее и дать ему название, допустим, Германского союза.

Екатерина Багратион. А конституция?

Доротея де Перигор. Конституцию пока придётся отложить...

Разговор слышен всё хуже, женщины медленно уходят со сцены.

Занавес

ПОВЕСТЬ

Тимофей Николайцев

Крым, Армянск

Последний день Смещения

Антон так и не понял — сам он споткнулся и упал, или это капитан скомандовал "стой" — и они присели, а потом повалились наземь. Голова уже напрочь отказывалась соображать. Крайняя степень усталости. Тело еще можно было заставить двигаться, а вот мысли заставить ворочаться — уже вряд ли. Ощущения притупились, сам себе Антон казался похожим на сверло, которое преодолело деревяшку и уткнулось в бетонную стену — он бодро изображал какие-то действия, не продвигаясь при этом ни на миллиметр. Отчаянно ныло затекшее плечо. Антон сделал вялую попытку его размять. Пальцы были как деревянные — вминались, словно в тесто. Проклятая "дура", подумал Антон, расплющила все плечо.

— Не спать, — жестко предупредил капитан. — Увижу, кто носом клюет...

Ой, да не увидишь, снова подумал Антон. Темнота была — хоть глаз коли. Кошмарные перепутанные звезды сияли ослепительно, но вхолостую. Их свет был словно нарисован на твердом небе. Люди в этом свете виделись смутными силуэтами. Просто не верилось в их существование.

Антон ощупал землю вокруг себя. Сухая трава пружинила под ладонями. Какая-то осенняя лужайка что ли? Или поле? Он надавил сильнее и ощутил тогда твердость и холод подмороженной земли. Ни черта было не разобрать. Земля холодная — это ведь плохо. Застужусь на ней, спину еще прихватит... Антон с усилием приподнялся, подняв зад от земли. Застыл, покачиваясь, на корточках. Сидеть так было труднее, но застудить спину или колени — намного хуже. Если прихватит поясницу, он просто не дотащит "дуру" до следующего привала. Он снова пошарил ладонями вокруг. Зачехленная "дура" нашлась неожиданно далеко, Антон даже испугался мимолетно, что чуть ее не потерял — придвинулся вплотную к шуршащему брезентовому боку, осторожно, чтобы не звякнуть металлом, обнял за кожу ствола.

Потом силуэт капитана придвинулся к нему вплотную — Антон послушно округлил глаза и показал, что не спит. Капитан кивнул и неслышно скользнул дальше, к Спичкину. Антон прислушался, раздастся ли звук пощечины... но не раздался. Спичкин тоже не спал. Антон не видел его в темноте — «дура» сейчас была как раз между ними. Капитан обошел ее, ощупав мимоходом — проверил, не уронили ли затвором вниз. Капитан — все-таки железный, подумал Антон. Сверхчеловек какой-то... Антон силился припомнить — видел ли он капитана спящим? Хоть один раз? Видел ли его просто отдыхающим, сидящим без движения? Гофман уже объяснял ему, что это необходимо — обходить каждого на марше. Необходимо обходить. Не просто пунктик такой, и не стремление задавить панику рутинной. Однажды, сказал Гофман, так вот потеряли одного гражданского. Шли через африканский тростник, кому-то почудилось движение в траве. Остановились и залегли, а того моментально сморило. Уже стало инстинктом — легли, значит можно спать. Ночь была такая же, как эта — ярчайшее небо и полная непроглядь впереди. Да еще и тростник. Все поднялись, а он не поднялся, только при перекличке отозвался машинально. Так и ушли...

Потом искали — бесполезно. Всё ведь меняется. Ни направлений не существует, ни ориентиров. То, что вне пределов видимости — изменчиво, текуче, как ртуть. Когда пошли назад, на поиски — и тростника-то уже не было. — А что было? — сразу же спросил Спичкин. — А какая разница? — удивился Гофман. Но Спичкин запросил и заканючил, дескать — ну очень важно, нужно же понять алгоритм Изменений... и так далее, легче было ответить, чем отвязаться, но Гофман уже и не помнил, что оказалось на месте того тростника. — Не помню, — раздраженно сказал Гофман, — что я тебе, архив ходячий, все запоминать? Вроде кусты какие-то, колючие, тля... — В отличии от капитана, Гофман избегал напрямую материться, подбирая слова созвучные, что удивляло Антона и очень ему импонировало, но полностью обойтись без неопределенных артиклей всё же был, видимо, не способен. Антон уже привык. А Спичкин не отставал. — А место точно было то же самое? Легко ведь в темноте направление потерять. Чуть-чуть не туда повернули и все... — Дурак ты, — сказал ему Гофман. — Туда-не туда... Эх ты, нетудыкомка... — А сколько времени прошло, вернулись сразу же? Далеко ли успели уйти? Никак не могу понять зависимость Изменений — от времени или от удаленности от наблюдателя... — Минут пятнадцать-двадцать, — сказал Гофман, подумав, — тысячу шагов без малого. — И что, — спросил Спичкин, — никаких промежуточных измене-

ний? Ну там — остатки тростника, например, или обрывки какие-нибудь... солома... Нет?

Антон вспомнил все это и боролся теперь со сном, еле ворочая чужной головой.

Спичкин, конечно, неисчерпаем. Сколько дней прошло с того разговора? Сколько тысяч шагов? Сколько тростника, песка, снега, пахотных угодий. Всякого леса сколько...

Сейчас под ногами осенняя лужайка. Что будет дальше? Что было до этого? Полнейшая чехарда в голове, не вспомнить и не угадать. Мозг всего этого не умещал.

Отрадно хоть, что осталось в мире что-то неизменное. Капитан — железный, Гофман — вполне добродушный дядька, когда не поднимает автомат к плечу, а Спичкин... Спичкин — неисчерпаем.

Антону показалось вдруг, что вокруг слегка посветлело. Он уже видел Спичкина целиком. Тот сусликом окостенел на корточках. Дужки очков разъехались, и от этого лицо выглядело перекошенным. Хрустнула трава под подошвами, Спичкин даже не шелохнулся — это Гофман, чья очередь была идти замыкающим, прошел крадучись вдоль их маленькой колонны. Автомат его качался на ремне — обостренным от недосыпа обонянием Антон уловил густой запах металла и смазки. На всякий случай он снова округлил глаза, но Гофман даже не посмотрел в его сторону, пару шагов спустя он снова превратился в неосязаемый силуэт — и силуэт капитана придвинулся к нему вплотную. Оба присели.

— Что там? — чуть слышно спросил Гофман.

Капитан помедлил с ответом.

— Точно не знаю. Глазами ничего не разглядеть. Но что-то там такое начинается впереди...

— Живое? — шепот Гофмана подобрался и отвердел.

— Нет... — капитан снова помолчал, словно перекатывая во рту камушки мыслей. — Странно ведь такое чувствовать — все никак не привыкну...

— Изменения? — сказал Гофман.

— Да, точно... Изменения...

Они оба замолчали, вслушиваясь и вглядываясь в темноту.

— Ну так что?

— Не знаю, — повторил капитан. — Не знаю. Очень сильные Изменения, очень. словно что-то чужое впереди. Не хочется туда идти. Странное чувство. Впереди и слева. словно шершавое на вкус. Я так вижу.

Он вопросительно посмотрел на Гофмана. Тот хмурился, соображая. Конечно, "я так вижу" — это не довод. Столько тащились сквозь темень, устали, как собаки... и вдруг — "я так вижу". Что ж теперь — назад поворачивай? Антон подумал, что вот он — так бы и сделал. Добрести до ближайшего Изменения... господи, пусть это будет обычный подмосковный березняк с толстенным матрасом из прелых листьев... зарыться в него с головой и заснуть. Ну ладно, пусть не березняк... березняк — это слишком жирно, это как подарок... пусть будет хоть тростник, хоть колючий травяной ворс саванны, что угодно, лишь бы заснуть. Выставить караул, он даже согласен караулить первым, но потом — спать. Уйти бы только с этого мерзлого поля... Надо же, воздух над ним умеренной температуры — когда стоишь вроде бы и тепло... но ляжешь — и околеешь за ночь. Утром — точно уж не подняться.

Это была идея Спичкина — одна из очередных его безумных и крайне утомительных идей. Многодневный безостановочный марш. Проверить подвержены ли Изменениям географические координаты или же они затрагивают только ландшафт. Сохранились ли на планете часовые пояса? Он собирался измерять в пути точное время рассвета и относительную высоту каких-то звезд, но Антон так ни разу и не застал его за этими измерениями. Вообще вся эта затея была жидкой кулебякой. Пустые спекуляции вместо расчетов, гипотезы одна невероятнее другой... и каждый раз все дальше от науки, всё ближе к балагану. Слишком много "допустим", слишком много "а вдруг". Капитан клюнул на это только от отчаяния. Нужно было что-то делать, как-то решать ситуацию или хотя бы понять ее. Военные так устроены — им необходимо действие. Бездействовать можно только выжидая момент.

Сейчас он молчал, лихорадочно соображая.

— Мы должны двигаться прямо, — напомнил Гофман. — Мы так уловились.

Капитан молчал.

— Мы можем двинуться в обход, — сказал Гофман. — Но я не гарантирую, что выйду на прежнее направление, если трасса будет ломанной. Мы можем сделать пологую правильную дугу, тогда я гарантирую направление, но это ведь займет много часов. Вряд ли мы столько выдержим. Но в любом случае — надо двигаться. Ночевать здесь мы не сможем.

Капитан молчал.

— Я могу пойти один и посмотреть, что там... — глухо сказал Гофман.

— Нет, — отрезал капитан. — Ни в коем случае. Мы держимся группой. Это самое главное. Иначе опять потеряем друг друга.

Правильно, устало подумал Антон. Это единственное, что мы знаем наверняка. Держаться вместе. Группой. Иначе не найдем друг друга. Он представил вдруг, что опять остался один. Так уже было. Темный метущийся страх, волнами поднимающийся запах опасности. Он мчался, не разбирая дороги... сердце колотилось так, что казалось ребра сейчас треснут и рассыплются. И потом — эти Черные. Антон уже видел одного — днем, с пологой вершины кургана. Черный не делал ничего, он просто стоял и смотрел вдаль, Антон сумел различить только тыльную сторону его далекой фигуры, но и этого оказалось достаточно. Антон помнил ужас, который ощутил при виде этой фигуры... помнил, как сполз с кургана и побежал куда-то... а потом ничего больше не помнил... До самого последнего момента своего одиночества — только панический бег, только цепкие касания ужаса. Спичкин рассказывал, ухмыляясь при этом — когда Антон, шатаясь и падая, вышел на их группу — то плакал, как заблудившийся ребенок при виде взрослых. Скорее всего, он говорил правду. Так оно и было. Томительно страшным было даже представлять такое — остаться в одиночестве. Лично он не отойдет от группы ни на шаг.

— Мы идем вместе, — твердо повторил капитан, к огромному его облегчению. — Идем вперед. Порядок движения прежний. Дистанцию сокращаем до трех шагов. По команде сокращаем до предела — рука на плече впередиидушего. Если... — он помедлил, словно собираясь с мыслями, — если препятствие окажется труднопреодолимым... движение прекращаем, ждем рассвета. Всем ясно? Встали!

Антон выпрямился, обнаружив, что его здорово покачивает. Утвердившись на ломких, как травяной стебель, ногах, он снова нагнулся, подхватив "дуру" за ствол локтевым сгибом, крихтя взвалил на плечо. Была его очередь нести ствол, Спичкину досталась тяжеленная станина, и по тому, как его болтало, можно было догадаться, что никуда они уже не пойдут. Ни вперед, ни в сторону. Проковыляют десяток шагов и рухнут — в помороженную траву носом. Сколько же она весит? Килограммов шестьдесят неудобного угловатого металла. А ведь когда-то казалось, что это не так уж и много. Антон пытался подстроиться под неровные шаги Спичкина. Плечи и поясницу сразу же заломило. Плюс навьюченный на лямки боекомплект — смотанный в громадную бобину и нашпигованный патронами трак. Антон хребтом чувствовал бутылочные доньшки патронов. Интересно, в кого капитан собирается стрелять из этой штуки? Однажды, когда "дура" была еще не неподъемной, а

просто тяжелой, Антон рискнул обратиться к Гофману — обратиться с подобным к капитану он не решился бы ни за что на свете — зачем мы ее таскаем? Толку от нее — расчехлить, собрать — это ж прорва времени... — Я бы и ракетную установку таскал, — ответил Гофман, — да только взять негде.

К его удивлению, они не упали ни через десять шагов, ни даже через сотню. Как два муравья, придавленные одной былинкой — скрежетали зубами, но шли. Один раз, когда Спичкин споткнулся и едва не выронил "дуру" — она амплитудно заплясала в руках, и их сгорбленный оружейный тандем потащило в сторону — он подумал — всё! Абзац. Но каким-то чудом удалось устоять и выровняться, они снова шли вслед за капитаном отставая на положенные три шага, и снова старик Лужин всхлипывающе булькал горлом, семена рядом. Гофман замыкал колонну, запах настороженности шел от него, как пар от чайника.

Размеренно шагающий впереди капитан шевельнул вдруг плечом и обошел голый, словно высушенный куст... в котором Спичкин, пытящийся под станиной, очень ожидаемо завяз ногами. Антон так разозлился на его неуклюжесть, уже порядком надоевшую, что не почувствовал плотного запаха, разлитого впереди. Под ногами капитана вдруг отчетливо плеснуло, словно тот наступил в лужу. Он остановился и присел, и они со Спичкиным остановились тоже. Старик Лужин, терзаемый легочными хрипами, остановился покорно и безразлично. Подтянулся перекрученный напряжением Гофман, повернулся спиной и отгородил их от всего остального пространства.

Капитан коснулся темной земли, зачем-то понюхал ладонь, потом достал фонарь и, прикрывая рефлектор, быстро осветил себе под ноги.

— Что там? — не выдержал Гофман.

— Вода, — отозвался капитан. — Болото. Или... нет...

Он еще раз понюхал ладонь, осветил ее фонарем.

— Странная какая-то. Грязная вроде.

Антон сделал пару шагов в его сторону, чувствуя, как болтается на прицепе одеревеневший от усталости Спичкин. Запах болота, до сих пор не ощущаемый, вдруг появился — сразу, а на следующем шаге набух и затвердел, заставив съехиться ноздри.

— Стоять! — приказал капитан. — Куда?

Запах был таким плотным, что напрямую ощущался лицом. Он был странно знакомым и походил на вонь закисшего солидола, источаемую "дурой", только без металлического привкуса.

— Нефть! — сказал Антон. Капитан смотрел, не понимая. — Это же нефть.

— Назад, — сказал тогда капитан. — Отходим назад.

Они отпятнулись — туда, где под ногами не чавкало. Капитан подошел к Гофману и опять коротко мигнув фонарем, осветил перепачканные пальцы. В электрическом свете они масляно лоснились.

— Как думаешь? — спросил он. — По виду — очень похоже, но нефтью вроде не пахнет. А? Что скажешь?

Гофман осторожно понюхал растопыренную капитанскую пятерню.

— А как должно пахнуть? Я вроде не нефтяник?

— Так же как мазут, надо думать.

— Антоха... — сказал Гофман. — Ты — нефтяник, что ли?

Антон помотал головой.

— Нефтепровод? — спросил капитан, ни к кому конкретно не обращаясь. — Может это быть нефтепровод, а? Ведь они же длинными бывают. Тысячи километров. Через тайгу.

— Тайгу? — оживился Спичкин. — Где тайга?

Капитан задумчиво всмотрелся в мутнеющую темноту впереди.

— Светает, — сказал Гофман. — Через полчаса — рассветные сумерки. Там посмотрим.

Циферблат его часов зеленовато светился. Гофман поправил рукав и свечение пропало. Опять была непроглядная ночь — никакого намека на рассвет.

— Необязательно, — сказал Спичкин. — Время не совпадает. Часовые пояса тоже все перемешаны. Я уже понял...

— Понял... — тихо взорвался Гофман. — Чего ж ты молчал, если понял? Шарахаемся в темноте, как колобкова корова.

— Надо было убедиться, — сказал Спичкин. — До конца убедиться.

Его конец "дуры" все тяжелел, Антон с большим трудом держался прямо. Спичкин, надо полагать, уже просто висел на нем. Антон подумал, что сейчас он упадет тоже. Они еще немного поспорят, и он упадет. И уже не встанет.

— Это молодая нефть, — сказал он, чтобы не упасть. — Незрелая нефть. Нефтяное болото, как в Девоне.

— Это черт-те что ты сейчас говоришь! — отрубил Спичкин и повис уже совсем откровенно.

— Это точно? — спросил Гофман. — Антон, ты ручаешься? Да? Такая информация — откуда?

— На Земле нет нефтяных болот, — как заведенный твердил Спичкин. — Они были — миллиарды лет назад. А сейчас нет.

Пожать плечами совершенно не представлялось возможным — на одно плечо давила "дура", другое оттягивал боекомплект, насмерть прогибая ключицу. Поэтому Антон просто стоял и молчал, производя впечатление, должно быть, туповатое. Ему было все равно сейчас. Слишком устал. Отчего, почему, откуда... Сколько можно спорить? Только и делаем, что идем и спорим. До хрипоты, до сердечных перебоев. Молодая нефть — это же очевидно. Запах молодой, незрелой нефти — запах сгнивших под давлением водорослей, сдавленной черной жижи, которая томится под земляной толщей, и верхний бесполезный слой которой выносятся на поверхность грунтовыми водами. Так очевидно, что не требует пояснений.

Капитан вдруг выпрямился и, опять сделавшись решительным и железным, вытер о штаны перепачканную ладонь.

— Уходим, — сказал он.

— Куда? — это был Гофман, голос доносился словно из-за черной ширмы, и Антон испугался, что теряет сознание — потряс екающей чугунной головой.

— Уходим, — повторил капитан. — Назад и правее. Гофман... Коля! Держи его.

Антон сделал несколько шагов по инерции, потом вдруг до него дошло, что станину "дуры" никто кроме него не держит. Спичкин, видимо, упал. Стоило только об этом подумать, как спину свела мгновенная свинцовая судорога. Его невесомо потащило в сторону. Злясь на себя, и на Спичкина, и вообще на всех — он переступал по лужайке, наклоненной как штормовая палуба. Потом ноги подломились в коленях. Он уронил с плеч лязгнувшее железо, кубарем полетев следом, в травяной перемороженный хруст.

Потом обнаружил, что стоит на коленях, опираясь на неохватный кожан "дуры", ляжка боекомплекта съехала на шею, он загнанно и мелко дышит верхушками легких, и колени уже всюю мерзнут и ноют.

Он напрягся нечеловечески и встал прямо... содрогаясь, как в лихорадке.

Гофман, ругаясь, поднимал Спичкина, тот ворочался, ободрительно мекая и извиняясь — мол, отключился, не понимаю, как это произошло, извините, ребята, я встану, я пойду. Ему, наверное, и впрямь казалось, что он держится бодрячком, на самом деле тело его совершало вялые бессмысленные копошения. Он никак не мог утвердиться на корточках. Ноги волочились — как плети, не имеющие ни костей, ни суставов. Гофман упрямо тянул его кверху. Антон вспомнил вдруг про старика Лужина и его словно кипятком обдало. Если и старик упал...

Он в ужасе оборотился, но старик Лужин стоял, уронив руки, скосбе-
нясь, с апатией восставшего мертвеца, но стоял. Крепкий дед, с уваже-
нием подумал Антон. Высохший, но крепкий. Как дерево.

— Вставай! Горе ты вялое... Вставай!!! — уговаривал Гофман.

— Идти надо, — сказал подошедший капитан. — А ну... Замерзнем
к...

Он добавил что-то до такой степени матерное, что Антон не сумел
осмыслить.

Спичкин, наконец, поднялся — тряс головой, рассыпая вокруг из-
винения и запах смертельной усталости.

Антон наклонился, обхватил "дуру" посередь ствола и начал тя-
нуть, не особенно веря в успех. Неожиданно она подалась — вывора-
чивая поясницу Антон закатил ее на плечо и оказалось, что теперь они
несут ее вдвоем с капитаном, причем именно несут, а не тащат, как бы-
ло до того — капитан, принимая на себя основную тяжесть, отодвинул
его вперед, к ребристому цилиндру пламегасителя — что широченный
Гофман идет теперь впереди, а Спичкин и старик Лужин ковыляют чуть
поодаль, сцепившись руками и раскачиваясь, как два усталых бестелес-
ных духа.

Он был абсолютно уверен, что сознания не терял, однако солнце
ярко светило прямо в распахнутые веки. Глаза совершенно отвердели
от этого света, словно тот досуха высушил роговицы. Антон с усилием
моргнул — под веками песочно заскребло, и из глаз тотчас потоком
хлынули слезы.

Заснул с закрытыми глазами, что ли?

Поздравляю, сказал он себе. Такое у тебя впервые.

Он пошевелился и вдруг ощутил под собой гладкое струганное де-
рево. Приподнялся и сел, помогая себе руками. Капитан посмотрел на
него и кивнул, а потом отвернулся, наблюдая за открытым простран-
ством. Антон обнаружил, что сидит на скамейке... обычной парковой ска-
мейке с изогнутой спинкой и брусчатым ребристым сиденьем. Вторая
скамейка стояла напротив, развернутая чуть кривовато. Вместе они на-
поминали ячейку плацкартного вагона — сиденья, обращенные друг к
другу. Запрокинув голову и сползая каблуками на землю, спал Гофман
— сомкнув громадные клешни на автомате. Бесформенным кулем, рас-
кинув руки и ноги и распахнув пиджак, валялся Спичкин. Старик Лужин
дремал, примостившись на краю скамейки.

Солнце стояло в зените. Жидкие облака кипели вокруг, не решаясь
приблизиться.

Подсыхала пышная клумба, окаймленная розовым камнем. Камень был прохладен на вид, но многие цветы обморочно свешивали через него тяжелые бутоны.

Расчехленная "дура", полностью изготовленная к стрельбе, стояла посередь, между скамейками, раскорячившись на трехногой опоре. Патронная лента была заправлена, и ее бухта, от одного взгляда на которую заныли плечи, возлежала поодаль. А над скамейками, вознеся на гладких стволах пенные кроны, шумели высоченные буковые деревья.

Антон смотрел на блескучие, словно вырезанные из кости, стволы... на пеньки аккуратно срезанных нижних веток, подкрашенные известковыми белилами... на желтые взъерошенные верхние кроны, которые начали уже терять листья... на прожилки голых сучьев... на листопадный ковер между стволами... на розоватый гранит, окаймляющий цветники... на черные чугунные завитушки ограды, от которой оставался отрезок метров в двадцать длинной, а остальная часть ограды просто отсутствовала, словно отсеченная лезвием...

Дерево скамеек согревало ладони, на которые он опирался.

Парк, старый добрый английский парк шумел и шумел, и брошенные с высоты двухсотлетних деревьев сонные листья планировали, слетая к родительскому подножию.

Антон приблизил ладони к лицу и начал тереть его — щеки, глаза, щеки, глаза, виски, лоб, щеки. Как замечательно просыпаться в подобном месте. Замечательно. Просыпаться и мечтать — что наваждение рассеялось, не будет никаких Изменений больше, и не надо теперь ни идти никуда, ни тащить ничего, а просто сидеть и сидеть... и сидеть.

Английский парк.

Скамья, яркое солнце.

Он отнял ладони и посмотрел в просветы меж буковых деревьев, зная наверняка, что горечь разочарования не замедлит прийти, как приходила каждый раз, стоило только проснуться. К разочарованию он уже притерпелся. Наваждение и не думало рассеиваться — не собиралась исчезать колченогая, развернутая стволом к опушке "дура", не собирались исчезать спящий Гофман и капитан, карауливший его сон.

Английский парк струил прохладу и умиротворение меж стволов... но вплотную к парку подступала каменистая осыпь, где торчали сквозь щебень чахлые и кривые, похожие на кабаньи хвостики, сосенки, а с другой стороны — распахивалась в неопишную ширину голая, словно выглаженная катком равнина, с комковатыми гребнями у самого горизонта.

Английский парк шумел осенними листьями, зажатый меж горным склоном, где каменное крошево пересыпано твердыми крупными снегами, и степью, насмерть выжженной солнцем.

Английский парк, впадая в ересь, стал лыс и желт, как кришнаит. Он подумал так и снова уснул...

— Ладно, — сказал капитан. — Давайте думать.

Солнце уже клонилось к закату — но, к счастью, не за горную грядку, иначе сумерек не было бы никаких, а в сторону голой степи — вызолочивая растресканную глиняную корку.

— Говорите свободно.

Таким манером он, должно быть, обращался раньше к подчиненным в неформальной обстановке — на ты и без званий. Например, когда откупоривалась бутылка. Говорите свободно. О бабах, о футболе. На подчиненных это должно было производить впечатление — либеральный, свойский начальник. На Антона не произвело. Они тут все были гражданские. Даже Гофман, сросшийся с автоматом. Даже, наверное, сам капитан — скорее всего, он лишь бывший военный, мало ли ходит по свету гражданских капитанов.

Спичкин все еще щурился осоловело, видимо не до конца проснувшись, да и Антон тоже не чувствовал себя полностью оклемавшимся. Хотя целый день они только спали и ели, подчищая запасы провизии. Да бегали за цветник, облегчить животы.

Английский парк стерпел и это.

— Двигаться только днем, — сразу же предложил Гофман. — По возможности выбирать открытые места для продвижения. На ночь — укрепленный бивак и дежурства.

Капитан поморщился, наклонил голову — согласен.

— Вообще, дурацкая была затея, — продолжал Гофман. — Мы же не налегке. Двигаться нужно размеренно, сохраняя силы. Вообще, давайте лучше определимся с целями.

Капитан вздохнул и выпрямился.

— Я буду честным с вами, ребята, — сказал он. — И с тобой тоже, Миша, — он покосился на Спичкина. — Я очень надеялся, что эта аномалия имеет локальный характер. Что рано или поздно мы выйдем из зоны ее действия. Мне и сейчас хочется в это верить. Может быть, я человек слишком ограниченный для понимания проблемы. У меня не укладывается в голове — до сих пор не укладывается — что такая кавария творится по всей планете. Этого я принять не могу.

Все слушали молча.

— Поэтому... — сказал капитан. — Я могу решать только тактические задачи. Для определения стратегии мне нужна ваша помощь.

Антон вспомнил вдруг самый первый день этих Изменений — когда, вывалившись из переполненного автобуса на конечной остановке, он увидел вдруг прямо за картофельным полем совершенно нереальные, рассеченные наклонными полосами, жемчужно-красные горы. Скорее всего, это был не самый первый день, конечно же — какие-то мелкие незначительные Изменения возникали намного раньше, на них просто не обращали внимания. Никто не обращал. Даже тогда, при виде столь крупной аномалии, при виде этих ненормальных гор, словно нарисованных кистью поверх привычного пространства, на том самом месте, где только вчера были тополиные веники лесополосы и мешанина дачных домиков — никто особо не поразился. Так, поудивлялись, повсматривались из-под козырьков ладоней, потыкали пальцами, пошушукались негромко, а потом — разобрали тляпки и побрели по своим наделам.

И он сам, тоже начал огребать картофельные кустики, то и дело посматривая... но, наконец — не выдержал, бросил тляпку, отмахнулся от теток и пошел по меже в сторону гор. Сначала ему казалось — это какие-то отвалы, рытье огромного котлована, расстояния до них было — порядком, но не так чтобы уж очень много. Он рассчитывал обернуться за пару часов и до вечера вдоволь еще "натяпаться".

Через пару часов картофельные поля скрылись за горизонтом, а вот горы не приблизились ни на йоту. Только тогда он понял, что никакой это не отвал вынудой из котлована земли, раскрашенной неведомыми шутниками, что никакая это не стройка, и вообще — никакая это не земля — самый настоящий скальный массив, посреди гигантской пустоши... и что до гор он не дойдет ни за пару часов, ни за пару дней, а вообще, видимо, не дойдет, так как площадь, этой пустошью занимаемая, просто огромна. Этих сотен километров редкотравянистого дерна просто не могло здесь быть — под боком у миллионного города, среди мозаики пригородных поселений. Горы эти явно занимали теперь чужое место... а все, что было тут до них — все это просто исчезло... видимо бесследно, и видимо навсегда... и здоровенная пестрая змея, с рассерженным шипом поднявшаяся вдруг из травы — даже не убедила, а лишь послужила еще одним неоспоримым доводом.

Он повернулся и поспешил назад — к родному картофельному полю, к милым теткам, к тлячкам и теплому смородиновому морсу. А через час побежал. А еще через час — понесся, что есть мочи. А через сутки

непрерывного — ходьба-бег... ходьба-бег... — перемещения, без сил повалился в траву, содрогаясь от вездесущего змеиного шипа...

Первая ночь была самой страшной.

Стронциановое свечение с неба... созвездия, ломающие привычные очертания... хлопья звезд, смешивающихся словно в гигантском миксере. Он думал, что повредился рассудком. Ветер тащил целые полчища насекомых. Он исколотил себя ладонями, отмахиваясь. Оводы, слепни, жуки — твердые, как орехи. Родимые комары, такие же перепуганные, как он сам. Какие-то жуткого вида мохнатые мухи с огромными слюдяными крыльями. Гудящий, зудящий, ноющий ковер над степью.

Он был на грани истерики. Вернее, истерика состоялась, но была тихой и осторожной. Метаться в панике по ночной степи оказалось крайне опасным... словно сотни грабель были разбросаны в траве — взметывались то и дело змеиные головы на шнурках напружиненных тел. Резиновые сапоги вряд ли бы от них защитили.

Утром он побрел дальше... но, впрочем, и утро было понятием очень условным — словно включили свет над степью, как подброшенное выскочило солнце и застыло на плече полосатой горы. Поток насекомых пал и растворился в траве. Небо налилось синевой и остекленело. Вместе с солнцем пришла жажда. Он снял штормовку, обвязав ее вокруг пояса и шел, натянув майку на затылок. Жгло и через майку — так, что плавилась черепные кости. У него был один ориентир — спиной к горам. Тень ползла по траве чуть впереди, она была такая глубокая и прохладная, что хотелось нырнуть в нее, как в омут. Ему и правда начинало казаться, что это омут — речной чернильный подкоряжный холод. Недосягаемый, как сад Эдемский. Так, должно быть, чувствует себя осел с морковкой на удочке — уловка понятна, но так желанна... Господи...

Он, конечно, умер бы в этой степи, но к полудню она кончилась.

На выжженную солнцем траву теперь напирала, пучась, голубые сугробы... петляли цепочки лисьих следов и рябили мышинные натоптыши. Там, где снег выползал на траву, лопалась и клочкотала разогретая талая каша.

Он улыбнулся, вспоминая, как приблизился... разрешил своей тени упасть на темную воду и с наслаждением рухнул следом.

— Эй, — сказал вдруг Гофман, обхватывая его за плечо здоровенной пятерней, чтобы встряхнуть. — Э-эй.

Запах оружия и человеческого пота вновь обострился, как тогда, ночью. Мгновенной судорогой свело ноздри. Ладонь Гофмана, распростертая и корявая как ветка дерева — нависала, обдавая целым кок-

тейлем запахов. Коктейль этот был чуть мутноватым, но достаточно прозрачным, Антон без особого труда улавливал составные части — резкий запах загорелой кожи... пыльца, растертая пальцами... следы прикосновений к металлу, грязь под ногтями... даже козюля, выковырнутая давеча. Антон не понимал, что происходит. Ночью эта носовая чувствительность показалась ему очень естественной — наверное от усталости, от невозможности связно мыслить. Словно, пока он спал, неведомые шутники подменили ему нос — родной умыкнули, а вместо него подсунили этот, новый. Антон с испугом потрогал нос, ожидая нащупать влажную собачью блямбу, но нос был обычным, человеческим, чуть распухшим, но обычным.

— Он что — "проваливается"? — спросил капитан. — Как Ломакин?

— Антоха! — пахуче выдохнул Гофман, и его пальцы, сомкнутые на плече, сделались вдруг железными тисками.

— Да все нормально со мной, — охнув, сказал Антон. — Чего навалились-то? Отпусти — раздавишь.

Плечо и так болело после ночного перехода, а тут он еще.

Гофман отпустил.

— Чего у тебя с рожей? — спросил он добродушно. — Перекосило так... Зуб заболел?

— Да нет. Не проснулся еще, наверное. Голова кругом идет.

— Пойдет тут кругом, — легко согласился Гофман. — Черт-те что... Мы думали, ты "провалился".

— Куда?

— Да не куда... Черт его знает, как объяснить... Как Ломакин, короче... — он повернулся к Спичкину. — Его перед тобой нашли.

— Не помню, — помотал головой Спичкин. — Вообще ничего не помню. Как в тумане всё.

— А ты и не можешь помнить. Тебя ближе к вечеру нашли, а он утром помер ещё.

— Умер? — спросил Спичкин. — От чего?

— Я же говорю — "проваливался" он, — сказал Гофман. — Может, он сразу был припадочный, а может это Изменения так на него повлияли. Мы когда на него набрали — он синий был, как покойник. Ты понял? Мы втроем шли. С дедом вон... — он кивнул на старика Лужина. — Огибаем распадок, а он стоит там, как столбик. Я его окликнул — эй, парень — он поворачивается... Бог ты мой... Глаза выкаченные, морда синюшная, перекошен весь. Чуть не пристрелил его с перепугу.

Он замолчал, подвигав кожей на голом, как колено, черепе.

— Ну, — жадно потребовал Спичкин. — Ну!

— А что — ну... — сказал Гофман. — Я же говорю — на человека не был похож. Мы думали сначала, что он один из этих — Черных. Только синий.

— Недоразвитый, что ли?

Гофман насупился, смыкая розовые брови.

— Ну! — взмолился Спичкин. — Ну!!!

— Не нукай, — сказал Гофман. — Не запряг. Мы за сутки до этого впервые увидели... этого... Черного. Шарахнулись, конечно, как лошади. Несколько часов чуть ли не бежали оттудова. Дед вон — надорвался, до сих пор не отойдет. А тут он. И стоит — совсем как они стоят...

— На себе не показывай, — быстро сказал капитан, и Гофман вдруг улыбнулся, оглянувшись на него.

— Понял, — сказал он. — Тогда описываю — торчит столбиком, вытянут, как струна, будто что-то его за маковку кверху тянет, руки висят плетями, и их будто ветром болтает. Жуть. — Гофман сделал странное движение горлом, словно что-то вдруг помешало ему говорить. — Хотели отступить тихонько — так он очнулся вдруг, залопотал.

— Заговорил?

— Ну, да... Только — не совсем, чтобы прям заговорил... Говорю — «залопотал».

— Это как? — допытывался Спичкин. — На другом языке что ли? На каком?

— Да, как тебе объяснить, Миша... — Гофман сдвинул на сторону берет и шумно почесал за ухом. — Я сначала решил, молдавский или польский — но нет... По-русски, только вперемешку еще с чем-то. Вроде бы всё привычно — спасите, там... помогите... а начинаешь прислушиваться — странные какие-то незнакомые слова мелькают, через два на третье...

— Думаете, сумасшедший?

— Да нет, нормальный вроде — только как припадочный... идет, идет, потом встанет вдруг и... "провалился" — хоть кричи, хоть тряси его, ничего не чувствует. Вытянется кверху, морда синее, раздувается... пот на лбу, как виноградины. Губами шевелит, и не понятно ни черта.

Они оба помолчали.

— И часто? — спросил потом Спичкин. — Часто подобные припадки случались?

— Да когда как. Но раз в пару часов точно.

— А длительность?

— Точно не засекали, но очень недолго. Застынет, потом вдруг задрожит весь... и отпустило... Только шатается потом, как пьяный. Мы потом и не трогали его даже, пережидали просто.

— А умер он отчего?

— А ты любопытный такой — зачем? — спросил Гофман.

Спичкин вскочил, потом сразу же сел и заерзал коленями.

— Это же важно, — сказал он. — Любая информация важна. Мы должны понять, что происходит.

— Никогда вас, очкариков, особо не любил, — дружелюбно сообщил ему Гофман. — Обожают вы в каждой заднице поковыряться.

— Капитан, — воззвал Спичкин. — Ну капитан же... скажите ему.

— Помер человек... — строго сказал Гофман. — Помер, и все тут. Даже зарыть его не смогли — нечем копать. А земля твердая была, камень. Какая разница, как он помер? Вам, умникам, только бы выпотрошить кого...

— Капитан! — сказал тогда Спичкин. — Был же приказ говорить свободно. Даже если информация кажется бесполезной, она важна. Даже если мы не можем пока сделать выводы, мы должны накапливать информацию. Каждый член группы должен обладать всей ее полнотой — мало ли что. Да я не каркаю, не каркаю... — он делал массу размашистых предупреждающих жестов. — Но — мало ли что... Информация, добытая с таким трудом, должна сохраняться... и быть, если не использованной, так значит переданной кому следует...

Ай да Спичкин, подумал Антон. Ай да сломанные очки. Кого угодно в чем угодно убедит. Получается, капитан ОБЯЗАН проследить, чтобы каждый из них вывернул душу. Как человек, которому предстоит докладывать и отчитываться, если мы выберемся. Если... Он ведь и сам в это верит, с тоской подумал Антон. Никто больше не верит. До вчерашней ночи может и верили, или заставляли себя верить. Но только до вчерашней ночи, пока они не вляпались ногами в эту доисторическую нефть. Теперь капитан выглядел как человек, начисто лишенный опоры. Облокотившись на «дуру», он наблюдал за бессмысленным и пустым перемещением падающих листьев меж деревьями.

Хотя к взываниям Спичкина прислушался и утвердительно дернул Гофману коричневой щекой — продолжай.

— Ладно, — сказал тогда Гофман. — Ладно.

Лицо его выражало явное неудовольствие.

— Ну... — беспокойно терзался Спичкин.

— Нехорошо помер, — сказал Гофман, осуждающе глядя на капитанскую щеку. — У него и раньше кровь шла. Не в каждый припадок,

конечно, но всё равно — часто. Из носа в основном. Пару раз было — из глаза. Словно слеза кровавая — пробежала и капнула. И в тот раз тоже из глаза полилось... обильно так, будто заплакал. Потом сразу — бряк на колени, осел на землю и всё...

— Уже кое-что... — обрадованно сказал Спичкин. — Мозговое кровоизлияние. На почве чего, интересно?

Глаза его вдруг прыгнули за стеклами очков. Он снова вскочил, несколько секунд возбужденно сучил ногами, потом плюхнулся обратно на скамейку.

— Слишком невероятно... — сказал он, — но вдруг... Если отбросить причины естественного толка — самые обычные, но и самые скучные — ничего не объясняющие, а значит, для нас бесполезные... Я когда-то читал о таком. Симптоматически это схоже с реакцией мозга на усвоение повышенного объема информации. Не просто повышенного — огромного информационного массива. Опыты, говорят, проводились. Ведь мозг — это, условно говоря, биологический конденсатор, способный удерживать электрические потенциалы на разных участках. Если на этот конденсатор подать напрямую большой объем информации — к примеру, методом электрической индукции — она превысит способности мозга эту информацию обработать, распределить по ячейкам памяти... и вызовет волну последовательных коротких замыканий между этими ячейками. Отсюда — и сбой в работе мозга, и потеря ориентации, и органические нарушения... И судорожная поза — как у Черных... — всех передернуло при этом упоминании, но Спичкин, не замечая, продолжил. — Что если он воспринял некий информационный пакет, содержащийся в пространстве... или откуда-то наведенный... каким-то образом... Тот самый информационный всплеск невероятного объема... Что-то же вызывает эти самые Изменения...

— Во дает очкарик! — возмутился Гофман. — Чуть что — у него уже, тля, целая теорема готова.

Спичкин взвился возражать, но капитан, потерявший терпение, рявкнул на обоих — Антон уже мало что слышал. Обоняние вновь одним плотным толчком обострилось — мешающие запахи придвинулись вплотную, почти растворяя его в себе. Ворохнулись, сжимаясь, какие-то тонкие пленочки в носу. Все смешалось и потекло — тяжелый запах разрытой земли, сладковатая листовенная прель, вонь недавних экскрементов дохнула из-за цветника, примешавшись к приторному цветочному духу. Ужасающее сочетание, отстраненно подумал Антон. Просто ужасающее — как, например, селедка в сметане. Бр-р... Оживая, шевельнулся один из обморочных бутонов — здоровенный, мохнатый как

медведь, шмель выпростался наружу и тяжело прочертил воздух. Больше не опробованных им цветников в парке не оставалось — шмель отправился прочь, в просветы меж буковых деревьев. Добравшись до того места, где на аккуратно стриженную лужайку вываливался бурый, перемешанный со снегом щебень, шмель недоуменно замер, почувствовав ток холодного воздуха, надолго завис, вхолостую буравя крыльями... потом дернулся и медленно поволокся по пологой дуге, вдоль границы смыкающихся пространств.

Почему-то именно эта картина — шмель, знающий что пора улетать, но не понимающий куда — его доконала. Антон едва не затрясся — сдержало то, что это сразу заметят и, чего доброго, влепят по морде. Всем и без того тяжело, наблюдать чужую истерику никому неохота.

Он резко вытолкнул воздух из носа, как собака выталкивает мешающий запах... и снова стал слушать, как препираются Спичкин и Гофман.

Тем более, что говорили опять о нефтяном болоте, и до вопроса "как ты узнал" оставалось совсем немного.

— А как он узнал? — возбужденно спросил Спичкин. — А? Антон... Как ты узнал?

— По запаху, — ответил Антон.

Гофман и капитан продолжали смотреть вопросительно.

— Мы ведь тоже нюхали, — сказал Гофман. — По-моему, вообще запаха не было никакого. Вода и вода, черная только и мажет.

— Я всегда хорошо запахи различал, — подумав, сообщил Антон.

Это было почти правдой. Вернее, совершеннейшей правдой, но не всей... Способность различать тонкие запахи была всегда, с самого, пожалуй, детства... а в бытность свою студентом он сумел бы отличить на спор портвейн от кагора, обнюхав стакан, из которого пили... но не более того... Эта сплошная волна запахов, замещающая и вытесняющая остальные чувства, не шла ведь ни в какое сравнение... Он попытался припомнить, когда это с ним началось. Самое первое обострение... Не вспомнил. Позапрошлой ночью — вроде уже было. Он почувствовал тогда, как пахнет от старика Лужина. Словно от прокисшей огуречной кадки. Слабость. Смертельная усталость. Безразличие ко всему на свете. Этаким перебродивший рассол.

— Ладно, — Спичкин энергично от него отмахнулся и принялся поправлять очки. — Ладно... В общем-то неважно, как он узнал. Просто примем это за аксиому. Нам нужно от чего-то оттолкнуться в рассуждениях. Итак — болотистая местность, явно не имеющая аналогов в зем-

ной природе. Хвощи, папоротники... Нефть, разлитая на поверхности... Да, не имеющая — это совершенно точно. Я бы знал... Что из этого следует?

— Что? — спросил Гофман, то ли подыгрывая, то ли искренне ожидая от Спичкина правдоподобной гипотезы.

— Раньше мы считали... мы просто вынуждены были так считать... что все изменения ландшафтов, которые мы условились называть просто Изменениями... имеют планетарную привязку. Я хочу сказать, что они ограничены земной поверхностью. Теперь я уверен, что это не так. На Земле нет нефтяных болот, и нет никаких предпосылок к их внезапному появлению, следовательно... Никакие это не Изменения...

Приехали, подумал Антон и отвернулся. Даже в пустых потугах шмеля ему виделся большой смысл, чем во всех этих теориях, которые Спичкин скармливал им — одну за другой. Гофман, однако, не потерял интереса — энергично подбадривал Спичкина, да и капитан — молча слушал, не прерывая.

— Я хочу сказать, — распаялся Спичкин, — что терминология, при всей своей необязательности, способна, однако, существенно искажать воспринимаемые нами факты. Вот мы говорим — Изменения — и сразу представляем их — как вспучивается земля, формируя горы... или, наоборот, горы рассыпаются прахом, образуя пустыню, и... даже если отставить пока в сторону осмысление механизма всего происходящего... то и тогда простое логичное и последовательное размышление замечает ряд огрехов в этой теории.

— Ну?! — удивился Гофман так воодушевленно, что Спичкин даже сбился — сорвал очки, покрутил их в руках и снова надел.

— Да... Смотрите... — какое-то время он пытался объяснить понятно и просто... но очень скоро увлекся и снова понес горячей скороговоркой. — Например... скорость формирования новых ландшафтов — никому из нас ведь ни разу не приходилось видеть ход этих самых... хм... Изменений. А? Что скажете? Кто может похвастаться, что был тому свидетелем — как равнина исторгла гору? Или хотя бы, как вылез лес посреди равнины. Еще больше вопросов — если лес не вылез, а наоборот, исчез — куда подевались все его останки? Это же прорва органики. А ведь даже эта картина, что наблюдается сейчас за нашими спинами... — он так энергично указал на край парка, что все против воли повернулись и посмотрели — нежный зеленый газон, а шагом дальше перекрученный со льдом каменный фарш... — даже эта картина совершенно опровергает наши сформировавшиеся представления. Посмотрите, каким образом смыкаются эти пространства... Посмотрите же... —

словно не уверенный, что все смотрят в нужную сторону, он побежал к фрагменту чугунной парковой ограды, что внезапно обрывался на границе парка и каменной пустоши... — Смотрите, — закричал он оттуда, указывая на отсеченный край, — нет никаких признаков граничного смешивания, никаких переходов одного в другое — как будто кусок пространства вырезали, будто кусок торта — и положили на одну тарелку с салатом. А потом еще добавили омлет... — он собрался было для наглядности добежать до начала высушенной степи, но вовремя опомнился, снова остановился перед Гофманом, который медленно, но неуклонно мрачнел. — Эта часть ограждений, что мы видим здесь — просто чистой воды подсказка, я ведь уже осмотрел ее, пока вы спали — она словно отсечена чем-то острым, и линия этого отреза идет дальше — вдоль всей границы смыкания... Если вы приглядитесь, то увидите, что у половины этих травинок... у тех, что были с самого края во время Изменения — будто отстрижены кончики... — он сделал отчаянную попытку сбегать и принести доказательства, но Гофман, ожидавший подобного рывка, успел поймать его за плечо и решительно вернул на место...

— Задрал уже! — сказал Гофман. — Хорош мельтешить...

— Я думаю, что если каждый из нас как следует покопается в памяти, — сказал Спичкин, трепыхаясь в плотном захвате, — то сумеет вспомнить, как наблюдал ландшафты, которые ну никак не могли быть ландшафтами нашей привычной планеты...

— Тля, — сказал Гофман, выпуская его плечо, — ну, тля, так ведь и знал...

— Другая планета? — сомневаясь, спросил капитан, но Спичкин отчаянно замотал головой, молитвенно воздевая нелепые свои долгопалые ладони.

— Не совсем так... Я потому и заостряю особое внимание на неверно принятой нами терминологии, — зашпешил он, — что неправильно сформулированное определение действительно способно спрятать всё от нашего понимания... Когда-то кто-то сказал первое, что пришло ему в голову — Изменения... и вот этот навязанный образ мешает нам увидеть очевидное несоответствие...

— Не Изменения, мы поняли, — потерял терпение капитан. — Как ты предлагаешь это все называть?

— Смещение! — сказал Спичкин, и замолчал — будто давая всем возможность как следует прочувствовать важность сделанного им открытия.

Антон едва сдержался, чтобы не фыркнуть. Капитан переглянулся с Гофманом, и оба они пожали плечами. Антон понимал их усталое равнодушие — так или иначе, но один из этапов ежедневной лекции «Спичкин об увиденном» вроде уже позади. Смещение, так Смещение... Все удержались, конечно, от вежливого «почему?», но Спичкина это не остановило. Он умел слышать незаданные вопросы. Он улыбался во все свои белые зубы — тем более, что объяснение само заключало в себя некий удачный каламбур.

— Объясню на пальцах, — придурковато щурясь, заявил Спичкин и показал им обе свои растопыренные пятерни... потом, не дождавшись немедленной реакции — соединил их вместе, переплетя пальцы друг с другом. По мнению Антона, у него были ужасные руки — длинные толстоватые пальцы, похожие на сегментированные сосиски. Дай такими руками пощечину — пожалуй, синяки даже на затылке останутся.

— А, ну понятно тогда... — неопределенно сказал Гофман.

— Ну, вы чего? — опешил Спичкин и опять проделал то же самое движение руками.

Шутка, повторенная дважды, становится в два раза смешнее.

— Каждый из пальцев, — объяснил Спичкин, отчаявшись, — это фрагмент пространства, смещаемый относительно другого. Эта невероятная смена ландшафтов, что мы наблюдаем — просто сдвиг реальности, его Смещение. Я думаю об этом уже довольно давно, но лишь вчерашнее нефтяное болото меня в этом окончательно убедило. Да, именно болото. Почему именно оно? Так это же явный дополнительный фактор, которого не хватало в головоломке — либо Смещение не ограничено одной планетарной локацией, либо не ограничено временными координатами. Первое мне кажется гораздо более логичным... по крайней мере, оно не вносит качественных поправок к моей гипотезе — только количественные. Проще говоря, если мы допускаем, что некая сила перемешала массивы пространства, отчего не бы предположить, что в этот миксер брошена не только наша старушка Земля, но и... многие другие планеты?

Это и так понятно, подумал Антон. Эти чертовы жемчужно-полосатые горы. Он украдкой облизнул пересохшие губы.

— Во тля! — опять сказал Гофман.

Для него это, видимо, оказалось полнейшим сюрпризом.

— Такое допущение не заставляет пересмотреть нашу прежнюю гипотезу, — словно оправдываясь перед ним, сказал Спичкин. — Механизм взаимодействия нам по-прежнему неизвестен, но он становится хотя бы непротиворечив логически... К сожалению, — добавил он, ко-

сясь на капитана, — к сожалению это ставит крест на нашем предположении о локальности данной аномалии. Столь масштабное действие просто не может быть узко локализовано...

— Что ты хочешь сказать? — жестко расставляя слова, спросил капитан. — Что человечество разбросано по всей вселенной?

— Ну... — сказал Спичкин. — В общих чертах, конечно...

— Я не могу говорить об этом серьезно! — отрезал капитан.

— Это теория тоже не окончательна, — примирительно сказал Спичкин. — В ней много слабых мест... Например, если смешивание пространства было бы хаотично и бессистемно, то все окружающее... — он обвел вокруг руками, — просто растворилось бы в вакууме. Удельный процент твердой материи во вселенной ничтожно мал по сравнению с пустотой. Пока я склонен полагать, что какая-то система безусловно есть. Например — взаимному Смещению подверглась пара планет — какая-то неведомая нам сила заставила Землю обмениваться фрагментами своей массы с каким-нибудь своим далеким близнецом... с планетой земного типа из далекой-далекой галактики... Или, например...

Антон представил вдруг, как посреди голой пустоши появляется пузырь космического вакуума, величиной с... с Кемеровскую область... как со взрывоподобным звуком схлопывается воздух, заполняя эту брешь, как дергается и рвется рыхлое одеяло атмосферы, как с высоченных буков единым порывом срывает листья, все до единого, и как, влекомые листовенным ураганом, катятся по земле скомканные человеческие фигурки. Это было бы как взрыв, только наоборот, снаружи внутрь — непадающий вихрь хлопьев отвердевшего воздуха вздувается в центре, стеклянно лопается переохлажденная земля... и всё...

— Почему это — херня?! — запальчиво спросил Спичкин. — Вы оглянитесь. Нет, вы оглянитесь, я вам говорю. Фрагментация пространственных массивов все равно сохраняется. Вот, пожалуйста — справа жара, как в духовке, слева — снег. А там, где находимся мы — вполне комфортный климат. То есть какие-то границы все же существуют, пусть и материально проницаемые. Если принести оттуда снег — он растает, вынести туда воду — она замерзнет. Мы видим, что даже атмосферные лоскуты не диффундируют мгновенно друг в друга. А ведь по физике должны, ведь наверняка существует разница парциального давления между ними... И по метеорологии — должны. Смотрите — область горячего воздуха... область холодного воздуха... И где ветер, а?

— Кстати, — он прервался на мгновение. — Когда мы переходим в другую область... из ландшафта в ландшафт... никто не замечает... ни-

чего такого? Пусть на уровне ощущений? Ну там... непривычное чувство какое-нибудь? Никто не замечает?

— А как же! — сказал ядовитый Гофман. — Каждый раз замечаю. Такое чувство, будто мозги тебе взбивает — миксером этим твоим.

— Ой, не надо так, — расстроился Спичкин, — Не надо шутить! Разговор-то серьезный...

Антон на сей раз не удержался — фыркнул. Спичкин сейчас же оглянулся на него, и Антон, смутившись, отвел взгляд. К счастью, Спичкин, видимо, вовсе не умел обижаться.

— Антон! — обрадованно сказал Спичкин. — Ну, скажи ты им! Ты же сам видишь — и я говорю — пример с миксером неудачен! Чего вы так прицепились? Заладили — миксер... миксер... Дело тут вовсе не в механическом перемешивании близлежащего с близлежащим. А, словно кубик Рубика — один поворот... и вот тебе ряд белого посреди красного...

Гофман и капитан снова переглянулись.

— Вы чего? — спросил их Спичкин. — Не согласны? Нет? Тогда опровергните, если не согласны...

— Да как же это тебя опровергнешь? — махнул на него Гофман. — Я вообще за тобой не поспеваю. Теорем Теоремович... Чего мы тебя слушаем только?

— Вакуум... — уцепился капитан. — Ты это серьезно?

Реальные угрозы интересовали его куда больше, чем всё прочее.

Спичкин уселся прямо, поерзал на скамейке.

— Мне это не больше вашего нравится, — сказал он. — Но, теоретически — это было бы наиболее вероятным развитием событий. Что такое планета — крохотный же шарик посреди пустоты... Так что, теоретически опять же — ничего не мешает возникнуть и пузырю космического пространства... — он прищурился — замороженно, почти мечтательно. — Где-нибудь, посреди океана, например... Бац! Синий лед кружевами... Вот это было бы зрелище!

— Гад ты, Миша, — заметил Гофман. — Сердца у тебя нет, что ли?

— Я же просто пример привожу, — вкрадчиво сказал Спичкин. — Чтобы понять — мы должны представить на что это похоже. Пока что, похоже на кубик Рубика... Вот только, что же его проворачивает? — Спичкин задумался, и вдруг его глаза снова расширенно прыгнули за стеклами очков, поймав очередную сногшибательную мысль...

И тотчас, всполошив белых бабочек на цветнике, выпрямился капитан...

С проворством волчка крутнулся подскочивший Гофман, взяв под прицел противоположную часть парка...

Растерянно замолчал Спичкин. Глаза его медленно возвращались в нормальное положение...

— Что? — выдохнул Гофман, поводя автоматным стволом. Просветы меж стволами выглядели по-прежнему мирно. Единственное, что там двигалось — было листьями. — Ну... что? Не вижу!

Капитан оглянулся на него ошалело, словно и сам не понимал причины своей же тревоги.

— Что-то там есть... — сказал он и показал на пустошь.

Все повернулись и посмотрели — пустошь лежала, палимая солнцем, распаханная и пустая... ватной пылью курилась далекая гряда, и съезжился внимательный взгляд, отказываясь оценить расстояние.

— Пока еще нету, только будет... — совсем недоуменно сказал капитан. — Но уже — как бы есть.

Гофман беспомощно опустил автомат.

Было слышно, как течет желтая листва с деревьев.

От напряжения ныло в затылке. В пустошь глядели все, даже безучастный ко всему старик Лужин — повернулся на скамье вполоборота и вглядывался, подслеповато щурясь.

— Будто зреет... — неподвижными губами вылепил капитан.

Антону показалось на миг, что какая-то вертикальная черточка шевельнулась вдали, среди снопов света и температурных миражей. Шевельнулась, мелькнула искоркой и пропала... взгляд замылился и потерял ориентир. Над ухом напряженно сопел Спичкин, облизывая губы.

— Черт, оптики нету никакой, — посетовал Гофман.

Антон моргнул, и черточка шевельнулась опять. Взгляд зацепился. Антон навесил обе ладони козырьком и вгляделся, казалось до хруста в роговице — черточка дрогнула, обретая очертания далекой человеческой фигуры...

Не совсем человеческой...

— Это же... Черный! — срываясь в беззвучный шёпот, запричитал Антон, одновременно с капитаном, который вместо шепота ненавидяще заскрежетал зубами... и Гофман, и отшатнувшийся Спичкин — повторили друг за другом, словно дурное эхо.

— Черный! Черный!

Будто плотину прорвало. Темный ужас поднялся стеной и затопил. Что-то, сердито шипя, испарялось в середине груди.

Гофман сгреб его рывком и потащил за собой. Антон с трудом успевал переставлять ноги. Каким-то чудом он сразу понял, чего от него

хотят. Гофман, оказавшийся вдруг далеко впереди, уже разворачивал «дуру» — стволом поперек его бега. Антон поднырнул под дырчатый кожух ствола, вцепился в трак патронной ленты и уже держал навесу, как Гофман показывал ему когда-то — на предплечье, чтобы «дуре» было сподручнее пережевывать ее, подхватывая с земли.

— Отставить! — тишайшим воплем остановил их капитан. Гофман подчинился, с явным усилием — хотя ему тоже было понятно, что слишком далеко... слишком мал шанс попасть с неисправным прицельным приспособлением.

— Уходим! — рычал на них капитан, подгоняя. — Живо. Живо. Собирай манатки.

Антон уже терзал вставший колом брезент. Пересушенный солнцем за долгий день, он никак не хотел разворачиваться. Путались картонные сгибы. Гофман, лязгая металлом, отмыкал треногу. Пот брызгами отлетал от его разгоряченной шеи.

— Скорее! — надсаживался капитан. — Скорее.

Словно прозревший кожей спины, Антон почувствовал вдруг, как черточка далекой фигуры опять шевельнулась — и жуткий, пугающий одним своим присутствием Черный начал вытягиваться в тугую струну, заламывая сверху провал лица и чудовищные свои многопалые руки, словно пытался облапить ими всё небо... и как в последний раз перед тем, как закончить, будто растянутый на невидимом распятии, он обмел взглядом окрест и ненароком коснулся этим взглядом оголенной Антоновой кожи — и мгновенная корявая судорога свела все тело от этого прикосновения. К счастью, длилось это совсем недолго — короткую часть мгновения — и истерическое желание содрать с себя паутину этого взгляда, пусть даже с ключьями собственной кожи, не успело оформиться ни во что конкретное. Очень мешал Спичкин, бестолково суетящийся под ногами и наспех хватающий с земли что попало — хватающий, роняющий, нагибающийся за оброненным. Множество мелких бесполезных движений смазывались в одно — большое и бесполезное. Потом Антон увидел вдруг прямо перед собой кирпичное от загара лицо капитана, распахнутый мелкозубый рот, выкрикивающий что-то, целое усилие потребовалось, чтобы включиться в звук — "сейчас лопнет! — орал капитан, уже не таясь... — скорее... сейчас... лопнет!"

Этот выкрик, совершенно непонятный, однако добавил им прыти... хотя казалось, что двигаться быстрее уже невозможно — Гофман, выламывая затвор, выпутывал патронную ленту из горячих оружейных потрохов. Выдернув, не глядя швырнул за спину — она больно стукнула Антона по плечу. Не обращая внимания на ушибы, тот наваливал

ленту на себя — тяжеленные гусеничные сегменты. Скорее, скорее. Они швырнули "дуру" на брезент, кое-как смотали этот чудовищный сверток. Гофман, крикнув, подсел под ношу, рывков оторвал ее от земли, рывком же поправил на плече. Парк словно отлетел куда-то назад. Обнимая обеими руками оружейный скарб, Антон еле поспевал за тяжело рысящим Гофманом, они обогнали Спичкина, который тянул за собой старика Лужина, потом их обогнал капитан. Перемороженный камень осыпи покатился им под ноги, ошипанные метлы сосновой молодки зашлепали по резиновым голенищам. Гофман, швыряя щебень из-под каблуков, шустро уходил вверх по склону с "дурой" на одном плече. Антон безнадежно отстал. Болталась размотавшаяся лента — пребольно долбя о колено. Он думал только — не наступить ненароком. Внезапно осыпь закончилась, округлившись в присыпанный снежной крупной гребень. Антон судорожно через него переполз, увязая ногами. Гофман был уже далеко внизу — летел по склону, вздымая снежно-пылевые облака. По ту сторону снега было побольше, но все равно он был сухой, крупчатый, смешанный с толченым камнем.. Ухая и шлепая, как спешащий тюлень, мимо пробежал Спичкин. Антон перевел дыхание, перехватил проклятую расползающуюся ленту, и побежал тоже, разгоняясь под уклон. Слава богу, Черный остался за гребнем. Слава богу. Камень сползал вниз, шелестя вокруг, как ореховая скорлупа.

Потом камень закончился. Полетел под ногами подмороженный спутанный дерн, должно быть и бывший альпийским лугом. Здесь уже попадались целые островки настоящего снега. Их приходилось огигать, виляя как заяц — под снегом наверняка таились выбоины, только и ждущие неосторожного шага. Блестела поверх слюдяная корка.

Разогнавшись, Антон обогнал старика и Спичкина. Потом споткнулся и уронил ленту — пока поднимался, пока сматывал, они опять протоптали мимо, брызгая снегом из-под обуви и потом из-под одежды.

Склон никак не мог закончиться. Наконец, он изогнулся под ногами и пошел более полого. Миновав группу корявых сосен — их сучья были словно нарочито замысловато искривлены — капитан остановился.

Гофман сбросил "дуру" на дерн, упал рядом на колени и захрипел, словно загнанная насмерть лошадь.

Добежавший Спичкин, отпустил старика и тоже повалился. Тихо, словно присушенный морозом стебель, осел старик Лужин.

Чувствуя, что и сам сейчас свалится, Антон доковылял до «дуры» и, задыхаясь, принялся сматывать с себя звенья патронной ленты. Они все не кончались. Господи, да сколько же их тут? Росла брякающая гряда у ног. Лаокоон, удушанный железными змеями.

— Это они... — задушенно просипел Гофман. — Видели?! Это они делают!

— Я понял, — сдавленно сказал Спичкин, растирая пунцовые пятна по щекам. — Я все понял...

— Молчать! — сказал капитан. — Не надо. Все всё поняли...

Клубящийся пар дыхания возносился над головами. Почувствовалось вдруг, насколько здесь холодно. Особый высокогорный холод, проникающий в самые кости.

Они сгрудились плечами в тесный кружок — опалая дыханием сомкнутые в единый комок руки.

— Это ты что... почувствовал его, что ли? — просипел Гофман. — Или что смещаться сейчас начнет?

— Да... — сказал капитан. — Почувствовал.

— А как это?

Тот помотал головой.

— Не спрашивай. Все равно не знаю. Просто почувствовал и все...

— Сходить бы, — с тоской сказал Гофман. — Подняться на гребень. Посмотреть... Что там сейчас?

— Море... — приподнял голову Спичкин. — А вдруг море, а?

— Да какая разница... — сказал капитан.

Спичкин опустил голову и вдруг затрясся — ходуном заходили плечи. Очки, дребезжа стеклами, поехали с носа.

— Эй! — Гофман не глядя ткнул его локтем. — Уймись!

— Да я просто... так просто... — Спичкин шмыгнул носом. — Только сейчас в голову пришло — я ведь никогда еще моря не видел. Ни разу. Представляете? Не только моря — вообще большой воды, чтобы без берегов. Я ведь на Урале жил. Какое там море?..

Некоторое время все молчали. Сквозил ветерок, елозя по камню — ерошил дерн, и хвоинки на ближайшей сосне с неживым звуком стукались одна о другую.

— Вот ведь суки, — не выдержал наконец Гофман. — А ведь я давно чуюл, что не без них обошлось. А оно вон как! Суки Черные... припадочные!

— Не надо! — опять сказал капитан. — Не надо сейчас.

Гофман выудил свои здоровенные ручищи из сердцевины клубка, которым стали их ладони, и накрыл ими клубок сверху.

— Много порастеряли-то? — спросил он.

— По-моему — ничего, — ответил капитан. — По мелочи может что и пороняли, а так — все на месте.

— Уходить надо, — сказал Гофман. — Прямо сейчас. Одеты легко... Это же горы — померзнем на хрен.

— Можно эту штуку вон — развернуть, — Спичкин кивком указал на "дуру". — Взять брезент и использовать как пончо. В горах же солнце всегда, а холод только от камня. Теплая одежда не очень нужна, а нужна защита от ветра...

— Ну, турист! — возмутился Гофман. — Придумал тоже — расчехлить. Если б ты еще не ронял ее через два шага на третий. Она же грязью забьется, стрелять не будет. Чистить чем будешь? А смазывать? Козюлками?

— Ладно, закончили, — велел капитан. Вытащил руки, разом расцепив тесный клубок. — Укладываем снаряжение и идем.

— А куда? — вяло поинтересовался Спичкин.

— За мной! — сказал капитан, изобразив что-то похожее на усмешку судорожным уголком рта. — Только за мной, Миша. В ближайшие теплые страны.

На этот раз оказалось — пустыня. Ребристый полосатый песок. Очень твердый — то ли утрамбованный ветром, то ли просто слежавшийся — ноги не проваливались совсем. Шагалось — не как по асфальту, конечно, но как по очень хорошо утоптанной тропинке. Только тропинка была очень широкой — от горизонта до горизонта.

— Стоп, — скомандовал капитан. — Привал.

Они вышли к пустыне после почти восьмичасового непрерывного марша. Хорошо еще, что путь шел под пологий уклон, подъем они вряд ли осилили бы. Проклятый ветер выдул, казалось, все тепло из тела. Страшно мерзли пальцы. Ног Антон просто не чувствовал. Больше всего мучений доставляла патронная лента — перевязать бухту оказалось нечем (веревку потеряли), она постоянно расползлась, и приходилось поправлять ее, обжигаясь о накаленные холодом гильзы.

Даже сейчас, распластавшись на горячем песке, он мерз.

Колени стучали, соприкасаясь.

Да падет холод на живот твой, на кровь твою, на твою кость. От кого он это слышал? Или читал? Не помню.

Неважно, подумал Антон. Главное — живы.

Главное — капитан не ошибся. Повернул куда надо и вывел — прямо на границу смыкающихся пространств. Просто угадал, или опять почувствовал? Ох, пора бы разобраться с нашими чувствами, ох, пора бы... Явно что-то не то с ними творится. Обостряются, замирают — когда им вздумается.

Он догадался, наконец, вылезти из штормовки, хрустящей смерзшимся льдом на сгибах. Стало гораздо лучше. Горячий песок приятно затекал под майку. Отдавливая пятки, он тянул с ног холоднющие сапоги. От носков уже оставались лохмотья и выпирающие кости ступней опасно багровели. Срочно пора сделать что-то с обувью. Резиновый сапог на голую ногу — неудачное сочетание. Надо было надеть шерстяной носок, когда собирался на картошку, тетка всегда так говорила — надень носки, не порть ноги. Вот старый мудрый человек. Надо было послушаться.

Они какое-то время лежали на песке, обратив кверху пупырчатые животы — обессиленные, как рыбы. Потом зашевелились в поисках брошенной одежды. Солнце здесь полыхало немилосердно — внутрь тепло еще не проникло, а кожа уже краснела и шелушилась.

Для отдыха пустыня годилась не больше, чем каменный склон. Так, перевести дух... и двигаться дальше.

Но они всё медлили с выходом, всё никак не могли прийти в себя.

— Мы же туда не пойдем? — с надеждой спросил Спичкин.

Пустыня, распахнутая куда-то в бесконечность, пугала. Стиральная доска твердых песочных горбов. Абсолютно голая, если не считать редких былинок, с крючковой загогулиной на конце. Дно древнего высохшего моря. В отвесных лучах солнца песчаная соль блестела, как стекло.

Из неприметной норы вынырнул вдруг скорпион — большой, как комнатная черепашка. Посмотрел на людей, изгибая полумесяцем костистое брюшко и отпятился назад, в горячую темноту.

— Попробуем двигаться вдоль границы, — решил капитан.

Они попробовали тащиться по раскаленному песку вдоль снежного склона, время от времени переходя на сам склон, когда жара становилась совсем уж невыносимой. Рельеф склона понемногу менялся — дерн и щебень уступали место плотно притиснутым глыбам. Горная круча поднималась все выше и выше, подножье горы все истончалось. Белели над головой присыпанные снегом карнизы. До них было уже не дотянуться.

Сколько мы так продержимся? — подумал Антон. — Ну, вот правда, интересно — сколько? Жар, холод, жар, холод. Из огня, да в полымя, так кажется. И это на фоне постоянной крайней усталости. Вряд ли долго. Он понял вдруг, что совершенно спокойно, цинично, с какой-то даже отстраненностью, размышляет — кто первый из них умрет. Скорее всего — старик Лужин. Хотя, кто его знает, со стариками всегда так, есть же порода — гнить будет заживо, а родню всю переживет.

Лужин, он и на вид-то был уже мертвый, тнки — развалится... но, с другой стороны — поклажу на него не вьючат, как на лошадь, налегке идет, да еще и помогают иной раз, а жрет, как молодой, тушенки вон полбанки умял, флегматично так... Он удивился своим мыслям — словно подслушал кого-то чужого внутри головы.

Звереем потихоньку, что ли? Наверное... И, если бы не усталость, давно бы уже озверели.

Ещё через пару часов путь им преградило препятствие — в том месте, где скала становилась совсем отвесной и горячий песок наметало прямо на камень, победила пустыня... гора треснула и обрушилась, засыпав половину пустыни обломками. Впереди, насколько хватало глаз, громоздилась мешанина из расколотых черных глыб, уже присыпанных песком. Опасно зубрились острые отломы.

— Ну нахрен... — раздосадованно сказал Гофман. — Ноги переломаем...

Их робким планам снова пришел конец, даже Спичкину это было понятно. Двигаться по лету вдоль зимы сделалось невозможно — язык этого грандиозного обвала уходил далеко в пустыню, словно рухнувшая гора была размером с Эверест. Капитан долго всматривался туда из-под ладони и ничего не сказал, но Антон увидел ненароком — во взгляде его сквозила тревожная черная тоска.

Солнце и нулевая влажность были способны высушить человека за сутки.

Они поочередно наполнили водой обе пластиковые бутылки — пришлось бегать туда-сюда по скалам к снежным карнизам, натрамбовывать рыхлые снежки в бутылочное горлышко, потом на песочную сковороду — растапливать темную влагу. На это ушло часа два, тающий в бутылки снег прибавлял в ее содержимому объем не толще пальца.

Потом — а говорят, что подарки не падают с неба — они набрали на тушу винторогого козла, задушенного большой хищной кошкой, немного похожей на барса. Но не барсом. Шкура зверя была косматой, грязновато-белой с рыжими подпалинами. Словно звездчатая. Зверь пронзительно зашипел на них с уступа, но защищать добычу не решился. Гофману даже не пришлось тратить запланированный патрон — когда до зверя оставалось шагов двадцать, тот не выдержал, белой молнией взметнулся на уступ повыше, оттуда — на гребень, еще раз зашипел на приближающихся людей и сгинул.

Они, вдвоем со Спичкиным — Гофман прикрывал их на всякий случай — выволокли тушу, отчаянно цепляющуюся рогами за что не попадая, на границу двух пространств и, опять-таки вдвоем, но уже с капита-

ном — ножей было только два — освеживали, насклеи не слишком-то обильное мясо на тонкие полосы и развесили в пустыне на ствол "дуры". Мясо вялилось, издавая неприятный травянистый запах, и через еще пару часов обратилось под солнцем в неопрятные бурые лохмотья, лопающиеся на сгибах, как пересушенные лепешки.

— Ничего, — сказал капитан. — Если найдем котелок, сварим похлебку.

Если найдем. Если дойдем. Если сварим. Слишком уж много "если" накопилось.

— А вы уверены, что это земной козел? — встрял Спичкин. Пребывание в пустыне, кажется, давалось ему труднее, чем остальным. Его светлая кожа сделалась цвета вареного рака. Очки он снял — сквозь линзы солнце выжигало глаза — и ходил теперь, на всё подслеповато щурясь. Без очков его глазки оказались вдруг комически крохотными. — Уверены, что это вообще можно есть? Не отравимся?

— Ты о чем? — спросили его. — Он же травоядный.

— Я о совместимости протеиновых цепочек. Мышечная ткань, да и вообще любой белок ведь из таких цепочек состоит. Если они сильно отличаются, кровь насыщается непереваренным белком и... В общем, дело тут в различной физиологии. Я что-то слышал про такое, в теории, разумеется. Если, допустим, организм не земной, и его физиологические процессы иные...

Гофман рассердился уже по-настоящему.

— Почему бы тебе, — сказал он, — нормальную теорему не придумать? Оптимистическую, а?.. Чтобы хоть раз жизнь медом оказалась. Так нет... только каркать... А еще очки... снял... Никогда вас не любил, умников.

Они вернулись на склон и придирчиво осмотрели козлиную голову — замысловато гнутые рога, распухший синий язык, кустистую шерсть на нижней челюсти.

— Вроде обычный козел, — сказал капитан, заглянув в тесные сточенные зубы. — А? Миша... чего молчишь? Обычный козел или нет?

— Не знаю, — уныло ответил Спичкин. — В Свердловске такие не водятся. У бабки был на даче — не похож вроде. У этого глаза грустные.

— Тьфу! — сказал Гофман.

— А разве козлы еще, кроме как на Земле, где-нибудь водятся? — попытался капитан. — На других планетах? Ну, или в других мирах — откуда они сюда сместились? Маловероятно ведь?

— Козлов всюду хватает! — заявил обиженный Гофман.

Они дождались, когда яркость солнца чуть ослабнет, всё мотаясь между пустыней и снежным предгорьем — рассчитывая в недолгих сумерках одолеть километров двадцать. Тащится в полдень по такой жаре — наверняка было бы самоубийством. Но частые переходы из климата в климат убили в них последние силы. Антон чувствовал, что его серьезно лихорадит. Когда слепящий диск скатился до половины неба, он ходил уже словно на соломенных ногах. "Дура" потяжелела, кажется, еще килограммов на пятьдесят. Штормовка драла обгоревшие плечи, как наждак — майкой, равно как и другими "нижними" вещами, пришлось пожертвовать, оберегая от солнца патроны. Гильзы раскалялись моментально — так, что не прикоснуться.

— Вроде не должны от солнца рвануть, — сказал Гофман, — но хрен его знает, что это за солнце... Лучше перестраховаться.

Антон со Спичкиным привычно впряглись в «дуру». Спичкин волок тяжелую казенную часть — выставив бледный живот из распахнутого пиджака.

Солнце уже не пекло как сумасшедшее — склоняясь к горизонту, слепило глаза. Но вечер не приносил прохлады — этот странный песок был до того раскален за день и остывал до того медленно, что они шли будто по углям.

Он понемногу начинал бредить...

А ведь еще была такая штука — испанский сапожок. Тесный сапог из сыромятной кожи — надевался на ногу связанного человека, и того придвигали к огню. Антон сосредоточенно смотрел себе под ноги, и на сами ноги — на размяченную, как пластилин, резину картофельной обуви. Шаг... шаг... раз-два-три... Двадцать километров — это сорок тысяч шагов. Нет, считать шагами страшно — слишком уж большие числа получаются. Лучше так — двадцать километров, это четыре часа ходьбы. Уже легче. Хотя, это если налегке... да на холодке. Пять километров в час. Скорость пешехода. В их положении — скорее три километра. Значит часов шесть, шесть с половиной. Господи, подумал Антон. Да это же вечность. Лучше уж шагами считать — так хоть цифры меняются. Шаг... шаг... раз-два-три... А, вообще, какая разница — ясно же, что если он и дойдет до края пустыни, то просто окажется без ног. Или сотрутся или расплавятся. Это же нереально — в резиновых сапогах по сковородке. Даже если эти двадцать километров когда-нибудь кончатся — что там... за ними? По крайней мере, они уже не выйдут из зоны этих невероятных Смещений, как им мнилось поначалу. Никакой финишной ленточки не будет, это же ясно. Как божий день. Раз-два-три... Ну, все, хватит, сказал себе Антон. Что-то ты зациклился на пе-

речислении тягот. Сколько же можно? Не о том надо думать. — А о чем? — сразу же спросил кто-то внутри его головы. — О том, что происходит, вот о чем. Спичкин — трепло, конечно, но он прав, нужно искать объяснение, искать решения, бороться. — Ну, ищи... — согласился этот кто-то. Солнце плеснуло в глаза, словно расплавленное стекло. Он честно пытался начать думать, и у него почти получилось, но тут — "бу-бу-бу-бу" — за спиной опять заболботал Спичкин. Против воли Антон начал прислушиваться. — Скорпион — жуткое существо, — бормотал Спичкин. — Жуткое, опасное... и неэффективное. Оно нарушает принцип разумной достаточности. Это самый главный принцип в природе, должно быть. Эволюция всегда отсеивала избыточность. Ни к чему иметь три ноги, если достаточно двух. — Недостаточно, — подумал Антон. — Мне нужны целых четыре. Я шел бы ими по очереди. — Возьмем змею, — сказал вдруг Спичкин, и Антон перепугался — вдруг и вправду возьмет. Голыми руками. — У змеи, — сказал Спичкин, — очень скупая вооруженность — два ядовитых зуба и всё... Всё! Змея — узкий специалист. — Тонкий специалист, — хотел поправить Антон, но опять не успел. — Змея — воплощение принципа разумной достаточности. Теперь возьмем скорпиона. Черт... убежал... Но, все равно, посмотрите — клешни, когти на остальных лапах, клыки, жвала вокруг челюсти, да еще и ядовитый хвост. Он, должно быть, опасен самому себе. А нам, сказал Спичкин, нам зачем столько оружия, оно же тяжелое, я считаю, нужно взять только нож для хлеба и нож для отрывания консервов. — И тяпку, — сказала невесть откуда взявшаяся тетка. — Тяпку не забудь. Вдруг найдем нашу картошечку. — Ну, хорошо, — неохотно согласился Спичкин. — Тяпку можно. Но... без черенка — во• первых, с черенком тяжелее, а во-вторых, можно нечаянно наступить. — Так-то грабли... — обиженно сказала тетка. — Эх, вы, тюхи городские... Да, ну вас... — Антон забыл о тетке сразу, как только увидел — солнце коснулось горизонта и вдруг опять начало подниматься. Его обдало горячим ужасом. — Вы чего делаете? — едва не заорал он. — Чего творите? Мы же подохнем все здесь... — Солнце немо и немилосердно жгло прямо внутрь черепа — не было сил ему сопротивляться. Вообще ни на что не было сил. "Дура" весила уже целую тонну. Причем, это была не честная тонна стального сплава, а тонна мертвого, глухого к стомам свинца. Даже глупо было спорить — что тяжелее. Что бы там не утверждали физики, как бы не выгораживал их Спичкин... Они же все ошибались, с внезапной ясностью понял Антон. Ошибались все, как один. Мир устроен совсем не так. Это тоже ясно, как божий день... День Божий... громко сказал Антон. Какой же он к черту Божий, если такое

пекло? Пекло, громко сказал Антон. Не пекло, поправил сам себя, а пеклО. Пек-лО. Печеные яблоки, понимаешь. Или картошку — пеклО. Ну, ладно, согласился тот, первый Антон, ладно, но все равно — филологически неверно. Второй Антон обрадовался было появлению эрудированного собеседника, но потом решил, что спорить с самим собой глупо и вновь помрачнел. Некоторое время оба Антона молча шли рядом, никак не желая соединиться. Потом первый Антон спросил, сколько времени-то прошло, сколько идем-то?.. два часа, сказал второй, два часа истекло. Какое стекло? — не понял Антон. — Зачем стекло? — не понял другой Антон, — и так все видно. — Ты только что сказал — стекло, — напомнил Антон. — Я так сказал? — удивился Антон. — Я не сказал, я перечислил. — В том то и дело, что ты перечислил, — сказал Антон. — Ты не должен был это перечислять. Это несопоставимые предметы. — Как это так? — возразил Антон. — Это имена существительные, они подлежат перечислению. — Тогда, где здесь стекло? — закричал Антон. — Где ты видишь стекло? — Да кругом, — примирительно сказал Антон. — Видишь, кругом блестит. — Кругом действительно блестело. Кругом. — Куда ты? — удивился Антон. — Эй, вернись... — Ты же сказал — кругом, — заорал Антон, совершенно сбитый с толку. — Сказал — кругом! Что теперь делать? Куда нам теперь идти? А? — Антоша, — сказала тетка, выдыхая удушливый запах смородинового морса. — Антоша, сынок. Ты уже покрасил гараж? — Да подожди, тетя Маш, — сказал Антон. — Ты слышала — он сказал "кругом"? — Вижу, — кивнула тетка, — вижу, что покрасил... Молодец! — Я сказал "стекло", — отрезал тот, неуступчивый, Антон. — Ты, — задохнувшись от тихого бешенства сказал Антон, — ты объединил два несвязанных существительных соединительным местоимением, ты... — Ни хрена себе, — над самым ухом сказал Гофман, но Антон от него только отмахнулся. Сейчас Гофман был ему неинтересен. — Тогда... — потребовал Антон, припертый к стенке, — тогда скажи куда истекло? Куда, вообще, обычно истекает стекло? — Антон сбросил "дуру" на песок и вялой обескровленной рукой замахнулся, чтобы ударить.

Потом пустыня, в которой кругом стекло повернулась кругом, потом еще раз кругом, потом на голову Антону полилась до отвращения теплая вода. Пахучая, как смородиновый морс. Он замотал протестующе головой, и сразу обнаружилось, что он лежит затылком в чьих-то ладонях, и затылок его мокр, и во рту мокро, и прямо в лицо направлено горлышко бутылки, из которого нестерпимо несет снегом и вяленным козлиным мясом. Хватит, хотел сказать он, но вода всё текла — худенькой струйкой, едва смачивая растрескавшиеся губы. Потом он вдруг

весь стал мокр, с головы до пят. Пробило испариной — словно обернуло мокрой простыней. Сразу стало легче — какое-то невероятное облегчение. Даже сухой треск в ушах — который, только сейчас понял Антон, был все это время — даже треск поутих.

— Ну, слава богу, — сказал Гофман, голосом, становящимся все более четким по мере исчезновения треска. — Живой.

Его лицо было в поле зрения — совсем обычное лицо, только обугленное солнцем до черноты.

— Сколько же он его тащил? — с ужасом почти благоговейным сказал капитан. — И его, и установку. Часа два, наверное. И ведь не пикнул даже.

— Кремень! — подтвердил Гофман, ободряюще похлопывая Антона по разным местам. — А я смотрю, они даже ронять ее перестали...

— Лучше надо смотреть! — раздраженно выговорил ему капитан. — Ты же замыкающий... едреный корень...

— Дык... — нечленораздельно оправдывался Гофман. — Их же не разберешь... Они же оба бормочут все время... Кто ж думал, что этот на том повиснет... Они ж бодро топали, только шатались...

— Не знаю, как так получилось... — бормотал Спичкин. — Отключился, наверное. На жаре голова вообще не соображает. Да я бы не в жизнь... Дядь Коля... Я же всегда нормально шел.

— Короче, толстый... — сказал ему Гофман. — Я тебя предупреждал уже — стой сам на своих культипках... Еще раз повиснешь на ком-нибудь...

— Ну, дядя Коля... — сказал Спичкин. — Я же говорю — отключился. Не знаю, как получилось. Ну, давайте — я дальше ее один понесу.

— Понесу! — передразнил Гофман. — А потом — ко мне, на закорки? Ты же филонишь — рефлекторно... Патроны лучше возьми. Антоха, отдай ему. И смотри... смотри у меня! — он соорудил огромный пятнистый кулак и показал его Спичкину. — У-у... х-химера...

Капитан снова возник рядом, хмуро посмотрел на обоих, потом перевел взгляд на полурасплавленные Антоновы сапоги.

— А с ногами что?

— Твою ж мать! — спохватился Гофман.

— Не снимай, — предостерег капитан. — Срезай лучше...

Они распорили дымящуюся резину ножом и осторожно отняли от ног липкие лоскуты.

— Не так плохо еще, — констатировал капитан, осмотрев распухшие ступни. — Ходить сможешь. Сможешь ведь?

— Смогу, — сказал Антон. — Куда я денусь...

Голова уже совсем не кружилась. Только горячая игла, вонзенная в темя — чуть-чуть в нем подрагивала.

— Чуни тебе свяжем, — сказал Гофман. — Сейчас тряпок найду.

— А почему нельзя ночи дожждаться? — виновато спросил Спичкин. — Ночью хоть не жарко...

— Потому что здесь тебе не Свердловск... — уходя, сказал Гофман.

Ночь все-таки состоялась, но была короткой, как выстрел, и совершенно непроглядной, как угольная шахта. Ярчайшие звезды существовали в ней сами по себе, не освещая ничего, кроме небесной выси. Сумерки заняли секунд тридцать — они едва успели выбрать ложбинку для ночлега, и уронить на нее вещи. Потом свет разом померк и растворился...

Антон стоял во мраке под этими звездами, едва держась на ногах, но опасаясь ложиться — слышал, как стучат, пересыпаясь, песчинки, как звонко шелкают, остывая, горбы барханов... и как хрустит песок, вмываясь под лапами невидимых в темноте скорпионов.

Потом он уснул... или подумал, что уснул — почти сразу солнце выплеснулось из-за горизонта, а он всё еще был на ногах.

Торопясь в крепнущем зареве рассвета, они подняли снаряжение и впряглись в «дуру» — и Антон готов был поклясться, что видел свою ухмыляющуюся смерть в стремительно редящей темноте между барханами.

Но утренние двадцать километров, к его огромному удивлению, никого не убили. Быть может потому, что они плюнули на темп движения и теперь просто тащились куда-то, поминутно останавливаясь и вытряхивая из тряпочных чуней набившийся туда песок. Песок был просто вездесущ. На зубах то и дело наждачно поскрипывало.

К полудню — не к астрономическим двенадцати часам, а к тому времени, когда солнце оторвалось от песка и снова занялось выжиганием по мозгу — они добрались наконец до границы очередного Смещения. Капитан, почувявший вдруг какую-то перемену впереди, перестал быть мрачным, как грозовая туча, и заторопил их изморенную жарой вереницу.

— Давайте-давайте. Веселее. Немного осталось.

Через сотню шагов пустыня вокруг действительно сделалась другой. Исчезла слепящая знойная завеса перед самым лицом, исчез полосатый слежавшийся песок, под ногами теперь была пухлая, мучнистая пыль — очень тонкая и летучая, похожая скорее на прах или перемоло-

тый пепел. Каждый шаг вздымал целые облака этой пыли. Страшно что будет, если поднимется ветер...

Другим же, грязновато-белым, как шкура того косматого кота, было небо... и уж совершенно другим было солнце — пронзительного голубого цвета, очень яркое... но, видимо, очень далекое — с железный рубль размером, абсолютно не греющее.

Гофман снял с плеча "дуру" и осторожно, стараясь не поднимать пыли, опустил ее у ног.

— Ну, — сказал он, промокая лысину рукавом. — Чего молчишь, профессор? Давай свою теорему...

— Не будет теории, — сказал Спичкин. — Факты опять противоречат... Я ничего уже не понимаю.

Он осторожно понюхал воздух, сделав непонятное движение ртом, должно быть — попробовал его на вкус. — Суховат, вроде. И горьковат... — Потом вдруг обессиленно подпрыгнул, поднимая обильные клубы.

— Это явно ведь не фрагмент Земли! Но почему тогда я не чувствую никакой разницы? Атмосфера... сила тяжести... Дыхание. Раз мы дышим — значит кислород есть... и азот — в той самой, примерно нужной нам пропорции. Кто-нибудь чувствует что-нибудь странное? Дядя Коля, ну не надо опять, — попросил он Гофмана. — Ты же понимаешь, о чем я говорю? Головокружение... или там тошнота? Какие-нибудь симптомы отравления? Через легкие отравиться проще всего. Газовый состав крови — это ведь основа физиологии. Я понимаю — мы так устаем, что трудно понять... Но хоть что-нибудь? Нет?

— В носу свербит, — сказал Гофман. — Но это от пыли.

— Ничего не понимаю, — почти всплакнул Спичкин. — Я ошибался, думая, что это пара из двух планет обмениваются массой друг с другом. Каждый раз, когда мы переходим... я смотрю на небо. Прежде всего — на небо... Знаете, что я заметил? Каждый раз это разное солнце, и каждый раз у него своя особенная траектория перемещения через небосвод. Мы словно шагаем с планеты на планету. Но, если так, то какова вероятность, что Смещению подверглись только миры с идентичным газовым составом атмосферы? Почему везде, даже в самых невероятных ландшафтах, мы сохраняем способность дышать? Это совершенно не вяжется... Если только... — он полез в карман за очками, знакомо округляя глаза. — Смещение проходит отнюдь не бессистемно — существует какой-то фильтр, комбинирующих фрагменты по совокупности признаков... Очень может быть... Правда, механизм этого явления не совсем понятен...

Гофман ошалело покрутил лысой головой.

— А другие механизмы, — спросил он, — значит, тебе понятны? Ну и фрукт же ты...

— Дядя Коля, — задержался Спичкин, — ну я же объяснял уже. Не в этом дело. Я же не претендую... Я лишь логикой пытаюсь осмыслить. Если выводы не противоречивы, и не расходятся с наблюдаемыми фактами...

— Не пыли! — посоветовал ему капитан. Присев на корточки, он принялся сгружать с себя ношу. — Место вроде бы не опасное. Давайте отдыхать.

Они присели вокруг груды вещей, заворочались, выбирая положение поудобнее. Такого, однако, не оказалось. Зады проваливались в мягкую пыль, колени шатко в ней расползались. К тому же каждое движение поднимало кубометры пыли в и без того запорошенный ею воздух. Через пару минут уже першило в горле и слезно щипало глаза.

— Вот тебе твои симптомы... — проворчал Гофман.

Антон вдруг словно толкнуло.

Как всегда, внезапно, пробудилось сверхчувствительное обоняние — словно жаром обдало рецепторы. Он вскочил, содрогаясь... руки сами собой зажали нос. Немыслимая вонь сгоревшей плоти и паленого волоса затекла в горло и закупорила его — спазмом сомкнуло гортань. Почти сразу же отпустило — шок, должно быть, оказался слишком силен. Была только одна мысль — не закричать. Это же пепел. Пепел. Он боялся шевельнуться — казалось стоит переступить, как хрустнет под ногой уцелевшая, не перемолотая огнем косточка. Такого, конечно, не могло быть. Не могло. Но в этот пепел он все равно больше не сядет. Ни за что!

На него посмотрели и молчком зашевелились, словно всё поняв.

— Ладно, пошли, — не выдержал капитан. — Не отдохнем толком, только измаемся.

Они поднялись, нагрузились поклажей, и побрели дальше. Ноги наступали в пепел-пыль мягко и беззвучно, пухлые облачка поднимались и оставались висеть. Насыпавшийся в чуни пепел ощущался нежным, как детская присыпка.

Все равно, ступать по нему было до одури страшно.

Голубое солнце отблескивало на выбеленном картонном небе, совершенно мирное на вид.

Но пепел под ногами говорил об обратном.

Так, наверное, чувствуют себя приговоренные под занесенным уже топором, подумал Антон. Или перед расстрелом. Предчувствие пули,

должно быть, вот так же сдавливает затылок. Смотреть на солнце было жутко, но и не смотреть — невозможно. Он то и дело стрелял наверх глазами. Чтобы занять чем-то голову, он снова начал считать шаги. Дважды он доходил до тысячи, потом сбивался.

Но сбиться в третий раз не успел — они увидели грузовик. Антон ждал, когда же кто-нибудь из них воскликнет удивленно, или укажет рукой... или хотя бы остановится... но удивление почему-то никак не приходило. Они продолжали монотонно шагать, поднимая ногами концентрические облачка. Антон решил было, что они безразлично пройдут мимо. Конечно — не прошли.

Кабина грузовика была пустой — топорщилась распахнутая дверца, обреченно лоснился кожзам сидения. Пепла внутри почему-то не натекло. Лаково блестело рулевое колесо. Они остановились у самой кабины и постояли в нерешительности, словно соображая — стоит ли тратить время на очередную бесполезную находку. Потом капитан сунулся под капот, Гофман же — Антон отметил вдруг, что тот еле-еле волочит ноги — обошел грузовик со стороны кузова, грузно повис на заднем борту, а потом, деревянно шаркая ладонями, полез наверх.

— Что там? — спросил его капитан.

— Доски... — отозвался Гофман, перевесившись через борт. — Еще доски... Пиломатериал, короче. Кому-нибудь, надо?

Никто не улыбнулся.

Капитан отошел от капота, вытирая ладони.

— Баки сухие, — мимоходом сказал он. — Пошли.

— А водитель где? — в пустое пространство спросил Спичкин.

Тяготясь молчанием, они снова, как муравьи, облепили поклажу. Антон, опережая непривычно вялого, видимо смертельно уставшего Гофмана, подставил плечо под тяжелый конец "дуры"... грузовичок с распахнутой дверцей незаметно отодвинулся назад, сжался до размеров иголочного укола и, наконец, исчез бесследно. Пепел все тянулся и тянулся, безучастно выстилаясь километрами под ноги. Теней не было. Направлений не было тоже. Время остановилось еще вечность назад. Только сердце продолжало по инерции трепыхаться.

Темная полоса забрезжила было впереди, но через несколько часов стало понятно, что это горы — высокие, безжизненные и, видимо, непроходимые... — капитан, неловко дернувшись всем телом, повернул влево и повел группу в обход, по пепельной пустоте.

Голубое солнце незаметно опустилось в прах вздыбленного горизонта... оставаясь, однако, незамутненно голубым, и непомерные прозрачные тени, шершавыми кляксами поволоклись рядом.

Спичкин снова начал бредово бормотать на ходу, и Антон с опаской от него отодвинулся.

— Это же просто... — говорил Спичкин. — Очень просто и очень понятно. Необязательно обладать специальными знаниями. Нужно просто оперировать логикой. Нужно согласиться воспринимать мировую среду, как информационную структуру. Тогда многое становится объяснимым. Например, похожесть совмещаемых пространств, или даже идентичность их физических параметров... просто Смещение имеет какие-то дополнительные условия в виде, допустим, одной размерности информационного массива... или привязки одиночных элементов математического множества к себе подобным... или группировки элементов по совокупной сходности признаков. Дело лишь в том, что алгоритм сортировки массива несовершенен, не учтены все свойства сортируемых объектов, привязка их к выделенным семействам весьма условна, и размерность массива плывет... плывет...

Антон ничего не соображал в математике. Это были жуткие дебри. Некоторые слова были вроде знакомыми, но вместе не склеивались никак. Ни капли смысла не было в этом бормотании. Каша. Рисовая каша. Зернышко к зернышку.

Спичкин тоже говорил теперь о рисовых зернах. Еще древние индийцы... или шумеры... кто-то из них... в общем... подозревали... дескать, история мира записана на рисовых зернах! Представляете? Поэтому рис нельзя было ни молотить, ни толочь — чтобы не изменить упорядоченную богами структуру мира. Варить, только варить... Священнейший, самый святейший из запретов... Корову можешь ты доить... но рис молотить — не думай даже! Дядя Коля, а ты хоть знаешь, сколько информации можно записать на одном рисовом зерне? Эх, дядя Коля... До шести центнеров с гектара... — Он шумно упал, вздыбив целый пепельный ураган. — Кстати, — сказал он, выпроставшись из урагана, — отчего это все так выгорело? Звезда, которую мы наблюдаем — это, несомненно, голубой гигант... Голубой, хм... — он решил не развивать нахлынувшую ассоциацию... — гигант относится к классу очень крупных и очень горячих звезд. Орбиты их планет обычно имеют огромный эксцентриситет. Проще говоря — не круг, а сильно вытянутый эллипс... Планета, описывая подобную траекторию, то удаляется от солнца, то опасно приближается к нему...

— Замолкни, — прикрикнул кто-то из медленно тускнеющей темноты.

И из той же темноты, но уже сзади:

— Не отставай. Не отставай! Спичкин!

— Кстати... — оживился он. — Кстати о спичках... На спичке тоже можно записать историю мира. К счастью, это не легенда, это лишь логическая головоломка. В роли спички может выступать отрезок произвольной длины. Теоретически — любой, больше абстрактной точки и меньше бесконечности. Фокус в том, что текстовое послание любой длины можно представить в виде десятичной дроби. Не понимаете? Всё ещё не понимаете?! Тогда слушайте — любой алфавит... а так как мы люди русские, то будем иметь дело с русским алфавитом... можно перевести в бинарную систему исчисления. Нет, не в двоичную, а в бинарную — это совсем другое... То есть каждый символ выразим цифровой парой. Букву А запишем как ноль-один, букву Б — как ноль-два, В у нас станет ноль-три... и так далее... десятую по счету букву представим как один-ноль... какая у нас десятая? Да, неважно... Всего букв тридцать две, а максимальное значение, которое можно выразить парой цифр, девяносто девять... То есть комбинаций хватит и для знаков препинания, и для пробелов... И даже для смайликов... Мне кажется, что в истории мира, написанной богами, обязательно должны быть смайлики... Вот так... Потом все буквы, слова и предложения, образованные парами цифр, мы записываем в непрерывную строчку и получаем очень большое число. Чем длиннее текст, тем это число больше. Потом в начале строки добавляем ноль и десятичную точку. Образуется этакая длинная сверхточная дробь. Принимаем спичку за целую величину — и нам остается лишь найти инструмент, способный поставить на ней отметину, соответствующую данной дроби. Конечно, инструмент подобной точности невозможно себе даже вообразить, поэтому интерес этот метод представляет лишь теоретический. Важно не это — возможно кто-то, владеющий подобным методом, я не говорю этим, я говорю — подобным, сможет сохранять сколь угодно большие массивы информации на сколь угодно малом носителе. На спичках или рисовых зернах — все равно... Фактически... — он споткнулся и едва не упал, тон его сразу же стал возражительным. — Фактически это означает сравняться с Богом... Мир... — сказал он. — Мир не познан нами ни на мгновение. Мы видим лишь то, к чему обращаем взгляд, не охватывая картины не то, что целиком — не охватывая ее и более — менее крупными фрагментами. Наш взгляд, наша мысль — они тонут в мелочах. Мы не зрим сути. Не зрим ни концов спички, ни отметины на ней... — он споткнулся снова — упал и больше не поднимался...

Антон устало прошел мимо него и, если бы не замедлил шаги Гофман, несущий противоположный конец "дуры", наверное, так и не остановился бы. Но Гофман замедлился — постепенно, словно освобождая

ясь от зависимости ритма спасительных шаганий. Они оба остановились. Постояли, соображая — что теперь? Сняли с плеч давящую тяжесть, и сознание сразу же прояснилось. Спичкин лежал, погрузившись лицом в пепел, вытянутый как труп... и оброненная им патронная бухта валялась шагах в двадцати позади. Медленно, отдыхая после каждого шага, Антон сходил и принес.

Гофман перевернул лежащего. Вставай, вставай-вставай... Сейчас... — очень ясно и отчетливо сказал Спичкин. Сейчас встану... Но оставался лежать в том же положении. Грудь его ходила ходуном и поднятый дыханием пепел свободно затекал в горло... Вставай, заорал на него Гофман. Спичкин страшно напряг лицо — до помидорной мякоти. Ноги его мелко-мелко засучили, расталкивая пепел. Гофман сграбастал его за одежду и принялся тянуть, ревя, как белуга. Это уже было, подумал Антон. Было ведь? Много раз. Карусель какая-то. Вдвоем они подняли Спичкина на ноги и держали его прямо, позволяя продышаться и прокашляться. Он мягко обвисал у них на руках.

— Что опять? Что такое? — спросил капитан. У него был такой вид, словно ему пришлось вернуться, прошагав многие километры. Вид бесконечно разочарованного человека.

— Информация — это уникальное понятие... — сообщил ему Спичкин. — Она нематериальна по своей сути, но в процессе своего существования нуждается в материальном носителе... — капитан сморщился, но терпеливо слушал. — Мы научились накапливать ее и обрабатывать, но до сих пор не представляем первичного механизма. Ясно одно — информация лежит в основе всего. Это тот самый цемент в фундаменте мироздания. Кто владеет информацией — тот владеет этим миром. И другими мирами, если они существуют, он владеет тоже...

— Это бесполезно... — сказал Гофман. — Я знаю. Если его отпустить, он просто упадет.

Капитан ухватил Спичкина за что-то... неразличимое по периметру лица... и подтащил того к себе — едва ли не на расстояние поцелуя.

— Миша! — сказал он. — Миша, послушай-ка меня.

— Когда-то... — ответил Спичкин. — В среде интеллектуалов была популярна следующая гипотеза. Весь мир — а имелась в виду вся познаваемая вселенная, вся мировая материя — представляет собой не что иное, как особым образом организованную информацию, использующую в качестве носителя саму себя. Конечно, частично это возвращение к ветхой головоломке — что более первично, курица или яйцо, но все же...

— Миша... — с тоской сказал капитан. — Миша, послушай... остановись... — он вдруг порывисто перехватил Спичкина за само лицо и бережно, очень бережно, накрыл ему рот ладонью. — Послушай... Не надо ничего говорить — просто послушай меня! Миша! Четыреста... Ты же математик — ты понимаешь, что значит "четыреста"? — Спичкин часто закивал из-под ладони. — Это немного... — успокоил его капитан. — Совсем немного... Четыреста шагов, Миша... Всего четыреста шагов... Ты должен их пройти. Я там был, я дошел... Но мне пришлось вернуться. За тобой... Там кончается эта пыль... Маша, там — счастье! Там другая земля... мягкая трава... тепло, сухо... Можно будет лечь... Нет! — заорал он, потому что чьи-то колени вдруг подогнулись при этих словах, и их счетверенный уже человеческий сноп шатко закачался... — Спичкин, блядь... Не смей падать! Держите же его. Не сейчас, Миша, не здесь... Еще четыреста шагов.

— Я пойду! — сказал Спичкин.

— Не донесем... — глухо сказал Гофман.

Капитан отпустил Спичкину лицо — остались сиреневые, похожие на пролежни, пятна — и откатился на шаг назад. Он все еще старался оставаться железным. Левая нога у него заметно подволакивалась.

— Можно бросить оружие... — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Можно бросить члена группы... Можно остановиться всем и умереть...

— Я пойду... — повторял Спичкин.

— Я потащу его, — неожиданно для себя сказал Антон.

Стоять на месте было убийственно трудно. Ногам хотелось шагать. Приводить в движение окружающий мир. Без этого Антон уже чувствовал себя мертвым. Спичкин цеплялся, как утопающий. Держать его на весу — это ведь все равно, что тащить, сил тратится столько же, так что разницы никакой. А так хоть цифры меняются... Четыреста шагов — это действительно немного. Несколько часов ходьбы, может быть... Антон всё ждал, когда ему ответят, но вдруг оказалось, что вокруг никого нет, и что они медленно, с совершенно черепашьей скоростью — левая нога... правая нога... — ковыляют по непроницаемо-черному пеплу, что вокруг уже настоящая, жуткой красоты инопланетная ночь — стеклянный фиолетовый мрак, антрацитовое свечение неба... И гигантские голубые звезды падают на них сверху, расходясь в полете веером... бутонем салюта... метеоритным роем... насквозь протыкая газовый шелк атмосферы. Была настолько нездешняя, настолько щемящая красота вокруг, что Антон не выдержал — наклонился зачем-то к самому уху, и прошептал, мстительно съеживаясь, "я не верю тебе... Спич-

кин...". На эту простенькую фразу ушли, наверное, последние силы — Антон почувствовал, что внутри у него что-то кончилось, он расслабился и начал падать... но упасть всё не получалось... они продолжали ковылять, только теперь Спичкин поддерживал Антона мягким и округлым, как пудинг, плечом... ухо Антона оказалось напротив его рта, и Спичкин горячо шептал в него. — Я тебе по секрету скажу... — Не надо, — подумал Антон, но вслух возразить не успел. — Они думают, что от нас что-то зависит... — сказал Спичкин. Слова долетали вместе с комочками слюны. Непостижимо было, где Спичкин её брал — среди этого сухого пепла... — Ничего от нас не зависит. Ничегошеньки. Мы даже собственные поступки не можем определять. Они же говорили — иди только днем, силы беречь — а вот крохотная ошибка в одном разряде дроби — и мы шагаем уже двое суток подряд... — Двое суток?! — ужаснулся Антон. — Ты говоришь — двое суток?! Быть не может! ... — они ковыляли, сцепившись в одно неповоротливое шаткое существо. Их мысли и слова, произнесенные и мелькнувшие, тоже сцеплялись в одно целое. — Ты не понимаешь, — убеждал Спичкин. — Если принять то, что вселенная постоянно изменяется, совершенствуется, оставаясь при этом упорядоченной — то информационный массив, ее определяющий, должен быть самоорганизующимся, подверженным постоянным самопроверкам на структурную целостность. Одна ошибка, всего одна, способна внести сбой в алгоритм сортировки, и тогда Смещения элементов, его составляющих, нарастают... лавинообразно... — они оба споткнулись, Спичкин ужасающе громко чакнул зубами и — словно граммофонная игла перескочила на другую дорожку — продолжил невпопад. — Мы говорили о спичках, ты что же — не запомнил ничего? Если Вселенную принять за целую спичку, а наше место в ней — принять за значение дроби, можно прочесть историю мира, написанную для человечества. Неужели так сложно понять? Остается лишь один вопрос — что делать с постулатом о бесконечности границ познаваемого? Ведь еще Лейбниц утверждал, что... — что там такого утверждал Лейбниц Антон уже не расслышал — все поглотил треск под ногами. Какие-то сочные плети оббивали колени, потом надламывались и рвались с влажным хрустом. Прямо в лицо дохнуло вдруг развороченным черноземом. Они упали, сцепившись... потом долго и медленно пытались подняться, не разнимая объятий... потом до них вдруг дошло, что это и есть обещанная мягкая трава в конце пути. Мягкая трава за быстрой рекой в тени деревьев. — Там и отдохнем, — сказал полковник. — За рекой, в тени деревьев. — Почему — полковник? — еле ворочая языком, подумал Антон. — У нас нет никакого полковника. У нас — капи-

тан. Это еще круче. Только ему тоже никто не пишет. Значит... и его можно называть полковником? — Он отпустил Спичкина и провалился в черное...

Потом вынырнул — недоуменно посмотрел на измочаленные стебли около лица и снова скользнул в глубину... Проснулся еще раз — от того, что трясли за плечо. Капитан-полковник с лицом, которое поражало полнейшим отсутствием глаз, совал ему в руки неподъемный, перепачканный землей автомат и повторял... раз за разом повторял совершенно бессмысленную фразу — "охранять... охранять... охранять...". Антон глубокомысленно кивнул ему, капитан исчез, и он смог, наконец, снова заснуть...

И снова проснулся — от болезненных сердечных колик. Автомат отдавливал колени — где-то вне пределов досягаемости. Хватая ртом вязкий, как кисель, ночной воздух, он лежал, ощущая спиной комковатую землю и смотрел на смутно знакомый, хотя и несколько искаженный, рисунок созвездий. В астрономии он не был силен, но Большую медведицу узнал, даже развернутую под неприличным углом... так, что Малая Медведица оказалась внутри Большой. Она же беременная, по-настоящему Антон, беременная вторым Медвежонком...

Он снова заснул и уже не просыпался до самого утра...

Те стебли, в которых они столь безалаберно продрыхли всю ночь, оказались помидорными зарослями. Или томатными, Антон не знал, как будет правильно... Сам момент пробуждения не запомнился, как и процесс поиска оружия, разбросанного повсюду. В памяти о той ночи теснились обрывки — изломанные сочные кусты с крупными помидорами на них, пунцовая щека Спичкина, деревянные колышки с кукольными тряпочными бантиками. Снова Спичкин, который ошалело дотянулся до ближайшего помидора и съел... Потом красные прожилки в глазах Гофмана. Чтобы легче было прятаться в помидорах... Ствол "дуры" с налипшей жирной землей...

Полностью в себя Антон пришел уже около фермы...

Это была именно ферма, а не что-то иное — одинокий просторный дом в окружении обширных капустных и развесистых помидорных грядок, проволочная сетка забора, маленький, словно игрушечный трактор... лишенный кабины, а от того еще более игрушечный. За домом — они обошли строение кругом — на высоких деревянных опорах, высился цилиндрический, огромный, деревянный же резервуар. Скорее всего — бак для воды, обшитый досками.

Вялыми листьями были припорошены ступеньки высокого крыльца.

Далее возвышалась открытая терраса... или веранда... Черепичная кровля держалась на столбах. Темнели простые перила. Новенькой заплатай на фоне конопаченной стены выделялась дверь.

Наверное, ее полагалось вышибить ногой — так, чтобы кривовато повисла на одной петле. И прицелиться внутрь. Но вместо этого Гофман просто ее открыл. И так же просто вошел.

И все остальные — тоже вошли, даже старик Лужин.

Распахнулась навстречу передняя комната — большую ее часть занимал громоздкий и приземистый, добротный до оскомины стол, окруженный крепенькими, как молодые грузочки, табуретами. Какие-то плесневелые корки безнадежно засыхали на нем. Очень картинно, на показ, совсем как в театральных декорациях — стоял в углу прислоненный веник.

Они прошли и сели вокруг стола, положив сверху тяжелые локти.

Все вокруг казалось им чуть более тусклым, чем являлось на самом деле, и чуть менее значимым. Пленочка смертельной усталости всё ещё застила взгляд. Ничего, упокоенно подумал Антон. Ничего... Новый день ее непременно растопит.

Непреренно.

Они сидели молча и смотрели — кто на потемневшую изрезанную древесину стола, кто на низкий, с налипшей тонкой паутинкой потолок, кто просто — за окно.

Качался маятник настенных часов — замысловатый, испачканный неаккуратными вензелями деревянный стержень. Вручную вырезан что ли?

Стрелки, такие же замысловатые, дергались рывками.

Антон отметил время и сразу же позабыл.

Спичкин следил за стрелками, судорожно двигая губами.

Оцепенелый от усталости Гофман заметил его взгляд, проследил за ним и тоже уставился на циферблат. Теперь на него смотрели все. Тяжело, с влажным присвистом, дышал старик Лужин. Потом внутри механизма часов, среди тракающих шестерней, что-то дрогнуло, сомкнулось, пришло в движение — механизм зазвучал, со стуком откинулась заслонка, и из чердака часового домика трусливая птица, затаившись, произнесла: "у-кху-ку...".

— Моменто морэ... — глубокомысленно добавил Спичкин.

— Что? — не понял Гофман.

Шевельнулся капитан и поднялся, словно разорвав сонное оцепенение. Они принялись за дело и обыскали дом, все четыре комнаты —

езде пусто — поднялись на чердак, имеющий два входа — из дома и с веранды. Там хранились старые хозяйственные инструменты, стыдливо распаханные по углам. Промеж балок было навалено опилок вперемешку со старыми листьями — настолько утоптанными, что шаги выбивали из них приглушённый звук. Гофман осмотрелся на чердаке — два окна во фронтонах напротив друг друга, неширокий балкончик. Идеальная позиция, сказал Гофман. Установку — сюда. К этому вот окну. Антон высунулся в него и посмотрел. С этой стороны дома рос, свешивая ветки на балкончик, еще не старый, но очень взрослый вяз с пятачком зеленой лужайки вокруг корневища. Дальше лоснилась раскопанная земля огромной грядки, почти поля, усеянного валунами капустных кочанов. Нечесанные космы колючих кустов окаймляли дальний край грядки, а за ним — и за узкой полоской открытого голого пространства — поднимался фантастический лес. Антону почувствовался, как что-то сдвинулось в голове — странный эффект узнавания неведомого. Слово уже видел нечто похожее. Или сам себе это напридумывал — возносился на высоту фиолетовое кружево стеблей и листьев, смыкались крестообразно наклонные суставчатые стволы с мясистыми наростами в местах их скрещивания. Росли они вроде бы не густо... но разглядеть, что там, за ними, никак не удавалось — непрерывно горбилось что-то плотное, моховое... да трепетали занавесками огромные, растущие прямо из земли листья.

Гофман всмотрелся в этот лес и покривил коричневое лицо.

— Враг у ворот... — непонятно сказал он.

Они занесли на чердак "дуру", не без труда развернувшись с ней в узком проходе. Тренога заняла почти весь балкончик. Гофман приник к ней в позе стрелка и поводил стволом из стороны в сторону, проверяя, велик ли сектор обстрела. Дырчатый кожух вокруг ствола с шелестом раздвигал ветки. Лес был как на ладони.

— Далеко она бьет? — осторожно спросил Антон.

Гофман пожал плечами.

— Незнакомая машинка, никто не проверял еще. Но, если бы починить целеуказатель — две тысячи запросто возьмет! — он потянул на себя ленту и с лязгом закатил первый патрон. — Пойдут клочки... — оживленно добавил он. — По закоулочкам...

Сверху «дуру» венчала трубка с резиновым раструбом на конце. Гофман бережно разматывал дерюжный бинт, высвобождая — верньеры, жгутики проводов, линейку кнопочных переключателей. Обнажился стеклянный зрачок — мутный, как глаз больной ящерицы. Гофман пальцем поправил проводки и что-то нажал — обрамленный резиной

экранчик слабо затеплился, потом высветил прощальное "backup battery very low" и погас.

— Ну, что? — спросил капитан, выглянув из-за плеча. — Наводится?

Гофман помотал голым теменем.

— Ни хрена... Даже не включается. Батарея сдохла, вроде бы...

— Плохо... — сказал капитан.

— Да, ладно, — Гофман тяжело уронил руку. — Не до жиру. Перебьемся без электроники. До тех деревьев можно и с обычными прицельными работать.

— Перебери ленту тогда, — приказал капитан, помолчав в некотором сомнении. — Перемежуй с трассерами. Не до маскировки уже.

— Идет, — легко согласился Гофман. — Сейчас сделаем. Антошка поможет. Да ведь, Антон?

— Да я не умею вроде, — растерялся Антон.

— А чего там уметь? — Гофман показал, как выщелкивать патрон, тем самым разделяя ленту на части. — Ищи, где донца желтые, да подавай мне. Если два красных подряд идут — тоже расцепляй. Как светофор должно быть, короче...

Скашивая глаза на лес, они занялись лентой и провозились с полчаса, расцепляя и соединяя звенья... Антон основательно ободрал костяшки о железные запятые, что удерживали патроны в своих ячейках. К тому времени, как Гофман остался доволен результатом, пальцы у него совсем перестали сгибаться. Потом они ещё походили по чердаку, подавили изнутри на кровлю — проверяя, крепко ли лежат черепичные пласты, можно ли их откинуть в случае чего. Если попрут не от леса, а из пустыни. Да кто попрут-то? — не удержался Антон. — Кто? — Капитан тяжело зыркнул на него и отошел, не проронив ни слова, а Гофман, подождав, когда тот уйдет подальше, ответил: — Да скорее всего — никто... Никто, Антоха... но готовиться надо так, будто — обязательно попрут. Причем — массово. — Да зачем? — не понял Антон. — Зачем делать вид, что мы — партизаны на чужой земле? — Затем, — жестко сказал Гофман, — чтобы был хоть какой-то смысл в нашем брыкании. Затем, чтобы людьми оставаться. Вот зачем. — Антон мало что понял, но спорить дальше не стал — дел и без этого было невпроворот. Следуя распоряжениям капитана, они словно готовили дом к осаде. Блокировали двери... груды наваливая домашний скарб, укрепляли оконные проемы. В доме обнаружился погреб — скорее даже подвал с земляными стенами — уходили в темноту добротные ступени. Электричества, конечно, не было — пощелкав неработающим выключателем,

Спичкин спустился по ним, светя под ноги красноватым, чуть живым фонарем. Потом вернулся — весь перепачканный паутиной и жирной свечной копотью.

— Ничего себе, — сказал он, подслеповато щурясь. — Как там всё вкусно!

Обросшие пылью банки оттягивали обе его руки.

— Сколько там? — спросил капитан.

Спичкин поставил банки — незнакомой, правильно-цилиндрической формы, и очень большие, должно быть пятилитровки — на пол и освоившейся ладонью провел черту, высоко над головой.

— Ну — пруха! — восхитился Гофман. — И мясное?!

Банки были подхвачены с пола и быстро, с каким-то даже остервенением, откупорены. Антон опасливо потянул носом, ожидая, что появление нового запаха опять обострит обоняние, обожжет волной трупно-квашеной кислоты и навсегда отвратит от аппетитного содержимого банок. Но — обошлось. Пахло так, как и должно было — консервированными овощами. Довольно вкусно. Многовато чеснока, но это можно было пережить.

Медленно... очень медленно и незаметно вытаивал день. Пурпурное солнце расплывалось в облачных развалах — приглушенные отблески прыгали, задевая окно. Скрипело дерево стола, подаваясь под локтями, тренькали часы со стены. Брякали ложки — ударясь о баночное стекло, о зубы, друг о друга... Голод, давно обжигающий нутро, умер... осталась затажная желудочная резь. Ватным комом изнутри головы подкатила сонливость. Спичкин, развалясь напротив — тер глаза, забравшись пальцами под очки. Антон пожалел, что табурет не имеет спинки, очень хотелось откинуться назад. Деревянный стол был странно мягок на ощупь. Словно вырезан из пробки — пружиняще продавливался под ладонями. Спать за столом... подумал Антон. Никуда не годится. Локти, однако, уже разъезжались. Антон самонадеянно попытался утвердиться на них и неожиданно клюнул носом. А когда выпрямился снова — всё, за окном уже пестрели сумерки, густой красный закат облепил силуэт трактора и, остываяще темнея, отползал в сторону пепельной пустоты.

Антон потряс чугунной головой — сонная тяжесть от этого не уменьшилась, но будто бы откатилась от глаз и ушей.

Трик-так — выдохнули часы. Стрелки их конвульсивно шевельнулись, уже неразличимые в полутьме.

— Хорошее место, — тем временем говорил Гофман. — Я понимаю... Пожить бы тут... по-человечески. Конечно — хочется... Еще бы...

Но ведь, это означает — сдаюсь! Не знаю. Может мы просто слишком устали... а, Леонид?

Антон попытался вспомнить, кто из них Леонид, и даже растерялся... Не помню... Вот ведь... Неожиданно заговорил капитан, отозвавшись на имя, и Антон удивился еще раз. Выходит, это он — Леонид. Леня... Железный дровосек. Мы же ничего друг о друге не знаем, екнуло в голове. Даже имен. Или я один такой — с дырявой памятью?

— Это был старый план, — сказал капитан Леонид. — Основанный на недостаточной информации. Мы не сможем двигаться дальше такими темпами. Мы слишком тяжело нагружены и слишком слабо экипированы. Мы не выдерживаем марша. — Он посмотрел на спящего лицом в стол Спичкина и на старика Лужина, дремотно окостеневшего на краю табурета. — К тому же — Миша прав, как это ни смешно. Все эти "Смещения", — он скривил лицо, произнося, — конечно же не локальны. А я-то, дурак, надеялся — если не выйти из зоны бедствия, то хотя бы опередить темпы ее расширения.

— Да, — сказал Гофман. — Да... Выйти к людям.

— Хотя бы — встретить людей! Увеличить группу...

— Мы их встречаем, — сказал Гофман. — Время от времени.

— И теряем на марше...

— Да, — помолчав согласился Гофман. — Теряем. И все равно — под лежачий камень... даже под удобно лежачий... Надо просто осторожнее быть... Обоих молодых вон — встретили же... И деда — довели — не потеряли... А сидели бы в той многоэтажке — так и остались бы вдвоем.

Капитан отрицательно покачал головой.

— Я тебя уважаю, Николай, но... То, что ты говоришь — это всё не то... Да, хорошо, что нашли молодых. Но важнее ведь — сколько растеряли. А растеряли почти всех. Кого растеряли, кто не выдержал... Пространства нам встречаются всё необычнее... все хуже. Этот пепельный мир... — он понизил голос. — Я решил — всё, конец... Чудом ведь дошли, не упали. В таких местах и мы с тобой — все равно, что туристы. Навыков необходимых — нет...

Гофман промолчал.

— И еще, — сказал капитан. — Плотность людей быстро сокращалась, ото дня ко дню, я когда ещё это заметил. В самый первый день тогда, вспоминай — люди чуть ли не толклись вокруг. Человек по десять мы встречали за день.

— Жалко, что плотняком не держались, — быстро добавил Гофман. — Эх... знать бы...

— Да... — на миг споткнувшись, продолжил капитан. — Но чем дальше мы шли, тем меньше людей нам попадалось. А теперь — вообще никого. Последняя встреча — это Антон. Пятеро суток назад. И то — случайность почти. Видимо, нижний предел уже достигнут. Нас ведь разносит — как дым по ветру. Или того хуже — бродим мимо друг друга. Следы, которые мы встречаем... уже никуда не ведут.

— Какие, на хрен, следы... — согласился Гофман. — Себя — и то уже не помнишь...

— В общем так, — сказал капитан. — Старый план не работает. Обыскивая окрестности, мы никого не соберем. Только последних расстреляем. Нужен новый план.

— База? — быстро спросил Гофман. — Ты ведь о базе говоришь? Сигнальный костер, место сбора... все дела?

— Да! — кивнул капитан. — База! Место сбора. Оборонный периметр. Пора менять тактику.

Гофман еще помолчал, в сомнении пробарабанив пальцами. Зазвенели брошенные ложки.

— В общем-то складно, — сказал он наконец. — Клочок земли небольшой, зато привычный. Любой человек остановится на таком — просто передохнуть. И мы заметим... или он нас... Только ведь — это всё ненадолго. Наступит Смещение... и всё — кранты — даже тушенку доест не успеем.

Капитан недолго помолчал, буравя столешницу ногтем. Поднималась витая коричневая стружка. Он словно взвешивал что-то, прежде чем начать говорить.

— Давай, пока Спичкин дрыхнет — сами порассуждаем немного, — усмехнувшись, предложил он, наконец. — Только мы с тобой люди военные, прямые. А потому, не будем загадки разгадывать, а поговорим сразу о возможностях, которые открываются.

— Ну... давай попробуем... — растерялся Гофман. — Мне начинать? Что же... Смещение... Черные... Мы, вроде, поняли уже — это они тво-рят.

— Давай-давай, — подбодрил капитан. — Правильно идешь. Смещению всегда предшествует появление Черного.

— Приходит Черный... — повторил Гофман голосом, полным отчаянного непонимания. — Встает в центре... Я думаю, им необходимо стоять в центре фрагмента местности, иначе зачем они бродят тут ногами... помнишь, там — на пустоши... Он не просто брел — перемещался туда и сюда, будто потерял что-то, пока не... Ну вот, Черный нахо-

дит центр фрагмента, и мы можем прикинуть — где это будет... Можем ведь?

Капитан кивнул.

— Уже, — сказал он. — Конечно, нужно это максимально уточнить. Утром разбудим нашего математика и поставим ему задачу. Но, предварительно — это на капустной грядке, вон там...

— Да, согласился Гофман, проследив за его пальцем. — Верно... Но все равно, я не очень тебя понимаю. Ну, приходит Черный — встает, вытягивает башку в зенит, ну и... начинает вокруг дерьмо клокотать... Так ведь?

— Нет! — очень жестко сказал капитан. — Неправильно. Ничего клокотать не начнет. Будет так — Черный находит центр... и мы его валим!

— Ох, ты! — ошеломленно выдохнул Гофман.

Антон тоже почувствовал, как болезненным волдырем надувается внутри эта мысль — находиться рядом с Черным... пусть не совсем рядом, но достаточно близко... смотреть на него... сражаться с ним...

Шумно заворочался проснувшийся разом Спичкин. Очки его светились в сумраке — как совиный взгляд.

— Вы что?! — мятым спросонок голосом сказал он. — Да вы что?!

— Валим! — решительно повторил капитан. — Наглухо! И — никаких больше Смещений! А появляется следующий — валим следующего! И так — пока есть боеприпасы... А они — есть!

— Да вы что!!! — беспомощно повторил Спичкин. — Что вы!!!

— Плацдарм, — глухо проговорил капитан. — Это будет плацдарм в тылу врага. Территория Земли! Пусть знают! Если они начали экспансию... помолчи, Миша — любые действия на территории государства, не санкционированные законным правительством, на любом языке называются вооруженной экспансией. Если оперативная связь утрачена — любые действия по пересечению или изменению границ государства расцениваются, как вторжение! Вторжение, Миша. Мне очень не нравится то, что эти Черные здесь творят. И я очень зол на них!

Он встал и очень картинно положил лягнувший автомат на стол.

— Можно ли их завалить? — с сомнением сказал Гофман.

— Для чего мы разобрали зенитную установку? — напомнил капитан. — Для чего тащили ее столько километров?

— Против Черного? — уточнил Гофман.

Капитан коротко кивнул.

— А может, Его вообще оружие не берет? Кто они, вообще, такие? Думаешь, это инопланетяне? А может он — это дух бесплотный?

— Тогда, — сказал капитан. — Тогда наши дела — копейка ржавая. Тогда — ложись и помирай. Мы ничего о них не знаем — кроме того, что они устраивают Смещения... да еще своим присутствием вселяют в нас панический страх. Этого очень мало для правильной оценки... Но, пока меня не убедят в обратном, я буду считать противника очень серьезным, но в принципе уничтожимым. И я намерен попробовать.

— Ура... — уныло сказал Гофман. — Не нравится мне твоя идея, не очень я верю, что получится, но... надо же во что-то верить. Я согласен. Я просто бегать уже устал... Ладно, решили — ставь задачу. Ох, Леонид, соскучился я по задачам, которые вроде можно выполнить...

— Да вы что!!! — это опять был Спичкин. — Что вы!!!

— Отлично, — сказал капитан, даже не посмотрев в его сторону. — Итак, этим утром, сразу как рассветет...

Ночь высевала звездный бисер в пространство над крышей. Черепичные чешуйки в этом свете казались серебряными. Трактор полностью утонул во тьме — тень от дощатой пристройки укрывала его, как одеялом. Огороженная терраса оказалась совсем коротенькой — десять шагов на четыре шага. До темноты они успели наколотить уйму деревянных решеток, закрепив их между перилами и потолочной обвязкой — так, что терраса превратилась в клетку.

— Противооакуля клетка, — пошутил Гофман. — Мишка, ты хотел в море? Вот тебе — море, целый океан. Сиди, наблюдай.

Они и сидели. Антон вроде как часовым, Спичкин — просто так.

Клубилась наползающая темнота, светлели в ней плотные кочаны. Смыкаясь, шуршали, как черный шелк, помидорные листья.

Молочно светился не слишком далекий чужой лес.

Мучнистые искры порой срывались с его верхушек и, беззвучно брызнув, растворялись во тьме.

Антон поправил автоматный ремень на саднящем плече и прошелся еще раз туда-сюда, поглядывая в сторону леса.

— Да, не мельтеши, — сказал ему Спичкин. — Чего ты, правда? Ты "Случай в карауле" — читал?

— Нет, — сказал Антон, останавливаясь.

— Там часового — убили. За то, что ходил всю ночь. Спать мешал. Мне поговорить с тобой нужно.

— Да ну тебя, — отмахнулся Антон.

— Нет, серьезно, — сказал Спичкин и придвинулся. — Они вот говорят — Вторжение. Ты-то — что думаешь?

— Если честно — ничего я не думаю, — сказал Антон. — Вообще ни одной мысли в голове.

— Это от усталости, — сразу же объяснил Спичкин. — Помню, мы как-то ходили в горы всем факультетом. Нас повел декан — у него были странные убеждения, что физические нагрузки хорошо прочищают голову. Я первый раз в жизни был в походе, так что поверил на слово уважаемому человеку. Но вечером уселся простенькое уравнение посчитать — и ни в какую. Не могу, и все тут. Представляешь? В походе мозг быстрее ног устает — потому что вся энергия идет в мышцы.

— Да понял я, понял, — оборвал его Антон. — Дальше-то что?

— Во вторжение я не верю, — задумчиво сказал Спичкин. — Здесь опять терминологическая путаница у них. Вторжение ведь всегда имеет целью как-то использовать захваченные территории. Иначе — для чего вторгаться? Нелогично. Вообще вся теория со вторжением никакой критики не выдерживает. Здесь скорее аннексия... присоединение... только к чему, интересно... А?

— Хрен редьки... — равнодушно сказал Антон.

— Если Черные — это захватчики, вдруг их цель — нарезать обитаемые планеты ломтями и раскладывать их, как слоеный пирог по разным тарелкам? Это очень многое бы объяснило, разве нет? Но, какой в этом может быть смысл?

— Какой угодно, — сказал Антон, против воли опять ввязываясь в бестолковый спор.

— Например? — моментально вцепился Спичкин. — Стой, погодика... Например, ты хочешь сказать — они являются изначальными хозяевами вселенной, ну, то есть каждый из них владеет какой-то одной планетой, и вот... они вдруг решили поделить все обитаемые миры так, что каждый забирает свою долю, и складывает в одном месте? Интересная мысль! Вот, ты молодец какой...

Антон устало пожал плечами.

Похоже, Спичкину вовсе не требовался собеседник — ему требовался слушатель.

— Если твое предположение верно, — сказал Спичкин, — оно объясняет даже то, почему Черные вызывают у нас такой безотчетный ужас. Нет, вид у них, конечно, весьма отталкивающий... да и пугаться неведомого — это глубоко в человеческой природе, но... я всё думаю о том, почему мы драпаем, лишь только их заприметив? Среди бела дня, на таком расстоянии, как они могут быть нам опасны? Мы ведь — отлично вооруженная группа... — он запахнул на бледном животе свой нелепый разодранный пиджак — видимо, продрогнув. — Но нет — этот

ужас не имеет ничего общего с простым ощущением опасности. Это — откуда-то из подсознания. Должно быть — генетическая память. Ты знаешь, например, почему нас пугают пауки, совершенно безвредные создания? Да просто потому, что в Африке, колыбели человечества — все пауки ядовиты. Они — бич диких племен, смерть младенцев. Чтобы выжить, люди вынуждены были воспитать в себе генетический страх перед пауками. Детишки должны были научиться бояться и избегать их раньше, чем начинали понимать слова. И вот теперь — этот страх настолько глубоко встроен в наше существо, что стал надрациональным. Что, если эти Черные — еще более древний, незапамятный страх. Такой, что даже оба наших вожатых... — он кивком указал на дверь, за которой предполагались спящие Гофман и капитан, — при их виде улетывают без оглядки? И вот теперь — они что-то вбили себе в голову... и всерьез решили с ними сражаться? Тебе не кажется, что это... глупо? Самонадеянно?

Он выждал немного, словно в надежде быть услышанным внутри дома... но никто не выбежал оттуда с извинениями, и он разочарованно продолжил:

— Сталкивалось ли с ними человечество, когда еще не было человечеством? Я имею в виду — те живые твари, что были до нас... задолго до... даже до позвоночных — трилобиты, кольчатые черви... Кто там был еще раньше? Простейшие формы жизни... Содрогалась ли инфузория, если тень Черного падала на ее лужу? Знаешь, чем дольше я размышляю над твоей идеей, тем больше я... Подожди... — вдруг загорелся он. — А другие животные? Что насчет животных с других миров? Мы видели всего нескольких, а ведь должны были встретить куда большее разнообразие... Они тоже избегают встречи с Черными? Как думаешь? Действуют ли на них те же самые генетически запрограммированные защитные механизмы? Насекомые... — вспомнил он. — Ты помнишь? Миграция насекомых... Мы думали, что их сносит ветром, но среди них были довольно крупные, как те жуки — они никак не должны были быть во власти ветра. Помню, я еще удивился — какого дьявола они все дружно летят в одном направлении, но я совершенно не придал... Нет, это было еще до тебя... А ведь потом мы увидели Черного вдали...

Антон почти засыпал под этот монотонный нескончаемый поток умозаключений.

Спать было нельзя, он и так уже достаточно всех подвел прошлой ночью. Вчера им повезло, так сказал Гофман. Нам повезло, что мы проснулись. Антон не совсем верил в необходимость ночных вахт, но все равно ему было стыдно.

Борясь со сном, он снова начал прохаживаться вдоль веранды, надеясь, что Спичкину надоеет его молчание и он отстанет — уберется в дальний угол, додумывать очередную свою гипотезу, объясняющую все-и-сразу... но тот, не прерываясь ни на секунду, рассеянно бродил за ним следом — туда, сюда... Антон разозлился и присел на ступени.

— Вчера... ночью... — сказал тогда Спичкин. — Такая стройная логика высветилась в голове. Потрясающе просто... Ни одного слабого места, — он усмехнулся. — Острый приступ гениальности — с кем не бывает... Сегодня ничегошеньки не могу вспомнить — должно быть, заснул. Какой-то важной детали не хватает — никак не могу додумать, а без нее... не построение, так — карточный домик. Кашица-жижица, как наш декан говаривал. Слушай, я ведь тебе ее растолковывал, пока шли — может ты запомнил чего?

— Ничего я не запомнил, — буркнул Антон. — Да и нечего было запоминать. Рис да спички. И математика сплошная. Ты что — математик?

— Да, — Спичкин кивнул. — Я в науке работаю... работал... Хотя, и по смежной теме. Структурная лингвистика... — он встал вдруг в картинную позу и натужно продекламировал: — Воет ветер дальних странствий, раздаётся жуткий свист — это вышел в подпространство структурнейший лингвист. Читал наверное?

Антон отвернулся в сторону, скрывая улыбку.

— Конечно — читал... — Спичкин тоже растянул было улыбку поперек лица, но сразу же погрузился, плачуще клокотнул горлом. — Все читали. Просто с ума сходили — какое оно, Будущее? Я считал — у человечества огромный, еще не реализованный потенциал. Ведь мы любознательны, пытливы, нам вечно не сидится на месте — нам так много суждено сделать. Кто ж мог подумать, что вот так всё... закончится... толком не начавшись даже. Кто же знал, что вселенная будет, словно лед под ногами — треснет однажды, поплывет, да так поплывет, что опереться будет не на что. Вся физика — где она теперь? — он остановился и проглотил тугое... — ...А математика — она держится пока. Я вспоминаю — давний это был разговор — кто-то сказал, что высшая математика — это абстрактная наука, но не потому, что оперирует абстракциями, а потому, что существует лишь в головах очень ограниченного круга людей. И еще тот же человек сказал — я уж и не вспомню, откуда такое вытекает — что если бы Бог существовал в действительности, то он был бы прежде всего математиком.

— Ну уж, — скривился Антон. — Старо. Как там... я алгеброй гармонию проверил и тэ-пэ-тэ-пэ...

— Ладно, — сказал Спичкин-подавленный, словно сетуя на себя за внезапную непрощенную слабость, и легко, как по мановению, вновь становясь привычным Спичкиным-пустомелей. — Ладно... Не будем друг мой, спорить и остричь... Хотя вы, я погляжу — гуманитарий...

Скрипнула дверь, приоткрываясь, и на веранду выступил недовольный Гофман. С минуту он смотрел на них, заспанно бычась, потом махнул рукой и грузно уселся.

— Что, пацаны? — сказал он. — Я смотрю, тля, у вас тут вечер поэзии в самом разгаре. Что ж — самое время. Красотища, небо-звезды... Я встретил вас и всё такое...

Антон насупился и отошел в дальний угол веранды, без особой надобности поправив автоматный ремень. Спичкин, напротив, разулыбался от уха до уха, как первоклашка при виде доброго завуча. Съешь лимон, посоветовал ему Гофман. Спичкин расплылся еще сильнее.

— Дядь Коля, — сказал он, энергично ему подмигивая. — А у тебя хорошо тоже получается. Ты — присоединяйся. Хочешь, мы тебя в наш кружок запишем?

— Надо же... — буркнул Гофман. — Ожил, профессор, отоспался. Все-таки, Миша, трепло ты... качественное... Идешь — треплешься, стоишь — треплешься. Ты вообще, молчишь когда-нибудь? Во сне, и то рот у тебя не закрывается...

— Во сне? — спросил Спичкин.

— Во сне, во сне... Каждую ночь почти. Это же несчастье — рядом с тобой упасть... А вчера — ну, после пепла, когда в помидорах залегли — всю ночь... бу-бу-бу... Бу-бу-бу...

— Интересно! — сказал Спичкин.

— Это тебе — интересно, — ощерился Гофман. — А мы вот — расстрелять тебя хотели.

— А? — не понял Спичкин. — Чего?

— Расстрелять! — пояснил Гофман. — За систематическую преступную демаскировку положения группы идиотскими восклицаниями. Собрали трибунал, вынесли решение. По закону военного времени. Жалко, в исполнение не привели — уснули...

— А, — догадался Спичкин и облегченно заулыбался. — Юмор. Я понял...

— Это конечно — юмор, — успокоил его Гофман. — Но учти, что решение вынесено и пока остаётся в силе...

— Серьезный ты человек, дядя Коля, — уважительно сказал Спичкин. — Даже и не подумаешь, что еврей...

— Кто — еврей? — удивился Гофман и, удивившись, вдруг обиделся. — Это я — еврей?! Слышь, за еврея можно и по едалу схватить! При чем тут, вообще, евреи? С чего ты взял?

— Ну... фамилия же... — смешался Спичкин.

— Фамилия... — передразнил Гофман. — Эх, ты... А еще лингвистом назвался. Врешь ты все. Это немецкая фамилия, понял? У меня отец — немец...

— А! — вздохнул Спичкин. — Немец. Вот в чём дело. Воинственный тевтон!

Чуть заметно надав, усилился ветер — только что воздух стоял недвижим... и вдруг ожил, потек... Упруго зашелестела листва вяза... и кончики ветвей — там, наверху, заскребли об оружейный металл. Антон поглядел вверх — ствол "дуры" едва заметно выделялся на фоне неба. По-особому ярко горели звезды. Их свет почти осязаемо клубился на коньке крыши. Кровля слепяще сияла — словно оклеенная фольгой. Редкие невесомые блики отрывались от крыши и светлячками упархивали в небо. Это было поражающе красиво. Настолько красиво, что сами собой повлажнели глаза. Антон покрепче обхватил автомат от внезапной боязни расплакаться. Слишком уж нелепо, картинно и глупо это бы выглядело. Но почему сейчас? — надрываясь подумал он. — Почему только сейчас открылось, насколько это красиво? Столько раз я смотрел на звезды над крышей. И столько раз — не смотрел. Почему целый мир был однообразен и скучен, а мир, рассыпающийся в пыль — поражает красотой этих самых пылинок? Каждая из них — это совершенство, сокровище... а вместе они были — просто куча серого песка... Ценно только то, что потеряно навсегда, подумал Антон. Мысль была далеко не нова, но сейчас — она оглушила. Слезная влага снова подступила к глазам, потом проступила сквозь них, Антон поспешно повернулся спиной к препирающимся и стал смотреть наружу сквозь брусья решетки — на искрящийся звездный свет... на восхитительные черные кружева помидорных листьев, которые размыкались и смыкались, образуя каждый раз все новые неповторимые узоры... на слюдяные скульптуры разрытой земли. Каждое мгновение было ценным, каждый зрительный образ завораживал пронзительной щемящей красотой. Той самой, которая спасет мир... Ни черта она не спасет, подумал Антон, раздирая тугим глотком перехваченное горло. Только заставит горевать об утраченном. Да, и то — не каждого. Спичкин, например — похоже, вообще не верит в красоту. Он верит в математику. Она для него — более первична, более значима. Нет, эхом отозвался Спичкин-воображаемый. Это несопоставимые категории, их нельзя сравнивать — одно с другим.

В изящном уравнении есть своя красота — поверь мне. А в красоте, я уверен, всегда присутствует математическая стройность. Что такое красота, как не совершенство? Что такое совершенство, как не сложнейшая, но уравновешенная структура? Антон скривился и промокнул глаза рукавом, изо всех сил стараясь, чтобы со стороны это выглядело, как смахивание пота.

И, приведя зрение в порядок, обернулся к брызгающему словами Спичкину, понимая уже, что опять опоздал к самому интересному.

Спичкин сказал:

— Дядя Коля, ты не обижайся — я же разобраться хочу...

— Пошел на хрен! — ответил Гофман. — Заладил — направление, да направление. Да, чувствую я направление. У меня всегда так было. Будто компас — вот здесь, — он с силой ткнул пальцем в бильярднo-лысый череп — так, что осталось тающее пятно. — Я, если что, знаешь где служил?

— Догадываюсь... — быстро сказал Спичкин.

— Нас же этому учили, балда! В том числе и направление запоминать.

— Верю-верю! — Спичкин, сверкая очками, примирительно поднял ладони и сразу стал похож на фашиста, который сдается. — Я ведь так и говорю — обострились именно те чувства, которые и раньше были развиты... гипертрофированно...

— С гусем меня сравнил! — остывая, буркнул Гофман. — С гусаком. С пустожопым. Да, в другом месте — с тобой знаешь, что за гусака сделали бы?

— Ну, пусть не гуси... — Спичкин искал в уме более приличное сравнение. — Пусть — киты! Ты, дядя Коля — как кит направление чувствуешь! А!?!.. Через целый океан — ни на метр не отклоняясь!

— Короче, — велел Гофман. — Чего сказать-то хотел?

— Я просто заметил, — заторопился Спичкин, — каждый из нас ведь что-то прибрел в этой суматохе, а? Ты вот, дядя Коля — чувство направления. Такое, что даже специально тренированному человеку вряд ли под силу. Антон у нас — человек с собачьим нюхом... причем, говорит, всегда обоняние было на высоте, но с тем, что сейчас порой приходит — ведь никакого сравнения. Антон, правда ведь? И у всех это приходит как-то неровно — накатит, отпустит... А наш капитан... — Спичкин заговорщицки понизил голос. — Наш... военный министр... Он ведь чувствует сами Смещения... С этим вообще много неясного, чувство это не имеет аналогов ни с человеческими пятью, ни с остальными

двенадцатью, отмеченными в живой природе. Но напрашивается аналогия с этим..., ну, у которого припадки..., который умер...

— Ломакин? — подсказал Гофман.

— Да-да... Согласитесь — все это очень необычно...

— Да уж, — проворчал Гофман.

— Даже более необычно, чем то, что творится сейчас вокруг. Подумайте только — проявление новых чувств, ранее не свойственных человеку! Дальше — старик Лужин... — Спичкин задумался. — Пока, вроде бы, ничего такого не проявил, но мне кажется — старик скрытничает. Он ещё свое слово скажет, я уверен.

— Ладно, — сказал Гофман, — убедил... Почти... Только зачем все это?

— То, чем я занят, — изрек Спичкин, — в прикладных науках называют выявлением закономерностей. Это обычный метод — выявить как можно больше закономерностей, установить связи, их определяющие... и можно говорить уже хоть о каком-то понимании...

— И что же ты такого понял? — насмешливо спросил Гофман.

— Пока немного... очень немного... Но мне кажется, уже само появление таких вот новых, равно как и усиление старых чувств, все-таки говорит против гипотезы вторжения. Как-то не принято наделять порабоощаемые народы дополнительными способностями, не так ли? Я всё больше склоняюсь к мысли, что никакого вторжения нет и в помине, и эти Смещения пространства не имеют четкой определенной цели... Кстати, термин "Смещение", который я сам же и предложил... теперь я думаю, что он не вполне точен... я сказал бы так — реструктуризация пространства.

— Да пошел ты! — неожиданно снова обиделся Гофман.

— Это очень корректный термин, — удивился Спичкин.

— Да его хрен запомнишь!

— Ну, хорошо, — Спичкин сделал над собой усилие и уступил. — Пусть остаются "Смещения". Важно другое — скорее всего им подвержены не только объекты материальной природы, но и... — он на секунду задумался над определением... и родил... — элементы чувственной и мыслительной сферы. То есть — то, что делает нас живыми существами. Человеческими существами. Не исключено... — он остановился, словно сомневаясь, стоит ли продолжать, но не утерпел — продолжил. — Не исключено — что-то постепенно начнет исчезать из наших голов, из наших мыслей, из наших понятий... так же, как исчезает пространство вокруг нас... и взамен начнет появляться нечто совершенно чуждое

нам и совершенно не нужное, как появляются вокруг эти мертвые миры...

Гофман глубоко и шумно вздохнул, потом поднялся, отряхивая колени. Лицо его выражало полное неодобрение, гримаса была такой, точно он разгрыз нечто твердое и неспелое.

— Я вот одного не пойму, Михаил, — тяжело сказал он. — Зачем мы только тебя с собой таскаем? Никакой пользы от тебя. Один вред... причем немалый.

— Дядя Коля... — разочарованно протянул Спичкин.

— Да какой я тебе дядя? Тоже мне — племянничек... Пельменничек... — Гофман говорил, постепенно заводясь. — От твоих рассуждений тоска одна, хоть вой. Сам-то как думаешь? Все вы такие — которые в пиджаках... Наговорите дерьма отварного четыре ведра, нет чтоб хоть сверху сметанкой подмазать... Хлебай, дядя Коля, ложкой брякай... Эх вы, наука! Пойду я, нахрен отсюдава — уши вытру...

— А ты сам... — спросил вдруг Антон. — У тебя усилилось что-нибудь?

Спичкин ошеломленно замер, и глаза его за стеклами очков снова стали огромными... он несколько раз вхолостую шевельнул губами, потом обрадованно — словно снизошло озарение, сказал — да!

— Да! Точно! Я ведь забыл поискать такие усиления у самого себя. Логическое мышление! Да!!! Оно и раньше было развитым, но теперь... Конечно! Тогда ночью, пока мы шли через пыль, я ведь решал на ходу уравнения четвертого порядка — в уме! Представляете?! Нет — не представляете... Как семечки щелкал! Ах!!! — он вдруг вцепился себе в волосы, стиснул их — до белизны пальцев. — Нужно обязательно вспомнить — до чего я тогда додумался. Была же гипотеза — я попытался вам ее объяснить, выразить словами, но увяз в мелочах... и всё... всё растерял... Обязательно нужно вспомнить!

— Тьфу! — сказал Гофман. — Вот же, непобедимый.

Они уже, конечно, не разговаривали шепотом, а возбужденно едва не орали, поэтому голос капитана через закрытую дверь хоть и долетел, но рассудком не воспринялся — так, что-то вроде "черти... спать...". Фраза не опасная, потому как полностью ожидаемая. Они начали замолкать, но замолкать постепенно — отходя от горячки спора, но все еще клокоча. И тогда голос возвысился до стального рыка — молчать! — они замерли, окаменев... чувствуя, как от внезапного ощущения опасности твердеет затылок, а капитанский голос приказал, уже сухим скребущим шепотом:

— Быстро сюда... Черный...

Спичкин сразу же присел на обмякших ногах.

Вокруг словно разом стало темнее. Съежились звезды в острые иглочные проколы. Антон понял вдруг, что не видит ничего дальше деревянной решетки. В темноте Гофман сграбастал его за плечо — отобрал автомат. Антон не без труда выпустил ремень. Вдруг словно невидимые, но толстые пальцы опять сунулись ему в нос — так, что толчком расширились ноздри. Волной вспучились запахи, до сих пор дремавшие вокруг. Он поспешно загородился от них рукавом. Гофман осторожно, по миллиметру, тянул на себя дверную ручку. Они втроем, обмирая, ждали — скрипнет или не скрипнет... Обошлось. Гофман неслышно скользнул внутрь. Они, двое, полезли следом, столкнувшись в проходе и едва — ...сердце пропустило несколько ударов... — не своротив узкую дверь.

Изнутри дом показался вдруг пустым и хрупким, как вылушенная скорлупа. Ткну пальцем — и пробьешь дыру. Черный был где-то рядом... возможно, смотрел на них прямо сквозь хлипкие стены, и от этого ощущения — поджималось в паху. Зачем в дом? — запоздало подумал Антон. Нужно было — на чердак, к пулемету. Прямо с веранды, по второй лестнице... Уже было поздно. Выйти сейчас из дома, из скорлупы пусть хрупких, но все же стен — было уже превыше сил человеческих. Он тихонько пошел в темноте, потом натолкнулся на твердый и шаткий столб, неведь откуда взявшийся посреди комнаты, в панике обхватил его руками, предотвращая падение и грохот... потом до него дошло, что это не столб — откуда здесь взяться столбу? — а старик Лужин, сухонький, твердый, угловатый. Он обошел его, осторожно придерживая, словно какой-то неодоушевленный предмет, потом отпустил — квадрат окна, забаррикадированный утварью, едва светился... силуэт Гофмана застил и этот скудный свет, и ни черта не было видно... и ещё где-то под ухом шумно дышал Спичкин, сбивая с толку... Антон чуть шевельнул ноздрями — запахи вспенились и опали, но дополненное ими зрение ожило, сделав все вокруг бесцветным и четким. Гофман и капитан скрючились у окна, присев и сблизившись головами, оружие в их руках было взведено и выжидающе пахло, пол серовато светился, испуская из пригнанных щелей сукровичный блеск, и прямо под ногами, в опасной близости — валялась оброненная ложка, трепеща фиолетовым уксусным запахом. Антон перешагнул через нее и прижался к стене. Черный был очень близко — метрах в тридцати, где-то среди переспелых бледных кочанов. Словно потусторонним сквозняком тянуло оттуда.

— Как? — страшным шепотом спросил Гофман. — Как он, падла, подкрался? Давно стоит? А? Смещение... Прямо сейчас, что ли?

— Нет, — сказал капитан. — Нет ещё. Чувствую — зарождается... но ещё нет.

— Вот сука... — прошипел тогда Гофман. — Отоспаться, и то не дал.

Терпкий желтоватый аромат ненависти трепетал вокруг его шеи и затылка.

Антон зажал пальцами ноздри — как прищепкой. Это уже слишком. Сразу же, рывком — сомкнулась темнота. Гофман обратился в размытый силуэт, капитан сделался совсем невидим.

— Ладно, — сказал Гофман. — Как договаривались? Делаем его?

Капитан, видимо, кивнул... или сделал какое-то иное утвердительное движение. Гофман сразу же горячо зашептал:

— Как? А? Прозевали... Неудобно стоит — толком не прицелишься под таким углом ... Давай, я пойду... С улицы его возьму... Сосчитаешь до двадцати, потом — очередь за окном... Если не попасть, так отвлечь... но лучше попасть... А я его из-за угла срежу... А?

— Нет, — жестко сказал капитан. — Тут надо тихо... Я пойду.

— Уймись, Леонид... Не время шкурки делить...

Капитан опять что-то сделал в темноте — шевельнул рукой? — тускло заблестело лезвие.

— Прокоптить надо было... — сдавленно сказал он. — Сверкает, как фонарь...

— Да ты что?! — аж заскулил Гофман. — Леонид! Не надо! Зачем?

— Он не один, — сказал капитан. — Коля, спокойно. Я чувствую еще кого-то — там, около леса.

Гофман судорожно смотрелся в темень.

— Ничего не вижу, — беспомощно сказал он. — Антоха... Нюхни, что ли...

Антон помедлил и разомкнул пальцы, убирая их прищепку с носа.

Запахи закружились и запульсировали. К мертвому сквозняку, что испускал Черный, примешалось еще что-то — нечистое, беспокойное, как от животного. Оно двигалось, прячась за темными стволами — задевая и оставляя на них трепещущие языки запаха.

— Ясно... — сказал капитан, отводя дергающийся взгляд от Антона. — Коля, слушай сюда... Наблюдаешь с этой позиции. Глаз не спускать. Я — вон оттуда пойду, вдоль стены, по тенечку... Если не смогу подойти тихо — тогда шуми, пробуй сам. Если вдруг подойду, но не смогу его взять — бей прямо в кучу, не выцеливай... Николай... Ты понял?

— Понял, — глухо сказал Гофман.

Какие-то неистовые плясуны выскочили на деревянный помост и ударились в присядку, рассыпая из-под каблуков дробный грохот. Ритма не было никакого, только азарт и бешеный, сжигающий нутро, темп — Антон не сразу понял, что это колотится его сердце. Словно собирается выпрыгнуть вон. Он медленно пятился от окна, забыв прикрывать нос. Запахи выворачивали ему мозги... Доски сипели, прогибаясь — облачка лежалых запахов взлетали из щелей. Нестерпимый пряный дух вяленых листьев оплетал потолок. Приблизился во тьме негативно-четкий капитан. Что-то сказал ему — одними губами. Лицо его было видно совершенно отчетливо и даже укрупненно — двухкомпонентная смесь ярости и страха выгорала у него внутри, проступая через поры кожи зеленоватым свечением. Он шел бы совершенно бесшумно, если бы — от страха? — чуть-чуть не подволакивались ноги. Страх его был слишком очевиден. Страдая, Антон снова зажал нос... и потому протянутый ему автомат принял одной рукой, едва не уронил. Еле различимый и оттого абсолютно бесстрашный капитан указал ему в сторону окна и несильно подтолкнул — Антон пошел, осторожно переступая в темноте... и Гофман подвинулся, освобождая место.

Автомат оказался невысказанно тяжел для одной руки — плясал, как сумасшедший... опасаясь, что громко заденет стволом за что-нибудь в темноте, Антон присел и обжал его коленями.

Стекла матово меркли — снаружи понемногу становилось светлее. Гофман молча указал стволом за окно. Сначала он ничего не увидел там — чернела земля, бледными шарами теснились капустные кочаны на ней. Серебрился проволочный забор. Взгляд Антона вдруг натолкнулся на брешь — там обвисали проволочные заусеницы, и склонялись до самой земли сломленные стебли. Дыра в заборе была совсем рядом. И почти сразу же Антон в упор увидел того... Черного... непонятно как различимого в темноте. Антон крепче стиснул прищепку пальцев — сердце, бултыхнувшись, едва не выпрыгнуло через нос. Черный шевельнулся... потом медленно, как сомнамбула, скользнул между кочанов. Он был сплошь задрапирован в длинные колышущиеся одеяния — ниспадающие полы едва не волоклись по земле. Из-за этого было непонятно — идет ли он по земле ногами, или парит над нею. Он опять скользнул невесомо — прямо на них и чуть в сторону, словно огромная черная пешка по контрастному капустно-черноземному полю. Все-таки, он шагал — под струящимися складками хламиды всё же угадывались движения странно расположенных, слишком многочисленных суставов. Антон зажал и рот тоже, чтобы не завопить ненароком. Черный еще

раз шагнул, немного... но ощутимо приблизившись. И еще раз. Одеяния на Черном продолжали шевелиться, даже когда он замирал — после каждого шага... будто прислушивался к чему-то. Антон смотрел на это и непостижимым образом всё понимал — Черный пробовал на вкус их маленький мир. Крохотный, чудом уцелевший мир привычного, где был деревянный дом, капуста, серебряные листья вяза. Пробовал, прежде чем разгрызть это всё злобными своими челюстями... Антона трясло — он чувствовал, как страх внутри него перекипает во что-то, имеющее ту же природу, но теперь совершенно иное. Ярость, узнал он. Это точно была она — алая пелена, клубясь, вставала перед глазами. Черный сделал еще шаг — прямо навстречу ему. Влажно заскрипел подвернувшийся под ногу качан. Он ищет центр, вдруг вспомнил Антон. Центр. Черный впервые находился столь близко от него. Непостижимо близко. Темнота смазывала зрение, да и сердечный пулеметный грохот добавлял ему дрожь, но Антон видел достаточно ясно. Черный был высок — намного выше среднего человека, даже намного выше Гофмана, но вместе с тем оказался странно неуклюж и хрупок. Совсем не та хищная громадина, которой виделся издаലെка. Смыкались плечи, состоящие, казалось, из одних ключичных костей, и обвисали от них длинные, изломанные суставами руки, в которых по-прежнему грозными казались теперь только кисти — нервные, живые, трепещущие совершенно по-паучьи. Черный опять замер — неловко, словно в нерешительности... потом сделал совсем крохотный шагок — лодыжки его со стуком соприкоснулись. Видимо, центр был совсем рядом. Антон услышал вдруг странный скребущий звук — почему-то внутри дома — это Гофман облизывал пересохшие губы. Автоматный приклад сросся с его щекой. Левую, дальнюю от приклада сторону лица колотил непрекращающийся тик. Надо было — к пулемету, снова подумал Антон. Зачем, спрашивается, тащили? Надрывались... Гофман разглядел что-то в темноте — весь сжался, закаменел, только щека снова подернулась рябью. Антон тоже увидел — между светлых кочанов за спиной Черного словно шевельнулась земля, придвинулась... замерла... снова придвинулась, обратившись в распластанную человеческую фигуру — это был капитан... он чуть приподнялся, подтянул под себя ноги и — переждав гулкое мгновение — оскалился из темноты отсверкнувшим вдруг лезвием. Что-то тотчас дернулось к ним со стороны леса — столь стремительно и явно, что Антон на секунду ослеп. И Гофман не выдержал — с харканьем выдохнул и коротко пальнул... прямо над ухом... Это что-то снова отпрыгнуло в лес — Антон содрогнулся всем телом и тоже выстрелил... ватный толчок в лицо, неживое оранжевое пламя, пороховая

резь, жалобный звон гильз, отлетевших в темноту... Черный даже не шевельнулся — так и продолжал стоять, запрокинувшись в небо... и только когда рыкающим темным псом бросился на него капитан — только тогда он сделал неловкую попытку защититься, но и того не успел — капитан ударил его плечом в середину туловища и он сложился вдвое... и, как ветхое, совершенно не опасное чучело, рассыпался, рухнул в чернильную земляную мякоть. Одним движением капитан навалился сверху, и лезвие, метнувшись, ужалило... вздыбился тогда Гофман — по медвежьему зареву, брыкнул ногой, метя каблуком в переплет... плеснуло стекло... локтем укрывая лысину, он грузно вывалился наружу... вскочил, побежал... Черный лежал неподвижно, а капитан бесновался сверху, прижимая его к земле... — Дверь, — не своим голосом крикнул он... Антон метнулся к двери и едва успел распахнуть — они с Гофманом втащили Черного внутрь, волоча, как куль... Вблизи он оказался еще более длинным, по при этом — корявым и сухим, как валежина... — Веревки... — заорал на него капитан. — Любые. Быстро... Спичкин присунулся сбоку, подавая какие-то спутанные мотки. Они свалили Черного у стены и, упираясь коленями, принялись яростно опутывать... — Ага! — рычал страшно перекошенный Гофман. — Ну, суки, теперь — мы вас! — Он подскочил вдруг с корточек и размашисто, как по футбольному мячу, заехал ногой по черной, здоровенной и причудливой, как кувшин, голове. Черный беззвучно ворохнулся. Гофман остервенело лягал и топтал его, придерживаясь за стену. Из-под ботинка то и дело брызгал пересушенный хруст.

— Хватит, — прикрикнул капитан, опомнившись. — Коля, стой. Зашибешь...

Гофман оборотился на него, обмел бешеным невидящим взглядом.

— Допросить... — сказал капитан.

Гофман моргнул, приходя в себя. Потом глаза его приняли почти осмысленное выражение.

— Точно, — кивнул он, переводя дыхание. — Допросить гада... У меня тоже вопросы накопились.

Он зачем-то вытер лицо, только сильнее измазав его землей.

А капитан выпростал потемневший нож — откуда-то из-под одежды.

— Вот прямо сейчас и начнем... — просто сказал он. — Спичкин, а ну сюда... Переводить будешь...

— Переводить?! — с ужасом спросил Спичкин. — Я?!

Капитан кривовато на него ощерился.

— Ну, ты же у нас — лингвист...

— Я — математик... — залопотал Спичкин. — И, как это — переводить?! Как это? С какого языка?

Они с Гофманом переглянулись молча.

— Ладно... — медленно произнес капитан. — Ничего... Раз так... Он, у меня и по-русски заговорит. Сейчас...

Он наклонился, упираясь коленом, и коротко ткнул ножом — отчетливо было слышно, как скрежещет острие, протыкая плотную, растерзанную в лохмотья хламиду, в которую был задрапирован Черный... Тот дернулся и заерзал по полу, стуча суставами, но капитан сильнее навалился коленом и удержал...

— Заговорит... — с какой-то слабоумной убежденностью повторил капитан. — А если не заговорит...

Он вытянул нож из раны с каким-то песочным скрипом и снова ткнул...

— Если — нет... — заорал он, входя в тот же безумный раж, как только что Гофман... — Тогда и хрен с ним!!

Нож снова задвигался, вспарывая хламиду Черного, путаясь в распускающихся нитях...

И тогда Черный, запрокидывая раздутую голову, совсем по-человечески закричал...

И тоненько, по бабьи, шлепая морщинистым ртом, заголосил старик Лужин.

Это были первые звуки, которые Антон от него услышал, если не считать кашля и легочных хрипов. Удивленно обернулся Гофман, и Спичкин, округляя глаза, высунулся из своего угла. Капитан придержал занесенный нож, пока еще ничего не понимая. Черный задвигался под его коленом. Старик сразу же будто охрип, голос его упал, невнятный шелест потек из горла, он сделал какой-то совсем уж бесполезный шаг, качнувшись на одном месте... потом ниточка, удерживающая его на ногах, лопнула — он подломился и, скручиваясь в коленях, упал. Дощатый пол барабанно громыхнул под ним. Слежавшиеся запахи опять фонтанами ударили из щелей...

Гофман наклонился над упавшим.

— Старик, — позвал он и тронул рыхлую тряпичную грудку. — Эй, старик... Ты чего?

— Сожаление... — надрываясь, выговорил старик Лужин.

— Что? — не понял Гофман.

Старик откинул голову назад и заскреб затылком об пол. Гофман бережно сграбастал его ладонями и приподнял, придерживая.

— Сожаление... — повторил старик. — Только сожаление в крике его...

— Сожаление?! — спросил Гофман. — Сожаление, ты говоришь? Весь мир, мля, рассыпается, а у него — сожаление? Зачем они это делают? Ты его понимаешь? Тогда спроси его — зачем...

— Его сожаление, — беспомощно втолковывал старик Лужин. — Его вина. Их вина... Сожаление, вина и стыд... Желание исправить... Стыд и немощь...

— Ничего не понимаю, — сказал капитан.

Нож в его руках заметно прыгал — испачканное острие выписывало замысловатые фигуры.

— Просьба не мешать ... — взмолился Лужин и с каким-то благоговейным ужасом выплакал вдруг две крупные мутные слезы. — Просьба разрешить... и не мешать... Нельзя медлить... Нужно пытаться исправить... Пытаться удержать...

— Старик... — ласково сказал Гофман. — Старик, что ты говоришь? Ты понимаешь его? Спроси, зачем они рушат?..

Старик Лужин дернул сухой, как грабелька, рукой — ухватил Гофмана за плечо, вцепился накрепко, комкая рубашку. Гофман осторожно приподнял его с пола и усадил. Спичкин помогал, придерживая с другой стороны. Шея старика была, как пустой рукав — голова свешивалась.

— Была гордыня... — каркаяще сказал он. — Было желание улучшить... теперь только стыд и сожаление...

— Не понимаю, — с отчаянием сказал Спичкин. — Не понимаю...

Старик Лужин оттолкнул его и распрямился, голубиным зобом выворачивая грудь. Задвигался кадык между двух отвислых кожистых складок.

— Сначала было Слово... — голос его сделался совсем глух и невнятен. Шипели стертые фразы. — Слово отделило свет от тьмы... Отделило жизнь от смерти... порядок от хаоса... Слово жило... держало и связывало... Слово было всем... Очень, очень долго... Но потом пришло их время... Обретение знания, обретение могущества... Почтение и гордость... Прикосновение к Слову... Желание улучшить... И Слово было повторено... Теперь — сожаление и стыд ...

Он сотрясался всем телом. Дергалось тонкое птичье веко. Внезапно горлом хлынула кровь — пачкая подбородок. Гофман бестолково обхватил его за подмышки.

Старик засучил ногами — сваливались войлочные галоши.

— Он что, правда, переводит? — растерянно спросил капитан.

Гофман развел руками. Черный валялся у стены — совершенно без признаков жизни. Было непохоже, чтобы он нуждался в переводчике.

— Если не переводит, то откуда он может знать? Он — не может знать... Это же бред какой-то...

Старик Лужин последний раз дернул ногами и — вытянулся...

— М-мать... — сказал тогда Гофман.

В горле у него булькнуло.

Внезапно, как подстреленный заяц, заверещал Спичкин.

Суетящийся его палец тыкал за окно.

Там — в светлеющем сумраке, за полосой земли, усеянной кочанами, из гряды темнеющего леса словно брызнула белесая капля — выкатилась пузатая туша... крутнулась, вышвырнув мягкие комья и, коротко взрыкивая, запрыгала в их сторону... Она была еще далеко и на таком расстоянии напоминала чуть вытянутый мускулистый пончик... и лишь по тому, как стремительно она увеличивалась в размерах, понятны были ее прыть и опасная мощь...

Треть разделяющего их пространства она покрыла за какие-то секунды...

Капитан закричал, срывая голос с нарезки — Николай! — но Гофман и так уже грохотал ботинками по чердачной лестнице. Потом — словно чугунный шар прокатили по потолку — он перебежал чердак, сгиая по балкам... И сразу же, уронив треск из напряженных углов — содрогнулся дом. Это выстрелила, наконец, «дура» на чердаке — короткая серия оглушающих, рвущих барабанные перепонки разрывов. Доски на потолке упруго прогнулись, потом подпрыгнули — словно рука пианиста пробежала по клавишам. Посыпались сверху щепки и заколючки отлетевших гвоздей. За окном трескуче лопнуло, плеснув жадным огнем. И в этом огне стало видно всё — туша летела на них, почти не касаясь почвы, только с поршневым напором молотили короткие ноги. Кусками отлетала из-под них отшибленная земля. Пасть была разъявлена и клала на бегу — словно большущий чемодан, доверху набитый зубами. Следующим же залпом Гофман попал — очередь ударила прямо под брюхо, земляной разрыв вздыбился и швырнул тушу отвесно вверх, и пока она падала, изворачиваясь и иступленно рыча, «дура» выстрелила еще раз — перекрученная падением туша лопнула в воздухе, будто перезрелая тыква... влажно брякнулась оземь, бесформенно перекаталась и замерла.

— Вот так! — заорал Гофман наверху. — Вот вам, суки!

Катились гильзы по потолку, звякая, как пустые бутылки. Сизый пороховой дым, куясь, затекал в щели.

Снова ударила очередь. Гофман палил куда-то еще — судорожно натягивались в сумерках струны огня и лопались где-то... в невидимой отсюда зоне.

Капитан молнией метнулся к выходу.

В коротких промежутках между выстрелами, Гофман прокричал:

— Еще прут... Двое таких же... На четыре часа...

Отупевший от грохота Антон не понял, что это значит... Четыре часа бегут? Потом — дошло... Он тоже побежал было к двери, волоча за ремень неудобный автомат. Там было уже почти светло — что-то грузное ревели и металось, запутавшись в проволочном заборе. Еще одна туша летела на них напрямик через поле, сшибая кочаны. Капитан, наполовину высунувшись из проема, короткими очередями бил ей навстречу по верху помидорных грядок — порхали срубленные пулями листья. Антон отметил вдруг краем глаза движение в том углу, где лежал связанный Черный. Он обернулся... и сразу забыл про автомат в руках...

Черный стоял на коленях и иступленно извивался, силясь освободиться от пут. Его одеяние то натягивалось, то собиралось складками. Из дыр, пропоротых капитанским ножом, толчками выдавливалась мазутная кровь и плюхала, расплескиваясь по полу. Длинные паучьи пальцы тошнотворно изгибались, царапая веревочные узлы. Антон шевельнулся — просто потому, что потерял равновесие. Черный почувствовал его движение — поднял огромную, словно раздутую изнутри голову, выжидательно посмотрел на Антона... Тот вслепую шарил руками, нащупывая спусковой крючок. Трясущиеся пальцы соскальзывали. Он вдруг ощутил вокруг — в самом воздухе — отчетливый хруст... будто весь дом... со всеми ними, находящимися внутри... стиснули в огромных твердых ладонях, сжали что есть силы, пытаясь разломить... Медленной горячей дрожью вдруг подернулся пол. Антон подался назад и вжался в стену, не замечая спиной наполовину вылезших гвоздей. Стену сводила та же колючая дрожь. Черный будто узнал ее и испугался — задержался, заелозил по полу... потом одним паническим движением выпутался из веревок — одна рука при этом хрустнула и словно отломилась... повисла, болтаясь, как палка на шнурке. Поле за окном явственно подернулось рябью. Жирная земля мгновенно натянулась и прорвалась, как полиэтилен под солнцем, и оттуда, из развороченного нутра — полезло вдруг нечто твердое и острогранное, застывая на воздухе искрящимся льдом. Чуть поодаль, кинжально проткнув почву, вознесся и затвердел еще один кристаллический утес. Дымясь, подгорала черноземная пенка вокруг него. Нехотя занималась чадным пламенем

натрушенная сухая солома на дворе. Капустные кочаны квѣлились и съѣживались на глазах, пуская длинные космы дыма. Черный доковылял до окна и торопливо выкарабкался наружу, оставляя клочки хламиды на застрявших в раме осколках.

Капитан не стрелял больше — обхватив голову, орал благим матом. Его автомат бесполезно валялся рядом.

Гофман топотал наверху, снова перебегая чердак, запинаясь о гильзы и... матерясь.

Через второе разбитое окно Антон видел, как Черный, волоча негнущуюся ногу, бредет между коптящих кочанов — на то же самое место, где его схватили... и через несколько судорожных шагов достигает цели. Он потоптался там, будто отыскивая ногами вмятины от собственных старых следов — потом выпрямился одним мгновенным рывком, сделавшись чуть ли не вдвое длиннее... дернулись, приподнимаясь, плечи, и со стуком соприкоснулись костяные лопатки под складками... Одна рука у него так и болталась, тяжело оттягивая плечо... Черный вытянулся макушкой к зениту и затвердел, будто скрученный немислимой судорогой... Тотчас трясинно заколебалась земля вокруг него, а всё прочее тлеющее поле, что занималось уже душной чадной копотью — содрогнулось и выпрямилось, разом переставая дымить... Кристаллический утес, что возвысился среди капусты, вдруг треснул со звоном и просел метра на два... Намечающиеся рядом язвы сомкнулись, топя в черноземе неживые ртутные кляксы. И Антон решил было, что всё обошлось... чудесным непостижимым образом обошлось... но тут вторая истступленно рычащая туша выпуталась, наконец, из-под витков поваленного забора и, бешено заорав, прыгнула, дернув за собой упирающиеся проволочные жилы... Антон опять увидел только пасть, распахнутую на всю ширину туловища... ракушечные гребни зубов... Туша рухнула на неподвижного Черного сверху, с хрустом сомкнув челюсти, когда подбежавший Гофман дал истеричную очередь почти в упор — так, что полетели ошметья от бугристого загровка... Всё было кончено. Перекушенный пополам Черный слабо обвис в этой чудовищной пасти... которая, не обращая никакого внимания на разносящие ее пули — всё пережевывала его и пережевывала, дробя ломкие кости. Всё кончилось, тотчас и сразу — лопнула влажная земля, страшный разрез пробежал по ней от края до края. Трактор как раз попался у него на пути — разрез чиркнул его по ребристым задним колесам и разрубил надвое. Края их маленького бедного мира прыгнули в разные стороны — будто разодрали скатерть и рванули ее со стола, сметая тарелки и рюмки. Беспомощный дом крутнулся юлой, разом разошлись

трещащие бревна, дощатый пол встал дыбом, почти дотягиваясь до лица, все летело и рушилось... упали доски с потолка и горячим латунным дождем пролились следом стреляные гильзы... Антон блохой прыгал по ожившим половицам. Еще один удар потряс всё — до самого основания... пол разметало в клочья. Антон провалился прямо на лед, напирющий снизу — едко ожгло ладони, и цветным химическим огнем польхнула штормовка у него на животе... но кто-то поймал его за воротник и выволок... Непонятно как, но он оказался снаружи... Дом последний раз хрипнул и просел, обвалившись в бездну. Сползающая крыша, теряя звенящую черепичную чешую — накрыла развалины, уцепившиеся за самый край. Смертельно бледный Спичкин поднялся, отряхиваясь — откуда-то из-под ног. Очки он, конечно же, потерял... Антон взял его за руку и повел, не обращая внимания на боль в сожжённых ладонях. Зыбко содрогалась земля — то тут, то там волдырями надувались округлые кочки, сразу же оцетиниваясь ярко-розовой травой. Шатаясь, подошел капитан — оборванный и жалкий, без автомата в руках. — Все целы? — спросил он. — Вроде все... — кашляя, сказал Гофман. — Кроме старика... Они прошли с десятков шагов и остановились — на узкой галечной полосе, уходящей в бурлящую воду.

Позади них отвесной стеной поднимался призрачно-голубой лед, с жемчужным талым налетом вдоль разломов. Он был, видимо, опасен смертельно — серебряный лист вяза спланировал на него, прилип к боку и съежился, почернел... Антон посмотрел на ладони — сквозь язвы химических ожогов местами просвечивались кости. Он убрал руки за спину. Слева топорщился жесткий ковыль, растущий наклонно, а за ним... в тридцати метрах... тягуче растекались оранжевые лавовые языки.

— Леонид... — сказал Гофман, кашлем растягивая щеки. — Леонид, а? Вон оно как... — капитан обессиленно кивнул ему, и Гофман, совсем растерявшись, обмел вокруг себя руками. — Как нарезало-то... Мелко-то как... А? Леонид...

У их ног шелестела волна, накатываясь из ниоткуда, солоноватые брызги летели в лицо и трепыхалась на гальке очумелая рыбина.

— Ну вот... — глухо сказал Спичкин. — Море! Наконец-то...

Антон прикусил задрожавшую губу и осторожно, предплечьем — придержал Спичкина за плечо.

— Повезло...

— Да, — сказал Спичкин, не оборачиваясь. — Повезло... Я уж думал, что так и не увижу...

Гофман стер яркую кровь с лысины и равнодушно посмотрел на ладонь.

— А я вот, дурак старый — опять ни хера не понял... А? Миша, тля... Черные эти... Рушат или держат? А? Миша... Козлы они или... не козлы? Спичкин смотрел на него, как на безнадежного двоечника.

— Ну, дядя Коля...

— Ты мне не дядькай давай, пиджак херов! — враз озлился Гофман. — За гиппопотама тут меня не надо держать. Имею я право знать, наконец — что за бодяга тут творится? За кого воевать-то? А?

— Не ругайся, дядь Коля, — попросил Спичкин. — Ты же сам слышал — сложно всё...

— Опять вокруг да около? — с тоской проговорил Гофман, успокаиваясь так же внезапно. — Давай, Миша, мать за ногу. Просвещай... пока успеваешь...

— Вроде не козлы, — сказал тогда Спичкин. Без очков он не казался больше таким комичным — обычное грустное человеческое лицо. — Ну, изначально-то — козлы, конечно... Они же всё это затеяли... И неважно совсем, что их намерения были благими. Если старик и правда переводил, а не городил от себя — тогда вообще всё сходится...

— Они исправляют, что ли? — спросил его капитан. — Сломали мир, а теперь исправляют?

Спичкин развел руками — мол, что тут добавить...

— А смогут? — воспрял капитан, снова обретая смысл жизни.

— Вряд ли... — сказал Спичкин. — Насколько я понял, вообще никакой надежды. Сами подумайте — сможет ли ребенок собрать назад будильник, который из интереса раскурочил? Да, он плачет и пытается, снова и снова... Все эти непонятные шестеренки... Понимаете, о чём я? Даже если он сумеет распахать их по своим местам, сможет ли заставить это всё опять работать? Даже если бы все существа на свете не ополчились на него за это...

— Эти-то... здоровые... у которых морды чемоданом... — сказал Гофман. — Так на него набросились... Как бешеные. Никогда такого не видел.

— Да, — кивнул капитан. — Такая ненависть. Как вспомню — трясет всего. Зубами ведь хотел рвать... А надо было — наоборот. Прикрывать... Поздно поняли.

Он поднял взгляд от земли — посмотрел на каждого, через силу... Потом — не выдержал, снова отвёл глаза.

— Знать бы... — сказал ему Гофман.

— Это же выше нас, дядь Ляня, — Спичкин тоже попытался как-нибудь его успокоить. — Генетическая ненависть. Прямым из подсознания — ненависть и страх. Да... Понятно теперь, откуда страх берется — это же их защитное поле, страхом они отгоняют тех, кто способен мешать. А ненависть... Не знаю... Явно тоже что-то искусственное, как и наши с вами сверхспособности. Так что, скорее всего, этому вообще невозможно сопротивляться. А может, это Бог их проклял...

— Бог... — буркнул Гофман. — А как же наука твоя, академик?

Спичкин снова развел руками.

— Ну, может не Бог... Может — высший Разум. Это же всего-навсего терминология. Называйте, как хотите. Тот — чьё Слово. Черные же пытались его повторить, так старик сказал, но — не преуспели, нарушили что-то... Я был прав, Слово — это некий пакет первичной информации, которая структурирует мир. Я же вам говорил — информация лежит в основе всего. В общем, как это ни странно, но Бог сейчас науке не противоречит. Более того, если всё виденное нами понято верно — это первое за всё время существования науки доказательство Бога...

— Слышь... не заводись, — одернул его Гофман. — Ты что — богослов теперь? Лихо переобулся...

Спичкин закашлялся от близкого дыма.

— Сам не верю, что это говорю, — согласился он. — Дико звучит. Но больно уж складно выходит. Смотрите — а если Бог сразу знал, что Черные однажды поумнеют настолько, что решат поиграть со Словом... с самой основой мироздания? Может, он и проклял их — заранее и навечно? Сделал так, чтобы все существа мира боялись их и ненавидели...

— Зачем?

Он только плечами пожал.

— Ну, не знаю... чтоб неповадно было...

— Что-то больно мудрено, а? — сказал Гофман, подумав. — Философия одна... Чего делать-то?

— На этот вопрос, дядя Коля, — усмехнулся Спичкин, — нету ответа у здешних мудрецов. Ни у академиков, ни у богословов.

— И тьфу на вас, — сказал ему Гофман.

— Ну что... — сказал капитан через некоторое время. — Пойдем, что ли?

— Куда? — спросил Спичкин. — И зачем? Какой смысл? Я — не пойду...

Капитан набычился на него недобро.

— А ну-ка, не раскисай, — велел он. — Нужно действовать. Мы, конечно — тоже наворотили дел... Почему-то мне кажется, что тот Черный успел бы... стабилизировать. Если бы мы — помогли, а не мешали. Прикрывали бы, пока он... колдует.

Волна гулко накатила на берег, обдав его брызгами. Он сбился и замолчал. Пена тронула выброшенную рыбину, толкнула ее в бок. Рыбина изогнулась, затрепетала плавниками, подпрыгнула — из последних сил метя в отползающую воду, но не успела... или не смогла — беспомощно шлепнула хвостом по мокрой гальке.

Капитан весь затрясся при виде этого, но тотчас взял себя в руки.

— Теперь, когда мы всё знаем, — сказал он, оскаливая мелкие зубы, — мы же можем помочь! Мы вооружены, мы подготовлены. Найдем Черного... будем его защищать... Отгонять зверей. Пусть это всё, что мы можем... но — это — то мы можем... Стоять до последнего...

— А может, — прервал его Спичкин, — это и был последний... Может, остальных давно уже сожрали...

Капитан смотрел на него, опустив руки.

— Ну, дядь Лень... — сказал Спичкин. — Вы же сами видите... Это почти финал. Фрагменты катастрофически мельчают. Раньше, с самого начала, всё дробилось на обширные пространства, которым конца и края было не видеть, а потом — вспомните сами — мы вдруг оказались способны преодолевать по паре фрагментов за один пеший переход. Мы ведь не стали ходить быстрее, нет? А наша милая ферма? Та уже была чуть больше футбольного поля, а вокруг — всё чужое и разное, во все стороны... А теперь что?

Он кивком указал на воду, подернутую морщинами волн. Все проследили за его взглядом. Антон насчитал с десятков волн, косо идущих к берегу... и там, за гребнем десятой, обнаружился неожиданный край мира — растекался, переплёскиваясь через горизонт, какой-то полутвердый пластмассовый ноздреватый клей. Ключья облаков прилипали к нему и конвульсивно замирали, переставая клубиться по ветру.

— Если я верно понимаю прогрессию происходящего, — сказал Спичкин, — то следующее Смещение, должно быть, создаст мозаику из метровых кусочков. Нижнего предела, видимо, вообще не существует. Потом будут горошины, потом — рисовые зерна. И, наконец — пыль, атомы... Тогда — какой смысл в наших перемещениях? А тут хотя бы — море... Я же не видел его никогда!

Он вздохнул.

— Я тут хочу побыть... Мне здесь нравится...

Он присел около рыбины, осторожно подвел под нее ладони, приподнял — рыба судорожно ворохнулась в горсти, раззявила немой глотающий рот — и понес к воде.

— Сейчас как ЦАП-нет за палец! — сказал Гофман.

Спичкин улыбнулся.

— А я — пойду... — со вздохом решил капитан. — Не могу стоять — ноги не держат...

— Ладно... — сказал Спичкин и выпрямился, вытирая о пиджак мокрые ладони. — До свиданья, дядь Леня...

— Гм... — сказал капитан.

— Эх, ты... пиджак с карманáми, — грустно сказал Гофман. — Ладно что ли, студенты. Как знаете...

Спичкин помахал ему вслед, потом уселся лицом к морю, прямо на гальку, влажно хрупнувшую под ним. Поелозил ногами, стаскивая полуистлевшие кеды. Носки у него были что надо — сплошные дыры, грязные расплзающиеся кружева. Носки он тоже снял, стыдливо сунул под себя. Волна облапила его ступни — вспенилась, отползла.

— Теплая! — сказал Спичкин, не оборачиваясь.

Тогда и Антон — осторожно присел... потом лег, придерживая саднящими ладонями затылок, запрокинул голову... и стал смотреть на небо, которое тоже состояло сплошь из лоскутов, из небрежно отстриженных разноцветных солнц... которое было местами дневным, а местами глубоким и звездным... в котором среди ярчайшего калейдоскопа незнакомых созвездий летели, стремительно вращаясь, Большая и Малая Медведицы — то удаляясь на противоположные витки звездворота, то — почти соприкасаясь...

Георгий Кулишкин

Харьков

ВЕЗУНЧИК

Посвящается Аркадию Филатову

Когда-то, следуя казацкому прозвищу, за его предками закрепили фамилию. Впрочем, фамилия фамилией, но она же из поколения в поколение так и оставалась уличным прозвищем для каждого из вновь родившихся: Ягодка. Эта унаследованная дразнилка оказалась до того прилипчивой, что он носил её вот именно кличкой, а не фамилией, до самых преклонных лет. А она пустила к себе только имя — Сашка, Сания, Сашок, — категорически не приняв отчества. Что он Александр да ещё Савельевич вспоминалось лишь при оформлении бумаг и как-то заученно. Слово содержимое оперативной легенды, а не природное его ФИО.

По списку комсомольского актива вместе с большим числом знакомцев и приятелей его призвали в органы безопасности. Было трепетно и почётно. Форма, ускоренное обучение, говорившее о том, как безотлагательно необходимы они стране. И там, при усвоении необходимейших навыков, обнаружился в нём дар. Не способности, не задатки. Сказать талант — и то маловато. Дар. Открылось, что стреляет он с поистине дьявольской меткостью. И верность глаза и руки, как и усвоенные приёмы прицеливания, не решали дела. Не они, а некое необъяснимое чутьё нашёптывало миг, в который следует нажать на курок. После бега, лыжной гонки, дистанции вплавь или конного аллюра, когда колотится сердце, и жадно надрываются лёгкие, это чутьё проявлялось с ударяющей в глаза очевидностью. Тут служба обернулась для него неустанными тренировками и непрерывной чередой соревнований, где он защищал честь всё более влиятельных подразделений, которые отнимали его у тех, кто помельче, чтобы безропотно уступить потом ещё более властным.

Собирая коллекцию из кубков и почётных грамот, он завидовал однокашникам,

2

стремительно делавшим карьеру, и не знал, не понимал до поры своего счастья. Но вот нескольких успешных его приятелей в отнюдь не малом числе прочих сотрудников, не знакомых ему, показательно

для личного состава призвали к ответу за мягкотелость к подследственным. Они сгнули в одночасье, и оставшиеся, очертя головы, утроили, удесятерили прыть. Как тут привлекли особо усердных — за невольнительно ярое радение. И он осознал спасительную выигрышность своего положения, раз и навсегда перестав кичиться своей исключительностью и отлынивать от тренировок.

Ему не было нужды играть роль — надлежало оставаться собой — простаком Ягодкой, хитроватым, охочим до призов и поощрений, весёлым, бравым, удачливо подрастающим в звании и, теряя с годами форму, с охотой готовым наставничать, до пенсии не уходя из спорта.

Он не уставал от общения с людьми, напротив — расклеивался, сникал в одиночестве. И с большим удовольствием задолго до отставки возглавил на общественных началах товарищество рыболовов и охотников, объединявшее любителей из числа сотрудников. Там взаимные выезды к угодьям и на берега водоёмов спланивали пристрастившихся, складывая отношения особого товарищества, в которых разница должностей и званий смещалась на второй план. Говорливый, лёгкий на подъём Ягодка сделался душой этих компаний, заводилой вылазок и походов.

Ведомственная принадлежность гарантировала доступ к лучшим охотхозяйствам и ограждала от какой бы то ни было ответственности за браконьерство. Сашок под одобрение старших по званию напропалую ловчил со сроками, местом и способами добычи. Они носились по заповедной степи на УАЗах, преследовали живность, задействуя

3

вертолёты, строчили из калашей, из бортовых пулемётов, штатно установленных на винтокрылые машины, глушили рыбу минами, электрическим током, а опустошение озёр с помощью промысловой сети с полной искренностью считали вполне себе щадящим методом лова.

Ягодка не участвовал в интригах, редко повторял сплетни и был корыстен той понятной человеческой корыстью, которая не отталкивает, а, скорее, располагает. Полакомить домашних охотничьим трофеем, предварительно оделив добытой дичью всех сопричастных. Не в ущерб кому бы то ни было пристроить знакомого или родню. Похлопотать о собственном очередном звании, но только так, чтобы не слишком обременять тех, от кого это зависит, и никому из ближних не перейти дороги. Или пошутить под чарку о неказистости своей квартиры, застолбить под хмельное балагурство участки в строящемся дачном посёлке...

В звании полковника он благополучно вышел в отставку, когда считанные месяцы оставались до распада страны и всех остальных органов, которым отдал лучшие годы, и от которых было получено всё, им обретенное.

И как-то уж так сложилось, что незадолго до его отставки их ведомственное объединение приверженцев охоты и рыбалки слилось в единое областное общество с прочими ведомственными кружками любителей, и лучшего шефа для нового обширного хозяйства, чем вышедший на пенсию Ягодка, никто и представить себе не мог. Под его руку, кроме кабинета и зала заседаний, подпали и стрелковый стенд, и полигон натаскивания собак, а также несколько лесных стойбищ и домиков рыбака. С людьми, которые трудились в этих подразделениях, многие годы он бражничал и браконьерил,

4

знал их как облупленных, и ни в чём, став их начальством, не покусился на отношения закадычного побратимства, которые давным-давно сложились у него с ними.

Это послужило верной порукой того, что на должности с гражданской, а, стало быть, не ахти какой, но всё-таки ставкой, он обустроивается со всеми возможными приятностями и надолго. Помимо ставки тут всегда была возможность невинно пожить возле фондов и имущества. Но главное — здесь продолжалась жизнь, в которую он врос всеми корешками, в которой чувствовал себя, как рыба в воде, и без которой не мыслил своего существования. А ещё — общение на короткой ноге со всей областной и городской верхушкой, включая её правоохранительную и судебную ветви.

Нет, нет, почти ничего не причитавшегося ему по закону он не привлекал из близкого знакомства с хозяевами региона, равного небольшой европейской державе. Однако, ведь и положенное — пойдика получи, попробуй! А он получал.

Или проштрафился человек, где-то оступился по жизни. С кем не бывает? И кому покажется лишним иметь за спиной заступников, способных, в случае чего, умерить пыл любого из контролёров и законников? Когда, планируя оставить дочери квартиру, строил для себя с супругой частный домишко, от газовой трубы, в подземном её пролегании, кинул байпас с потайным подводом к котлу отопления. И на чердаке, где гусак, поднятый над кровлей, принимал кабель электропитания, оборудовал переключающее устройство, одним щелчком пускавшее в жилище ток мимо счётчика. В то время газ и электричество стоили ко-

пейки. Ягодка, впрочем, не пожалел усилий и затрат ради пускай и скромной, однако экономии. Но вот прошли годы — и что же? А то — что как в воду глядел! Почитай, вторую пенсию себе отхлопотал, не доплачивая за свет и тепло.

5

Кстати сказать, к дочери Ягодка не питал чего-то родственного, отцовского. Девочка в переходном возрасте пошла по всему телу прыщами, обсыпавшими и лицо.

Чего только ни делали, стараясь от них избавиться, — попусту. И как бы, казалось, могла повлиять на чувства отца утраченная красота девочки? А вот повлияла. Потому что всё и само собой и всеми в семье стало сводиться к тому, что будущее дочери обязан обустроить он.

Он среди зависимых от него по службе вынужден был искать жениха, окончательно заманить которого удалось лишь уступив младшим квартиру. И потом гнетущим грузом неотступно висела на нём морока по продвижению зятя в должностях и звании, подсаживанию того в столицу. Собственная своя карьера не стоила Ягодке и сотой доли угодничества и нервов, истраченных ради карьеры примака. Вот и не осталось ничего в душе. Всё хорошее, что чувствовал к ребёнку, отжало, будто прессом, тяготой этих докучливых, унижительных забот.

Но появилась внучка и, казалось бы... Ан, нет. Многими годами позже у Ягодки возникнут основания подумать однажды, что нелюбовь к наследникам свойственна ему как долгожителю. Впрочем, это случится ещё не скоро.

А пока, увлечённый, как подросток, дуэлями на пари в стендовой пальбе, и марш-бросками с оружием в чашах, и бесшабашными попойками, и рассветными зорями на берегу, он с безразличием, непостижимым в его лета, похоронил супругу. Да, поухаживал между делом за болеющей, посуетился с погребением. Но душой никак не ощутил её ухода. Будто и не было целой жизни, пройденной бок о бок. Будто как жил он вольным казаком — сам пью, сам гуляю, — так и живёт себе.

6

А ведь задуматься — то так оно и было. В их рыбацкой братии всегда присутствовали сластолюбцы, ударявшие не по рыбе — по русалкам. Он же, как пострел, попевал и с теми, и с другими. И ещё лет тридцать тому пришёл к убеждению,

что тела пожилых женщин оскорбительны для занятий любовью. Что это позволяют себе лишь по-домашнему — в полной темноте и в зажмуренности, рисующей другие картинки. А настоящее плотское, от которого не прячутся в фантазиях, возможно лишь рука об руку с женской юностью.

Но вот себя — каким он видел себя? У него старело лицо, волосы и ещё, пожалуй, кисти рук. А тело ничем не отличалось от стати тридцатилетнего молодца. И оставалось столь же бойким и таким же безотказным в похоти. Себя, пожилого, он ничуть не смущался в прибрежных похождениях и подружек — мимолётных либо склонявшихся к относительному постоянству — не считал чем-то малодоступным или случайным для него, давно, признаться, покотившего с ярмарки человека. Наоборот — лишь с ними принимал эти отношения естественными, полными истинной жизни и подтверждающими его собственное, не взирая ни на какой возраст, право на юношескую телесную радость.

— Слышь, Сань, — сказал как-то за ушей один из владетельных правоохранителей, — со мной инспекториска поделился... А я не знаю, куда с ними приткнуться. Близняшки, отца никогда не видели и тянутся к взрослому мужику. Хорошая такая детвора. Открытая, бесхитростная. Но по пятнадцать им — понял? С которыми постарше у меня мест — хоть отбавляй, а с этими — куда? Никуда. И пригрел бы, и позаботился, а как? Засветиться стрёмно. А тебе бы... Хочешь — передам по акту? Ты не на таком виду. Потом — лета. Не

7

заподозришь. И отмазка неубиенная: приходят прибраться у одинокого пенсионера...

Появились, как было условлено, ровно в десять утра. Упустив, должно

быть, из виду, что домофон даёт и картинку, они гримасничали друг перед дружкой, одолевая смущение и посмеиваясь заочно над ним.

— Ой, как у вас тёпленько! — переступив порог, пропели в один голос, и он отметил их подстреленные куцые юбочки и ноги в прозрачных колготках, смотревшиеся голыми.

Топил он и точно — от души. И почему не погреться, когда бесплатно?

Девчонки как девчонки. Одеты по примеру большинства их сверстниц: курточки в обтяжку до пупка, открытые туфельки, плоские, как тапочки. Похожи, но разные. Одна чуть выше и потоньше, с милым деликатным личиком, худеньким и благородным. Вторая шире, плотнее, тоже хорошенькая, но с несколько грубоватыми чертами.

— Я Лара.

— А я Вита.

— А меня зовите дядей Сашей. Или Ягодкой. А то вы «Александр», «Александр» по телефону. Как не ко мне. Проходите! Вот тапки вам приготовил, курточки — сюда.

— Как у вас чистенько! — тоненькая Лара.

— Сам. И не сору. А скажите, кто из вас первой родился, кто старше?

— Вита. А я — красивее!

— Ну, это на чей вкус... — осадил Ягодка, и Вита, цепляемая, видимо, не впервые, перепасовала его мнение сестричке мстительным взглядом.

— А тут ещё теплее! — вошли они в комнату. — И пахнет!..

8

— Мясо косули с кабанятиной и в горшочке. Моя коронка, пальчики оближете! Давайте мыть руки и, пока горяченькое — за стол!

— У вас и вода греется! — Лариса — за двоих. — Живёте, как в раю!

— А вы?

— Какое там! Нам газ за долги отрезали!

— А много задолжали?

— Тысяч десять. А точно не узнавали. Что узнавать, если отдать нечем. И мамка этим ведает, не мы.

— Угу, — коротко принял Ягодка к сведению и рассыпаться в обещаниях не стал.

Шампанское Вита выпивала, обгоняя сестру. С хмелем грубоватость её черт усиливалась, жесты становились мальчишескими и уличными — с задиром.

Быстро наевшись, они сходили в прихожую взять в карманах тонкие табачного цвета сигареты. Не курящий Ягодка предложил вместо пепельницы блюдце.

— А можно мы у вас ванную наберём? — чуть выпив, Лариса сделалась женственнее, мягче и ещё красивей. — Так хочется окунуться!

— Конечно! — кратко отвечал Ягодка, любуясь её глазами с чистейшим перламутром яблоч и кожицей губ, тоненькой, как внутри разломленной дольки апельсина и так же разделённой на поперечные частички.

— А стиралка у вас работает?

— Угу.

— А можно мы в следующий раз...

— Можно! А если ещё и моё простирнёте, вообще объявлю благодарность.

9

Когда Ягодка заглянул спросить, всё ли им понятно, они сидели в ванной, одинаково блаженно улыбаясь и радуясь его приходу. На бортике стоял их флакон с изумрудным шампунем, лежал бритвенный станочек.

— Разобрались?

— Кажется, — опять за двоих — Лара. — И поспешила: — Не уходите! Расскажите нам что-нибудь!

На табуретке из кухонного набора стоял пластиковый таз. Ягодка переместил его на стиральную машину, придвинул табурет, сел.

— Вам когда по шестнадцать стукнет?

— В декабре.

— Мгновенно получите паспорта, и я возьму вас на зимнюю охоту. Историй наслушаетесь — вволю!

— А вы нам сейчас?

— Какой из меня рассказчик! — Ягодка кокетничал, набивал цену. По праву он числился первым трепачом на любом из их сборищ. — Лучше вы похвастайтесь, как у вас дела с мальчишками.

— С мальчишками? Вот ещё! Мы только со взрослыми кружим.

Они ничуть не смущались и не стремились, как большинство оголявшихся «русалок», показать себя. Подумалось, что так же запросто могли бы чувствовать себя при нём его внучки.

Смеситель подбавлял и подбавлял воду — такую горячую, что и в согретой ванной комнате от неё валил пар. Пробуя, Ягодка приокунул руку, воскликнул:

10

— Да вы сваритесь!

— Согреемся! — с наслаждением возразили они, и Лара спросила:

— А почему — паспорта? Почему так срочно?

— Потому что! И для всех, кто спросит, вы, как тимуровцы, ко мне приходите

помогать по хозяйству ветерану.

— Кто это — тимуровцы?

— Пионеры, — немного замешкался, не зная, как объяснить. — Скауты, по-вашему.

На широченной лежанке, смастерённой для него по заказу, он устроился посередине, обложившись с двух сторон выскочившими из кипятка «пионерками».

— Вы как грелки! — смеялся Ягодка. — Обвариться можно!

Они победоносно хихикали, атакуя его накопленным жаром, и, прибавляя ласки в затеянную игру. И уже опробованным ими манером, без слов поделили, как подумал Ягодка, кому вершки, а кому корешки.

Красавица Лариска бережно, будто спрашивая, можно ли, дотронулась губами до его щеки. И стала целовать его шею, ухо, подбородок — осторожно и с удовольствием. И с намерением делать это бесконечно — как кошечка, которая умывает себя. А Вита скользнула вниз под одеяло, по-хозяйски обосновываясь там.

Ощущая нечто сходное с невесомостью, он всего себя поручил упоительной расслабленности. Отвечал обессиленной рукой, которая дотрагивалась до спины, плеча, пушистого затылка Ларисы. А другой рукой погладил голову Виктории, шёпотом попросив:

11

— Не спеши! Не спеши!

С ними в Ягодке обнаружилась перемена: прежде он бывал разговорчивым до, а тут, слетав на седьмое небо, почувствовал, как неудержимо потянуло удариться в рассказы. Не задремать сладостно, а говорить, говорить.

А они слушали, слушали. Будто совсем ещё маленькие. И у него возникла догадка, что в том, изначальном, детстве, в которое словно бы возвращаются они, им не довелось получить досыта сказок, и вот они пытаются наверстать.

Выяснилось, что их у мамы пятеро, все девчонки, а они — старшие. Что маме как многодетной вместо комнаты в коммуналке выделили бесхозный домик с участком на окраине. В комнате они никогда не платили за тепло и ЖЭКу. Там грозили, требовали, но сделать ничего не могли. А здесь взяли и отрезали газ.

— С этим так, — сказал Ягодка. — Завтра раненько встречаемся в «Горгазе».

— Хорошо! — откликнулись они с прорвавшейся счастливой уверенностью, что завтра всё разрешится. И так же в один голос, и одинаково показывая, как пригрелись под его одеялом, спросили: — А можно до завтра остаться у вас?..

— А этого нельзя, — сказал он, и сам пожалел, что нельзя. — Тимуровцы у своих подопечных не ночуют.

Где-то на втором плане сознания он несколько раз пробовал рассудить, сколько даст им денег. Встречаться станут раз в неделю, чаще он не потянет, и выделять следует одинаково — они уже будут и ждать, и рассчитывать. Первая величина предполагаемого их довольствия, пришедшая на ум, в последующем рассуждении показалась слишком уж мизерной — для шестерых у них дома. Он прибавил до чего-то более-менее подходящего,

12

но вышло, что с учётом четырёх за месяц встреч, это будет равняться двум его ставкам. Крякнув про себя и сопроводив это чем-то по смыслу близким к «однако!», он всё же решил остановиться на этой сумме. С пенсией и с кое-чем побочным — управится. И есть какая-никакая малость под задницей. Пока так, а там — жизнь покажет.

Утром в газовом хозяйстве они, не привыкшие вставать рано, выглядели помятыми, снулыми. В приёмной у первого лица он усадил их на стульях, остававшихся свободными, в хвосте очереди. Секретарше, едва не подмигнув по-свойски, сказал:

— Доложите!

Пристрелявшимся глазом угадывая человека, который имеет право на предпочтительное внимание, она спросила вежливо:

— Как доложить?

— Ягодка.

Выскользнув из кабинета, сообщила негромко, но внятно, чтобы слышали ожидающие:

— Сейчас Николай Иванович освободится, и вы зайдёте.

— А сколько там долгов? — с лёту ухватил суть проблемы Николай Иванович.

— Чёрт его знает! Говорят, тысяч десять, но что-то мне подсказывает, что больше. Да и какая разница? Во-первых, надо детворе включить газ. А потом подумаем не спеша, какой благотворительной байде

сунем их под крылышко. Там платить в принципе нечем — ни долги, ни текущее.

Николай Иванович озабоченно пожевал губами.

13

— Хорошо. Давай так: с понедельника подгоню бригаду...

— Какое «с понедельника»! — перебил Ягодка. — Люди замерзают!

— Ты думаешь, они у меня одни замерзают?

— Не думаю. Но Коль, когда ты говоришь, что тебе хочется или тебе надо, я задираю штаны и мухой лечу исполнять!

— Ладно. Завтра утром... — начал Николай Иванович и запнулся под укоризненным взглядом друга. Тут же поспешил оправдаться: — Ну, разъехались уже бригады по объектам!

— Не разъехались, не успели.

— Не разъехались — так получили задание!

— Задание, Коль, можно переиграть...

— Вот умеешь ты, Сашка, взять за горло! — рассмеялся хозяин кабинета, испытывая искреннее удовольствие из-за того, что пойдёт-таки навстречу корешку со всем возможным для себя усердием.

В назначенный днём встреч четверг они всё так же ровно в десять были у его калитки с большой сумкой белья, которую держали вдвоём каждая за свою ручку. Перебивая одна другую, докладывали, как доехали тогда с монтерами до своего дома, как мама, удивляясь чуду, лишь всплёскивала руками. И как теперь тепло, и как, оказывается, быстро вскипает на газе чайник!

Ягодка слушал, озарённый слегка глуповатой улыбкой, и испытывал в полном соответствии с этой улыбкой нечто блаженное. Он видел, как неумело они управляются с

14

постирушками, но в душе это вызывало лишь ещё большую нежность к ним. Вспомнилась мудрая поговорка о том, что мужу следует годить не делом, а телом. И уж второе умение, подумал он, у них не отнять.

После снова такой же раскалённой — не утерпеть! — ванной Лариска прошептала, прижимаясь к его правому боку на лежанке:

— А мы вам понравились?

— Спрашиваешь!

— А почему же вы ничего не скажете?

— Да я и сказал бы, — признался Ягодка почти виновато, — но знаешь, нет таких слов. У меня — нет. А бросаться абы-какими...

— А кто вам больше понравился — я или Вита?

— Перестань сводить! Вы обе такие... Одно только не совсем хорошо.

— Что-о? — отозвалась она тоном не поверившего в услышанное и отстранилась.

— Что бреетесь — там.

— Так красиво же!

— Кто сказал? Завтра вобьют вам в мозги, что красиво головы оболванивать — и будете голомозыми щеголять! Мода — вот и всё. Чёрт плачет, что моды не настачет!

— Ну и гигиена...

— Какая гигиена?! Вшей лобковых вроде всех повывели. И зачем? Какая радость? Или раздражение, если только что лезвием пошкуркали, или щетина. Это на самом нежном местечке, где у вас, если не уродоваться, — шелковистые были бы, пушистые котятка!

15

В саду они собирали поздние яблоки, которые по причине обильного урожая из года в год оставались у него не убранными. Но возникли «внучки» с ждущими их дома мал-мала сестричками. Ягодка орудовал плодосъёмником, выкатывая сорванные яблоки в юные ладошки — как в клювики птенцам.

Черета новых забот, ломая устоявшийся годами распорядок, свалилась на него, как снег на голову. Он не знал — сетовать или радоваться. Вот, ополовинив загашник, отправил их на вещевой рынок за зимними ботинками, куртками и тёплыми лосинами. И тут тебе — телефон. Первое, что услышал, — слёзы.

— У нас украли!.. Расплачивались за мороженое, за лосины... Увидели, гады, что полный... И весь кошелёк — с карточками из всех магазинов, со всеми деньгами...

— Вы где сейчас?

— Здесь, на базаре.

— Вот стойте там и ждите. Попробую связаться с генералом.

— Зачем — с генералом?

— Не ваше дело! Стойте и ждите!

Минут через двадцать набрал их:

— Так, запоминайте: капитан Гунько. Запомнили — Гунько? Повтори вслух для Виты. Так. Находите на рынке здание администрации. В нём — пункт правопорядка. Старший — капитан Гунько. Скажете, что по поводу вас только что звонил генерал. Он вам всё отдаст. Отдаст или не отдаст или что отдаст, — позвоните мне. Ясно?

— Как это — отдаст?..

16

— Не ваше дело! Капитан Гунько! Шагом марш!

Минут через сорок — звонок.

— Кошелёк отдал, а деньги, говорит, вот вам пять, всего было восемь с половиной, остальное — после выходного. Мы говорим — было десять с половиной. Он так брови задрал — по моим, говорит, сведениям... А мы — кому, мол, лучше знать? Да? — говорит.

Но всё равно сейчас больше нет. После выходного.

— Значит, покупайте сейчас на пять, а остальное — на той неделе.

— Хорошо. А что раньше покупать?

— Сами сообразите.

Оттуда — в растерянности:

— Хорошо, — и с полным непониманием: — А откуда у него наш кошелёк?.. И как это он говорит, сколько там было?..

— Господи, какие вы ещё глупенькие! — вздохнул он, умилившись едва не до слёз. И оборвал по-военному: — Всё! Конец связи!

Выцеловывая его шею, Лариска вдруг остановилась и сказала:

— У вас железка напухла, как у нашей малОй.

— Потом! — отмахнулся Ягодка, не желая покидать состояние невестомой одури.

Когда ласки, миновав перевал, сменились умиротворённой беседой, сам потрогал железы у подбородка. Правая выпячивалась заметнее левой и была угрожающе плотной.

И слюну она выдавала густую и липучую. Возникло желание отхаркаться, когда пробовал разминать уплотнение пальцами. И по утрам донимал стариковский

17

протирающий кашель.

— К врачу пойдёте? — спросили девчонки.

— А надо? — усомнился Ягодка, никогда ещё всерьёз ничем не болевший.

— Сходите! Это же наверняка чем-то лечится. Зачем запускать?

Они тревожились непритворно, как и он незаметно привык тревожиться о них.

И Ягодка, повинувшись их настрою, решил не откладывать визита к медикам. Но тут вдруг выяснилось, что в улаживании передряг, в которые попадали его малышки или кто-то из знакомцев, Ягодка решителен толков и знающ, а вот со своей нечаянной каверзой вдруг оказался растерянным, не ведающим, с чего начать.

На память из всего, что связано с медициной, пришёл рассказ проректора университета, входившего в их круг добытчиков. Тому вырезали гланды. Операцию проводил молодой — под сорок — светило, который параллельно давал практический урок хирургам, проходившим у него курс повышения квалификации. На шести креслах, поставленных три против трёх, сидел проректор и пятеро подопытных. То есть проректору миндалины удалял светило, а пяти прочим — практиканты.

Показывая обучающимся, из которых половина по возрасту была старше его, наставник в четыре секунды сделал четыре обезболивающих укола — выше и ниже каждой из гланд. Затем одну из них ухватил щипцами и, оттягивая её, кривыми ножницами перерезал верхнюю спайку. Далее, отбросив ножницы, цапнул скребок, похожий на круглую ложку, им отделил миндалину от поверхности горла, перекинул вновь схваченными ножницами нижнюю спайку и сбросил удалённый кровавый комок в

18

предназначенную для излишек посудину. В несколько последовавших секунд отточенными, выверенными и быстрыми движениями проделал точно то же со второй миндалиной, затратив на всю операцию никак не больше минуты. Лишившийся гланд проректор получил команду оставаться на месте, сплёвывая небольшое количество возникающей крови, а светило шагнул к следующему пациенту, предоставив его миндалинами заняться лысому толстячку с короткими руками и бисером нервного пота над верхней губой.

Толстячок неуверенно потыкал шприцем с длинной иглой, вводя анестезию.

— Не попал, — заметил учитель. — Справа сверху повтори!

Практикант с дрожью в руке повторил. Обучающий скривился, показывая, что недоволен, но в общем-то сойдёт. В рот страждущему короткорукый забирался щипцами так, словно там что-то мешало, не про-

пуская к цели. А кривые, гусем, ножницы тыкались, будто им и вовсе не оставалось места в ротовой полости пациента.

Томительно долго он пытался подладиться, целился. И вот, отчаянно зажмурившись, чикнул, наконец, рывком сведя колечки на длинной рукояти.

— У-у-у! — взвыл тучный полнолицый больной и, как из строительного пульверизатора, обдал эскулапа с головы до пояса распылённой кровью.

Тут, произведя нечто смахивающее на силовой приём в хоккее, наставник отшвырнул ученика и сам вооружился ножницами и щипцами.

— Откройте рот! — приказал пациенту, который мотал головой из стороны в сторону и дёргался на операционном кресле, как на электрическом стуле. — Рот! — повторил нетерпеливо и грозно, на что больной бессмысленно тарачил глаза и уворачивался.

19

— Рот открой! — рявкнул светило и оголённой по локоть волосатой лапой матёрого мясника отвесил пациенту оглушительную пощёчину.

Обезумев окончательно или придя, наконец, в себя, тот отвалил челюсть, позволив крови двумя струями хлынуть из углов рта. Умелец хищно внедрил инструментами в булькающий красным кипятком зев и с гримасой ненависти в считанные секунды расправился с миндалинами.

— Так, — помыв за шторкой руки, словно ни в чём не бывало, подошёл он к девчужке, в состоянии полубоморока ожидающей своей участи в следующем кресле, и к ученице-доктору, которой та была предназначена.

Заручившись рекомендательным словом, Ягодка отправился на приём к этому светочу, который с момента изложенной истории успел повзрослеть лет на двадцать с гаком.

— Это рядышком, — выслушав и мельком осмотрев, заключил доктор. — Но профиль не мой.

— И куда мне? — осведомился Ягодка.

— Этими желёзками занимается у нас в городе только один человек. Заведующая отделением челюстно-лицевой терапии Мария Николаевна Полтавец. Это в четвёртой неотложной.— И спросил вдруг с несвойственной медикам откровенностью, намекающей на бесполезность визита к челюсто-лицевой владычице: — А они вас что — как-то уж очень беспокоят?..

— Да не так, чтобы очень. Но хотелось...

20

— Ну, попробуйте.

— Как у вас обстоят дела с половой жизнью? — спросила Мария Николаевна, к которой он попал после звонка весьма влиятельного для заведующей отделением чиновника. Ничуть не ожидая такого вопроса, Ягодка подрастерялся, что она истолковала по-своему: — Слабость? Досадные неудачи?..

— Да нет, я бы сказал, что напротив... — возразил Ягодка, убирая в сторону блудливые глаза.

— Видите ли, они взаимосвязаны — предстательная и эти железы, — истолковала доктор его ответ как склонность к излишествам. — Когда вы нагружаете ту, труднее

становится этим.

— И что же мне?..

— Перейти к воздержанию. Лучше всего — к полному.

Имеющий склонность мыслить сугубо практически, Ягодка возразил:

— У меня, доктор, как-то после перелома рука с месяц побыла в гипсе. Так я потом чашку с чаем не мог ей поднять. От воздержания даже мышцы перестают работать, а не то что...

— А если не поможет воздержание, будем рекомендовать удаление предстательной, — заключила она твёрдо, и Ягодка понял, что она ради поддержания этих его желёзок, находящихся согласно специализации в её ведении, не остановится и перед тем, чтобы его кастрировать.

21

Лариска и Вита, успевшие к этому времени сделаться понятнее и ближе родных дочери и внучки, заинтересованно раз за разом спрашивали, как там в больницах.

— Да ну их! — ощерился Ягодка, ненароком испугав малышей. — К ним только попади!

Шли годы, припухлость желёз застопорилась, не уменьшаясь, но и не делаясь хуже. Девчонки выросли и где-то там, в недоступной для него части их обитания, стали встречаться с парнями, к которым присматривались как к кандидатам в мужья. Иногда рассказывали ему о них, но чаще он становился свидетелем телефонных разговоров.

У Лары был кто-то постарше и обеспеченнее. Вита встречалась с отсидевшим за

наркотики, и советы Ягодки держаться от него подальше пускала мимо ушей.

Ни разу, если вставал вопрос, куда отправиться, к нему или к ним, «тимуровки» не выбрали их. Там, конечно же, обратили внимание на регулярное отсутствие по четвергам и на непонятный источник материальных поступлений и учиняли допросы, пробовали следить, назойливо звонили именно в четверг.

— Я что — должна перед тобой отчитываться?! — надменно отвечала по телефону какая-нибудь из них.

Ягодка в такие минуты тщеславно думал, что ревнует не он, старикашка, к полным сил соперникам, а они, молодые и потом уже и законные — к гуляке ему. Тут вспоминалось, как он в молодые годы часами мог маяться в месте назначенной встречи и так и не дожидаться. Теперь же почти не случалось, чтобы к нему опоздали, а уж тем более — не пришли. Там, в его молодости, у них не было материального интереса,
—

22

приходил он к выводу, который напрашивался сам собой. Однако же чувствовал — хотел это разглядеть и, кажется, видел — что было и ещё что-то, привязывающее к нему девчонок. Или это так казалось, потому что всё прочнее привязывался сам?..

Здоровье не изменяло, и он не думал ни о возрасте, ни о нём. Отмахать с полным снаряжением десяток-другой километров, не спать ночи напролёт, бражничать до упаду.

Никто никогда не спрашивал, не уморился ли он, и есть ли настроение выпить и закусить.

Потому что он не уставал и никогда не страдал отсутствием аппетита. Разве что позывы помочиться стали отрывать иной раз от налитой чарки или от затянувшегося преследования зверя.

— Хочешь долго жить, однако, — завелась у него поговорка, — пей сай часто, как собака!

А девчонки, как, наверное, и положено близняшкам, не могли не повторять одна того, что сделала другая. Вита выскочила замуж, и сразу же вслед за ней не смогла не выскочить Лариска.

Когда Вита забеременела, Ларка умудренно рассуждала, что спешить опрометчиво да и хочется пожить в своё удовольствие. Но, как уже точно предугадывал Ягодка, вскоре понесла и сама.

Они приходили по четвергам до самого последнего дня. Проведав Ягодку в четверг, Вита родила в понедельник. Что-то похожее — точно уже не вспомнить — было и с Ларисой. И сразу же после родов мама подхватывала малышей, чтобы они не пропускали

23

урочного дня.

Никаких осложнений, связанных с родами, никаких изменений фигуры. Разве что грудки у одной и у другой сделались, когда перестали кормить, пожиже и послабее. Но если бы он не знал доподлинно, какими эти грудки были прежде, наверняка остался бы в убеждении, что так было и всегда.

Между тем деньги неизменно обесценивались — и плавно скатываясь под уклон, и обваливаясь резко, будто в пропасть. Как ставка, так и пенсия превращались с ходом времени в жалкие копейки. А люди, с которыми роднило общее увлечение, — некоторые из этих людей, — с непомерной быстротою богатели и напивались, разбухали от забираемой под себя власти.

Настал момент, когда их потянуло — многих одновременно, как поветрием — прибираться к рукам леса и озёра. И в первую голову, понятно, те лесничества и те водоёмы, которые они знали, — где охотились и где ловили рыбу.

Именно там общество, возглавляемое Ягодкой, владело лесными сторожками, амбарами для хранения кормов и загонами, где подкармливалось в голодный сезон зверьё, а также различными постройками на берегах. И ему в момент лукаво запутанного, архаровски узаконенного «увода» собственности за помалкивание и непротивление давались деньги. По сути, недвижимость, которой располагало «Общество», покупалась. Но покупалась у него, у Ягодки. И ему же клятвенно присягали, что как пользовались его рыбаки с охотниками угожьями и постройками, так беспрепятственно и продолжат пользоваться. В последнем он не сомневался: лишая других, новые владельцы лишили бы

и себя наипервейшей уследы их жизни. Изменится только то, что прежде они наезжали в общие владения, а теперь кто-то станет приглашать прочих «к себе».

Однако средства, пусть и довольно-таки, по его аппетитам, основательные, но получаемые единоразово, не давали уверенности в завтрашнем дне. А ему, после принятия на себя забот о малышах, такая уверенность ох как была нужна! Записанный в свой час ликвидатором чернобыльской аварии, Ягодка поимел, было дело, и льготы, и доплаты, но страна, уйдя из Союза и оставшись сам на сам с подлинными и фальшивыми, как он, ликвидаторами, потужившись и покряхтев, в конце концов, бросила эту ношу, наотрез отказавшись платить.

Досадуя об утраченном, Ягодка заинтересованно выспрашивал у знающих

товарищей, чем бы таким ещё можно бы понудить пенсионный фонд к дополнительным щедротам. И как-то услышал об «особенных заслугах перед государством». Таковских заслуг за ним, понятно, не водилось, но уж больно лакомой была прибавка к пенсии, назначаемая обладателям названных заслуг. Облизнувшись тогда на довольствие, никоим образом ему не причитавшееся, Ягодка хитровой долей рассудка не без усмешечки отметил, что ведомство, в котором дослужился до полковника, о заслугах объявляло, но раскрывать суть этих заслуг не только не было обявано, но и чаще всего не имело права.

И вот сейчас с человеком, раскатавшим губы на очередное лесничество и политически в настоящий момент могущественным, он поделился той своей мыслишкой, как делятся с другом чем-то неосуществимым, однако заветным.

— А что... — раздумчиво заметил тот и, не скрывая иронии, прищурил глаза.

Это равнялось обещанию, которое в скором времени и было исполнено.

За Александром Савельевичем Ягодкой были признаны выдающиеся, хотя и засекреченные, заслуги перед государством, что кратно увеличивало получаемое им денежное содержание. Тут следует заметить, что в согласии с высшей справедливостью, которая всё-таки, несмотря ни на что иногда являет свою власть над нами, прибавленное Ягодке теми, другими и третьими путями перетекло и утвердилось в постоянном перетекании к названным его «внучкам», их малышам, а также их

маме и сестричкам. В результате чего и сам оценённый родиной подвижник не остался в накладе. Он упрочил расположение к нему юности, нуждавшейся в тепле и встречно согревающей и его.

Пришло время сказать, что в постельных утехах, которые вследствие привычки обязаны утрачивать яркость, происходило нечто прямо противоположное. Тут срабатывали изобретательность и раскованность младших, но и какие-то внутренние, не исключено, что и физические, перемены в Ягодке. Пики делались для него ослепительными, почти непереносимыми.

И вот однажды после вспышки и вожделенных его судорог, Вита сказала:

— Знаете, а у вас кровь...

— Я тоже в прошлый раз заметила, — призналась Лара. — Но подумала, что это мы как-то царапнули.

Тут же, как были втроём, полезли в Интернет. Накопали, что мужчине до сорока крови в сперме не следует так уж опасаться. Чаще всего, это проходит само. Но человек в возрасте, обнаружив кровь, обязан задуматься.

Ягодка задумался. По совету и протекции друзей, которые знали о похожих

26

проблемах не понаслышке, оказался у заведующего отделением по профилю в больнице № 18. Тот расспросил, как и что, и отправил вниз на УЗИ. Там пришлось в буфете пить воду и ждать, пока наполнится пузырь. Потом минута под скользящим по смазке щупом узиста, туалет, ещё минута под щупом и с ветхой бумаженцией в осьмушку листа, на которой разобрал только три заглавные буквы — ГПЖ — снова поднялся на четвёртый этаж.

Доктор поставил его в позу, ощупал железу через проход и сказал, что ещё надо бы сделать гистологию. Ягодку успели просветить по поводу того, насколько неприятна и болезненна данная процедура, и он, обороняясь, пустил леща:

— С вашим опытом, уверен, вы и без этого видите, злокачественное или нет!

— В общем-то, вижу. Но формально, если решимся на операцию, придётся предварительно сделать.

— Вы считаете, что нужна операция?

— Я бы советовал.

— А нельзя ли попробовать пока медикаментозно? Резать всё-таки последнее дело...

— Можно, — не возразил врач, не очень-то, судя по тону, веря в медикаменты.

— А если операция, — уточнил Ягодка, — как потом с функцией?

— Стараемся сохранить, но выходит по-всякому. А у вас что — молодая жена?

— Жены нет, но есть подружки.

Доктор понимающе сыграл бровью, выписал пилюли, свечи и предложил по утрам являться на процедуры.

Утром в очереди Ягодка оказался третьим. Впереди был мальчишка — юнец лет

27

семнадцати с виду. И беспокойный пожилой толстячок, ищущий общения. Доктора срочно вызвали на операцию, а им велено было дожидаться.

— Начинающий? — спросил толстячок, пару раз до этого с любопытством заглянувший Ягодке в глаза.

— Первый раз в первый класс.

— А у меня четвёртая серия массажей. Третий год у Павла Петровича.

— Ну и как он?

— Говорят, что первый из первых, — ответил тот до странного нейтрально, никак не выдав своей личной оценки.

— А массажи — помогают?

— Трудно сказать.

— Так а зачем же?..

— А если без них будет хуже?

— И то верно, — согласился Ягодка.

— Одно угнетает, — продолжил бывалый очередник. — Больница носит имя учителя Павла Петровича, у которого тот и отделение принял. Так вот учитель всех этими массажами пользовал и, вроде, как и сам ими же спасался. Что не помешало благополучно от рака представительной помереть. Или помогло...

В камере без окна и с дверью, запираемой изнутри, они вдвоём едва могли разминуться. Как перед поркой, Ягодка со спущенными штанами сгибался, локтями опираясь о стол. Освободившийся Павел Петрович натянул неподатливую, хотя и тонкую

печатку, густо зачерпнул пальцем вазелин из круглой жестянки.

Было больно и унижительно, когда врачующий перст проникал к месту, елозил, надавливая через прямую кишку на железу. Потом доктор освободил от пластиковой упаковки свечу с вытяжкой из бычьего семени, сунул её к месту, где массирует.

Пройдя цикл, состоящий из десяти массажей, Ягодка с юмором докладывал в своём кругу, как его на старости лет лишали девственности.

Под гоготание ответственных мужей, за милую душу превращавшихся на время в великовозрастных балбесов, один из прослушавших заметил:

— Где-то я прочёл недавно, что эту методику уже отвергли. Мол, нельзя над ней

так издеваться, над желёзкой, она и без того на ладан дышит. Дескать, замечено, что подобные действия провоцируют онкологию.

Всё ещё улыбаясь по инерции после описанной в красках процедуры, Ягодка решил про себя, что больше к Павлу Петровичу ни ногой. Тем более, что пробный с «внучками» опыт показал: крови нет. К концу того же четверга, чтобы окончательно убедиться в исцелении, повторили испытание. Железы выдали нечто розоватое. Ага, смекнул Ягодка, нельзя перенапрягаться. Интервала в одну неделю оказалось достаточно для восстановления. В согласии с этим графиком, но, не позволяя лишнего в день свидания, они и продолжили встречи.

О хорошем в их жизни «тимуровки» докладывали по четвергам — радуясь его реакции, перебивая одна другую, а то и запальчиво споря. Звонок же от них означал неладное.

— Ножом! — со слезами в голосе кричала Лариса, прорываясь к нему посредством связи, всегда барахлившей на их окраине. — Она ударила его ножом! Мужа, козла этого! Сильно! В больнице! А её забрали! Пьяные были и он, и она! Нет, слушать не хотят, что домашняя ссора! Открывают дело!

Ягодка разбудил генерала, Виту выпустили, и речь пошла теперь о разводе.

Он изначально был против, чтобы она сходилась с отсидевшим за мелкую — шестёркой — торговлю наркотиками, и встретил с облегчением, что намерены разбежаться. Но мог уже почти наверняка предпо-

ложить, что разведётся вслед за сестрой и Лара. Там семья не выглядела безнадёжной, однако, они, близняшки, с обречённостью

неотвратимой повторяли одна другую во всём и особенно тогда, когда что-нибудь оборачивалось для одной из них неудачей. Вторая тут же должна была сравняться с первой в несчастье. Зачем? А чтобы обеим было одинаково плохо.

— Лариска, хоть ты-то не ломай семью! — упрашивал Ягодка, зная наперёд, что всё это попусту.

Она дерзила мужу по телефону — тот всё искал, пытался объяснить, спрашивал, а как же ребёнок, что говорить бабушке с дедушкой, то есть его, мужа, родителям. Она ничуть не была против общения малыша и с ним, и со стариками, щедро уступала ребёнку хоть и на целый день. По четвергам, например...

Ягодка бывал невольным свидетелем повторявшихся под разным соусом всё тех же их разговоров и упорно твердил своё, призывая к миру и терпению. Втолковывая, что надо ценить то, что имеешь, не разбрасываться, думать о будущем. Но в душе скрытно млея от счастья. Ведь круша безоглядно там, они косвенно подтверждали свою

30

безусловную приверженность тому, что у них здесь, с ним. И при этом счёл долгом наказать за то, что не прислушиваются к его увещаниям — не взял их на обещавшую множество развлечений рыбалку.

Дорогой пожалел, было, что не взял, однако предчувствие шепнуло и совсем не по-доброму — мол, правильно сделал, нечего им здесь.

Никакой не было надобности заходить босиком в стылую воду и топтаться на сыром берегу. Но он потоптался. И скорее подумал, чем ощутил, что ему зябко. И вместо того, чтобы обуться, неурочно приложился к коньяку.

Подхватываться раза два за ночь по малой нужде вошло в привычку. Но вот какой-

то неуют и покальвание после того, как помочился, показались новостью. Покальвание не унималось и, спустя полчаса, снова выгнало его к кустам. Теперь возникло ощущение, что к небольшому количеству ушедшей жидкости примешалось что-то колючее.

Жжение нарастало. Он бегал и бегал к кустам, мечтая, опорожнившись, избавиться от него. Прихватив фонарик, разглядел, что из него вытекает нечто по цвету напоминающее грязный чай.

Под утро к резям прибавилась боль в правом яичке. Не хотелось ребятам портить выходные, он терпел.

Выпил, двигался, чтобы забыться, но чувствовал — что-то с ним скверное, небывало скверное. К вечеру субботы в паху болело так, словно его ударили ногой в самое чувствительное место. Разница заключалась в том, что после удара боль стихает, а эта лишь нарастала и нарастала. Он трогал рукой, замечая, что яичко увеличивается. Что-то, причиняя адское мучение, распирало, раздирало его изнутри. Когда яичко сделалось

31

величиною с кулак, Ягодка поднял тревогу.

Коротко и толково посоветовавшись, решили вызывать платную «скорую» непременно с урологом и первой необходимости лекарствами на борту. Назначить ей место встречи в каком-нибудь из посёлков, до которого она сможет добраться, и своего больного незамедлительно везти туда же.

Чтобы не нарваться на отнекивания медиков и исключить возможные их сомнения, присутствовавший в рыбацком стане первый заместитель мэра набрал руководителя соответствующей городской службы, и звонок врачам с изложением всех обстоятельств и требований последовал от него.

Молодой светловолосый крупный и начинающий полнеть доктор в отутюженной светло-синей стерильной робе и с такими же стерильно чистыми большими, но обленившимися руками показался каким-то нездешним, слишком уж отстранённым от несчастья и страданий Ягодки, одетого в походное, кое-как умытого и насквозь провонявшего дымом.

Когда, натянув перчатки, врач осматривал уродливо перекошенную, раздутую в один бок мошонку, от которой, как из эпицентра, волнами по всему телу расходилась боль, Ягодка, сгорбленный в кузове буса, помня о выпитом, деликатно дышал в сторону, но и осознал, что наполняет салон перегаром.

— Плохо, что вы выпивши, — посетовал доктор. — Не всё, что нужно бы, сможем уколоть. — И предложил помочиться в стандартный, с крышечкой, контейнер для анализов.

— Кто же знал... — заметил в своё оправдание больной и всё не мог расслабиться,

32

чтобы нацедить хоть сколько-нибудь в прозрачный стаканчик. Видя его затруднения, смуглая и иссушенная какой-то загнанной худобой медицинская сестра, по возрасту лет тридцати пяти — сорока, отверну-

лась в сторону водителя, тоже поглядывавшего на процедуры в зеркало.

— С этим бывают трудности? — словно нарочно не давая сосредоточиться, спросил доктор.

— Не было. Наоборот, всю ночь бегал каждые пять минут. Но там сам по себе, а тут на людях... Может, потом, когда само попросится? А я могу рассказать, какое. Тёмное, как заварка, и мутное.

— Вот и хотелось бы увидеть. Не помешало бы.

Он стоял, резко ссутулившись, из-за чего межрёберную мышцу рядом с сердцем прокололо судорогой. И, как предвестнику скорого облегчения, обрадовался острой рези, просигналившей, что раскрылось, пошло.

Стаканчик с тем, что вымучил из себя, неловко передал доктору и продолжал стоять, словно провинившийся школяр, не зная, можно ли поднимать штаны.

— Да, — неопределённо заключил врач и сделал жест, разрешающий одеться и сесть.

После укола и нескольких пилюль его уложили, и сестра наладила капельницу. Тронулись.

Путь предстоял неблизкий и по дороге изношенной, битой. Лёжа ехать было непривычно, на выбоинах ёкало внутри. Но где-то минут через двадцать он почувствовал, как боли притупляются, перестают разрывать его несчастную плоть. Ещё через какое-то время отпустило настолько, что захотелось вздремнуть.

33

Едва не сброшенный с лежанки толчком на очередной ямине, он понял, что спать не придётся, спросил:

— Как вас по имени-отчеству?

— Максим Владимирович.

— Спасибо, Максим Владимирович, заново на свет нарождаюсь.

— Отпускает понемногу?

— Боль совсем отпустила, а опухоль, пробую, ещё есть.

— Ну, опухоль — не сразу.

— А что это у меня?

— Похоже — простудили предстательную, с которой и без этого не всё было в порядке. Раньше имелись с ней проблемы?

— Да вроде как. Началось с желёз во рту. После них стали смотреть и там. Вроде как гиперплазия или что-то такое. Предложили резать — я не решился. Тогда массажи, свечи. Сказал ребятам — говорят,

опасно, можно до онкологии домассироваться. Ну, я и бросил.

— Ясно. Будем, конечно, ещё обследовать, но, скорее всего, и я предложу вам операцию.

— Резать?

— Нет, сейчас другая технология, называется — «Золотое сечение». Проникают через канал и как бы высасывают лишние ткани. Если бы тогда согласились, возможно, этого бы с вами не случилось.

— А как с функцией?

— С мужской? Конкретно надо будет с хирургами говорить. Чаще всего функция

34

восстанавливается. Но семя из яичек будет уходить в железу. Семени больше не увидите.

— И онкологии тоже не останется места гнёздышко свить? — обнадѣжился Ягодка.

— Ну, где-то так... — подтвердил доктор, хотя и несколько двояко.

— А сейчас вы меня — куда?

— Лучше бы всего в наш стационар. Уютно, тихо, хорошие палаты. Не так, чтобы дешёво, но...

— Дело не в оплате — оплату найдём. Но хочется домой, в свою берлогу. Какие пропишете уколы или капельницы — у меня сестра по соседству, которая всё по часам и в лучшем виде...

— В принципе, если вам получше... — не возражал Максим Владимирович. — Но с условием, что в понедельник утром вы у меня на приёме.

Когда приехали, Ягодка пригласил в дом. Там расплатился, подумав про себя, что тариф не сказать, что такой уж скромный, но и заметив, что сам бы он на своей машине да ещё с водителем и сестрой, которые тоже в доле, ни за что бы не попёрся среди ночи в такую даль за эти деньги.

Максим Владимирович выписал счёт с указанием диагноза и проделанных манипуляций и направление — к нему же в понедельник. А Ягодка в качестве гостинца на дорожку достал из серванта парадную бутылку, выбрал яблок из ящика в прихожей.

На приёме Максим Владимирович начал с внешнего осмотра. Опухоль, по наблюдениям больного, уменьшилась, но не очень .

— А нам точно удастся вернуть всё в норму? — нуждаясь в ободрении, спросил

35

Ягодка.

— Будем стараться.

— А если не получится?

— Зачем же заранее — о плохом?

— А всё-таки?

— Когда уже ничто не помогает, — удаляют, — пояснил Максим Владимирович, приглашая на кушетку при аппарате УЗИ.

— О, предстательная у вас не просто большая — огромная, — поделился увиденным.

Потом мучил, выжимая посев из железы. Выдавилась капля чего-то мутного, как гной. И отправил с посевом в лабораторию, предписав сделать несколько разных анализов крови и анализ мочи.

В течение полутора недель сестра ежедневно колола ему укол и ставила два вида капельниц. Ещё по часам он проглатывал несколько разных таблеток. Анализы, сданные повторно, показывали выздоровление, но опухоль в паху, хотя и заметно уменьшилась, полностью не ушла. И ощущение болезненности, если прикоснуться, оставалось.

Ягодка, держа в уме девчонок, с которыми посмеивались в прошедший четверг, обсуждая его болезнь и вместе осматривая пострадавшее место, спросил у доктора, не поспособствует ли выздоровлению осторожный во всех отношениях половой акт.

— Вы имеете в виду мастурбацию? — уточнил Максим Владимирович, давно осведомленный о семейном одиночестве пациента.

— Нет, у меня подружки, — возразил Ягодка и глянул встречно на ту самую «подвяленную» медсестру, поднявшую при этих его словах глаза. — Они бы

36

аккуратненько...

— В принципе не должно быть ничего плохого, — сказал врач. — Хотя я бы и повременил ещё немного. А на будущее, как бы вы ни доверяли партнёрам, но чтобы не занести в ослабленную железу инфекции, — обязательно с презервативом.

Никогда ещё не приходилось ему пользоваться предохраняющими средствами, но теперь, осознавая степень риска и тяжесть возможных

последствий, заглянул в аптеку. И, прикрывая смущение интонациями обыденности, купил.

— После операции будете возвращать меня к жизни! — балагурил в постели. — Целебнее вас нет ничего на свете!

Вопреки ожиданиям, процедура облачения его прихворнувшего рыцаря ничуть не повредила прелюдии. Напротив — она оказалась обворожительной игрой, заботливым

ухаживанием нежных женских ручек. И даже то, что он по неопытности промахнулся с размером, — даже и это сделалось дополнительной забавой. Годящийся разве что в напальчники латексный доспех, скатанный колечком, никак не нахлобучивался на боевитого малого Ягодку, и Ягодка большой, похохотав над собственным промахом, объявил старательным партнёрам:

— Так, тяните на спичках, кому из вас бежать в аптеку!

Подготовку к плановому вмешательству в его организм повели ещё до полного исчезновения опухоли. Максим Владимирович убрал из перечня лекарств антибиотики, мотивируя тем, что после операции потребуется усиленный их курс и сейчас не следует

37

длительным приёмом снижать восприимчивость к ним.

Снова для нескольких различных анализов Ягодка сдавал кровь, делал УЗИ, компьютерную томографию. И в той же платной клинике по направлению Максима Владимировича посетил кардиолога.

Молодая миловидная женщина, которая, впрочем, по возрасту, увы, уже не подошла бы избалованному Ягодке в любовницы, уложила его на кушетку для снятия кардиограммы.

— Каким вы молодцом! — воскликнула одобрительно, размещая присоски на его груди и боках. Она имела в виду собранность мышц и свежесть его кожи.

— Сердце у вас дай бог каждому, — подвела итог, сворачивая испещрённую ломаными линиями бумажную ленту гармошкой, чтобы вклеить в историю болезни. — Ничего, что могло бы препятствовать операции, не нахожу. Но... — и она посмотрела с симпатией, которой успела проникнуться к бойко, весело и молодо глядящему пациенту, разменявшему девятый десяток. — Зачем она вам? У вас настолько затруднено мочеиспускание?

— Не то чтобы затруднено, а бегаю часто.

— Сколько раз встаёте ночью?

— Раза два в среднем.

— Ну, это ещё не критично. И вот последнее УЗИ показывает полное опорожнение пузыря. Зачем вмешательство? В чём причина?

— Я простудился на рыбалке, и меня так ударило из дряхлой железы в яичко, что только держись!

— И вы думаете, что после вмешательства вам подобное перестанет угрожать? Вы

38

ошибаетесь. Скорее всего, окажется как раз наоборот.

— Да? — произнёс Ягодка с сомнением.

— Да.

— А ещё не хочется дожидаться онкологии.

— Нет никакой статистики, утверждающей, что после операции данный риск уменьшается. Я пропишу вам лекарство, которое приостановит разрастание железы. Принимать его будете регулярно и уже навсегда, но это, думаю, лучше, чем вырывать из себя кусками часть собственного органа. У меня папа уже двадцать лет благополучно живёт с этим препаратом.

— И мужские дела тоже сохраняются?

— В крайнем случае, не становятся от него хуже.

— Вот! — принял Ягодка последнее неоспоримым аргументом. — А то ведь после операции — бабушка надвое гадала!

С улыбкой, плутовато подметившей, что для этого, перевалившего за восемьдесят молодого человека является наиважнейшим, доктор углубилась в оформление своих рекомендаций.

— Вы послушали то, что вам хотелось услышать, и теперь она для вас авторитет, а я — пустомеля? — едва сдерживая раздражение, проговорил Максим Владимирович, глядя сквозь экран своего компьютера в некую точку, вызывающую в нём неприязнь.

— Ну что вы! — поспешил Ягодка. — Зачем же так-то?!

— А как ещё? Я, специалист, готовлю вас к операции, а она рассказывает, как лечат её папу! А размер железы у её папы она уточнила? Ведь у вас пятикратное превышение

39

допустимой величины! В любую минуту могут наглухо перекрыться мочеточники, и тогда на «скорой» примчитесь в больницу и без всякой подготовки и неизвестно в чьих руках окажетесь на операционном сто-

ле! И это ещё в лучшем случае. Потому что по закону подлости прихватывает в самый неподходящий момент. Вы, например, можете оказаться где-нибудь в лесу, куда ни врач, ни машина...

Ягодка слушал, и что-то в недовольстве доктора, в его взвинченности подсказывало, что с ним не следует соглашаться. Но и рассориться с человеком, который его выходил и которого можно вызвать в случае обострения и на дом, и за город, тоже никак не хотелось.

— Но поймите, — мямлил он, — трудно так вот взять и решиться, когда не знаешь, как оно лучше...

Это влияние пациента окончательно разозлило Максима Владимировича.

— А вам не надо знать, вам надо верить своему доктору! — оборвал он и со стиснутыми зубами принялся заполнять распечатанный листок.

Рыжеватые волоски на его фалангах лоснились, поплёскивая в солнечном луче, и словно бы заодно с уязвлённым доктором укоряя изменника Ягодку. Нечто похожее угадывалось и в облике сестры, тоже углубившейся в бумагу.

— Так вы отказываетесь от плановой операции? — откровенно запугивая интонациями, с вызовом бросил Максим Владимирович, закончив оформление листка. И этим выручил Ягодку, никогда не позволявшего себе показать, что струсил.

— Отказываюсь, — сказал тот подчёркнуто безразлично.

— Значит, так и напишите. Здесь вот, внизу.

40

Буквы легли нестройно, и в слове плановой, кажется, что-то напугалось, но он какими-то новыми глазами увидел вдруг свои руки и что-то тревожное и жалеющее почувствовал к себе. Наибольшее число признаков старения обустроилось почему-то на его руках — смуглых, словно бы подкоптившихся у костров, шершавых, тронутых цыпками, с похожей на бумагу «кальку» отслоившейся от плоти кожей и с ногтями, напоминающими когти — такими же тёмно-серыми и утолщено выпуклыми.

Душевный разлад, смутное ощущение утраты и безвозвратности чего-то зародилось не от слов задетого за живое доктора, а именно оттого, что разглядел свои руки. По дороге домой это настроение неприкаянности усугубилось предчувствием чего-то нехорошего, которое так и кольнуло, когда вставил ключ в замок на калитке и обнаружил, что замок открыт.

Забыл закрыть? Нет, закрывал, помнит. Или уже и башка начинает пошаливать?

— Папа! — бросив дверь нараспашку и с опаской пожилой женщины спускаясь с крыльца, навстречу спешила дочь. Она улыбалась морщинистым лицом, а в глазах,

усталых и воспалённых, не было радости. В них было что-то выведывающее и острое, похожее на щуп у пришедших с обыском.

Поцеловала, обдав подкисшим дыханием, а он подумал, что послезавтра четверг и непременно надо успеть выпроводить. А ещё с унынием и неприязнью отметил, что его дочь — старуха. И старуха, похоже, — злая.

— Ты это чего вдруг? — спросил настороженно.

— А — нельзя? — без заминки откликнулась она, спесиво поджав губы. И

41

развернулась, зашагала в дом, умудряясь, подволакивая ногу, ступать хозяйкой.

— Одна? — спросил он, сходя в уборную и, проходя коридором, с облегчением убедившись, что больше в доме никого.

— Одна.

— А каким ветром?

— Ты гуляешь — за тобой и ветры хвостом, — выложила она с атакующим намёком.

— Что-то не припомню, чтобы я когда-то у кого разрешения спрашивал!

— Папа! — прикрикнула она голоском командирши, который отковался и окреп в домашнем её самоуправстве.

— Ты не путаешь, милая, не забываешься?

— Папа! — повторила тусовато, но капризно.

Согрела чай, потчевала привезённым сладким пирогом.

Он давно избегал сладкого, да и пирог был пересушенный, пригревший. «Жизнь прожила, а так и не научилась...» — подумал, как о собственном промахе и своей неудаче.

— У тебя так чистенько и всё на месте...

— Привычка.

— Да? А мне почудилось — не женские ли ручки?..

— А если и женские — то что?

— Папа!

— Ещё раз так «папнешь» — и вылетишь отсюда перепёлкой!

Разыгрывая обиженную девочку, она скривилась и явила натужные слёзы.

— Мне соседки наши уже который год наперебой...

42

— Наши — это чьи?

— Здешние наши.

— А, мои.

— ... Что к тебе, мол, то оборванки какие-то сопливые, а потом они же уже и беременные, и родившие...

— Предположим. И что?

— Как — что?! — ужаснулась она праведно.

— Вот так вот: ЧТО?!

Она обомлела:

— Ты хочешь сказать, что и дети от тебя?..

— А если и от меня?

За это она ухватилась, как за ниточку, которую долго выискивала.

— Но это же обман! Тебя водят за нос!

— Доченька, — ухмыльнулся он, — иногда бывает и это приятно.

Кто водит, как, какими ручками...

— Папа, ну как ты не понимаешь, что ты им не нужен, что им...

— Глазастая ты у меня! Из Киева — разглядела!

— Да что же тут разглядывать! Ведь ясно, как день!

— А мне — не очень. Предположим, им я не нужен. А кому нужен?

Тебе?

— Да, у тебя я, и внучка, и правнучка!

— И как я вам нужен? В каком качестве?

— Мы всё продумали. Одному тебе плохо. Но при твоём характере ты с нами со

43

всеми не уживёшься. Зато у нас домик на дачном участке, ты там поселишься, мы будем приезжать...

— Я?

— Ты.

— Собачкой у вас на участке?

— Почему — собачкой? Какой собачкой? А здесь — разве не то же самое?

— Я всегда, доченька, знал, что ты дура, но что до такой степени...

Ефрейторское «Папа!» настойчиво попросилось из неё — она чудом сдержалась.

— А что, что не так? — спросила с наигранной покладистостью.

— Нужен тебе не я, а мой дом и мои сбережения. Как ты уверена, что это же нужно и ИМ. Так я тебя успокою: не суетись, ничего тебе не достанется. Всё это я давно им отдал. Причём с оформлением таких бумаг, что после моей кончины ни один суд у тебя даже не примет к рассмотрению бумаг с претензией на моё имущество.

— Ты что — на них женился? — охнула она, выдавая опасение, явно ими обсуждавшееся.

— Сразу на двоих? — гоготнул Ягодка. — Нет, я сделал сильнее и для тебя значительно хуже. У меня с ними договор по уходу за престарелым человеком с правом наследования. Так что не мылься, бриться не будешь!

По назначению Максима Владимировича Ягодка каждые четыре месяца сдавал кровь для онкомаркеров. На этот раз забегался, и об анализе вспомнил месяцев через семь. Получив результаты, заглянул в таблицу. В первой строчке в траурном прямоугольнике

44

стояло — 15,2, а правее, в графе «Диапазон нормы» было написано: больше 25.

— Доигрался! — сказал себе Ягодка, вспомнив, как настойчиво склонял его к операции Максим Владимирович.

«А что теперь? — подумал. — Теперь все радости дождавшегося рака?»

— Не стоит раньше времени падать в обморок! — успокоил доктор. — Эта лаборатория несколько завышает норму. А мы считаем приемлемым больше десяти. Поэтому онкологии тут пока ещё нет, и ещё не поздно провести операцию, которую я рекомендовал.

У Ягодки — как камень с души. Только с этим он и обращался к высшим силам, коротая время в очереди к врачу, — чтобы не оказалось поздно. Теперь уж он, напуганный, готов был, задрав штаны, бежать к хирургам. Ужасной и отвратительной представлялась мучительная кончина от опухоли, не дающей опорожниться.

Заново прошли все необходимые анализы. Та же милая кардиолог, посчитав, наверное, что всё уже сказано, на этот раз не стала его отговаривать — выдала

положительное заключение.

— К кому вы меня направите? — поинтересовался Ягодка. — У меня кое-кто в знакомцах...

— Я помню! — с уважительной улыбкой отвечал Максим Владимирович, убоготоренный полным послушанием пациента. — А направить вас думаю в университетскую клинику к профессору, лучше которого не найти и с помощью ваших

45

связей. Он беженец из Донецка. Горе, конечно, но нам — специалист от Бога.

Ведомственную больницу, принадлежавшую гиганту оборонки, по случаю безвозвратного упадка предприятия передали медицинскому вузу. Потемневшее с годами панельное здание в восемь этажей, шлифованные полы холла из бетона, заполненного мраморной крошкой, истоптанный до дыр линолеум на днище лифта... Ушедшая эпоха. Но в палисаднике у парадного входа, и в холле, и у лифта — вереницами, кружками, группками, парами — юная поросль страны. «Что им здесь? Медосмотр?» — подумал Ягодка. Но по обрывкам услышанного смекнул, что здесь они учатся, и осматривать, пожалуй, станут его.

У кабинета профессора двое ожидающих — унылые позы явных товарищей по несчастью. Он занял очередь и с живостью, неистребимой в его натуре, огляделся. По приметам в лице и фигуре, которые трудно определить словом, но которые ясно прочитываются, а также по халату, не столь свежему, как у неприкасаемого высшего звена, угадал стру-хозяйку и остановил улыбкой, посланной из глаз в глаза.

— Скажите, а платные палаты у вас имеются?

Так же скоро, как это случилось бы с отражением в зеркале, его улыбка

повторилась на её лице.

— Конечно!

— А можно — краешком глаза?

— Почему бы и нет!

Заглянули в узкую комнатку с каморкой туалета у входа. Как что-то давнишнее,

неизбыточное — синие, масляной краской, панели с тёмной риской, отделяющей от побелки, железная койка, чистота, достигнутая при помощи тряпки. Из нового — небольшой приподнятый на кронштейне телевизор.

«Сойдёт!» — заметил про себя Ягодка в надежде долго здесь не залёживаться.

Сухой, высокий, лет сорока с небольшим профессор в небрежно брошенном куцеме ему халате и с горечью неустроенности во взгляде, пролистав собранные в прозрачных корочках бумаги, отправил на УЗИ.

Судя по фамилии и возрасту, Ягодка предположил, что на видящем внутренности аппарате смотрела его супруга профессора.

— Пузырь освободился полностью! — сгоняв предварительно Ягодку в уборную, отметила она как что-то для него и для неё весьма и весьма положительное. И, записав помимо этого данные о размере, плотности и ещё о чём-то, отпустила пациента вновь к хирургу.

— Что я вам скажу? — заметил тот, испытав, как показалось Ягодке некое избавление от излишней заботы. — Операцию вам можно оправдать только одним обстоятельством — что я заработаю на вас деньги. Никаких других поводов к операции я не вижу.

— А как же мой уролог уверяет...

На замечание об урологе никакой реакции не последовало. В пять-шесть линий уверенной рукой хозяин кабинета схематически изобразил на бумаге пузырь, исток из него и сидящую поверх истока железу.

— Мы проникаем отсюда и буквально выкусываем те части железы, которые мешают протоку. Теперь представьте, что нетронутая железа живёт в своей оболочке. И

всякое нездоровье, возможное в ней, изолировано этой оболочкой. Но мы это вскрываем и

всю заразу выпускаем гулять по организму. Мало того — пока это место не заживёт, и не образуется новое покрытие, моча непосредственно контактирует с раной. То есть все нехорошие вещи, какие только можно предположить, получают дополнительный шанс пробраться в железу.

— И онкология?

— Конечно! Где чаще всего возникают опухоли? В травмированных местах. Скажу коротко: единственная проблема, которую решает операция — это проток мочи. Всё! Во всём остальном только вред. Поэто-

му, какого размера ни была бы железа, если моча проходит, а у вас она выходит полностью, хирургически вмешиваться не следует. Вот вам международно разработанная таблица с вычислением баллов по каждому из признаков. Например, сколько раз вы встаёте ночью?

— Примерно раза два.

— Значит — два бала.

— Всего тут несколько признаков. У вас, по всей вероятности, может набраться бала четыре, максимум — пять. А операция показана только, когда набирается не меньше девятнадцати баллов. Поэтому принимайте регулярно препарат, который вам прописан, живите и радуйтесь жизни. Но: раз в квартал к нам на УЗИ. И так же кровь на онкомаркер. В анализах вам тут первую цифру в рамку взяли, но этот показатель менее важен. Следите за цифрой второй. Пока у вас с ней всё нормально. Но если, паче чаяния, полезет выше семи, — немедленно ко мне. Всё. Адрес теперь знаете, в случае чего — поможем.

Счастливый Ягодка на ощупь отделил в кармане бумажку в пятьсот гривен и,

48

сопровождая словами благодарности, продвинул её по столу ближе к профессору. Тот взял деньги, решительно впечатал их в ладонь пациента, сказал:

— За консультации платы не беру!

Ягодка отчего-то растрогался и, бормоча: «Спасибо! Спасибо!» — задком, задком отступил из кабинета.

Пожалуй, ему было бы привычнее, комфортней на душе, возьми профессор деньги. Но то, что не взял, пронимало отчего-то едва не до слёз. И как понятно, как ясно и однозначно всё то, что у Максима Владимировича гадалось, как на кофейной гуще. Он, Максимка, не знал, что операция во вред? А тот корифей из восемнадцатой, с его массажами и уговорами резать ещё тогда? И если бы жутким несчастьем не занесло бы человека из Донецка... Или бы Максимка — что, споткнувшись на нём, и станет делать со всеми следующими — направил не сюда, а в ту же восемнадцатую?.. И как наезжал, как запугивал! Зачем? Ему откатывают за присланных? Сколько? Сто долларов с операции, двести? Двести вряд ли, скорее — около ста. Да, за сто вонючих баксов... Вот они где — браконьеры!

Жизнь очень скоро вошла в привычные берега. Ягодка глотал пилюлю, сдавал время от времени кровь, подсчитывал механически, сколько раз пришлось подхватиться

за ночь. Но он не думал о своей болезни как о чём-то угрожающем жизни. Примечал, что после четверга железа, которую умело и ласково заставляли потрудиться девчонки, подбиралась, отворяя краник пошире. И жалел, что опасно её перенапрягать, что нельзя встречаться чаще.

Чувствовал себя не хуже прежнего, уставал в охотничьих переходах, как это

49

бывало и всегда, последним. Одна только тревожащая неприятность исподволь подобралась к нему. На больших пальцах рук у него повдоль треснули ногти и раздвоились, сделавшись похожими на копытца. А он ещё в детстве слышал от кого-то, что это признак близкой смерти.

И вот в четверг ощутил небывалую, радостную бодрость. И заболтался под накативший невесть откуда стих в постели с малышками. Беззаботно, легко говорил об этих своих копытцах и что они означают. Заметил между делом, что предпочёл бы быть сожжённым в крематории.

— Как-то оно не по-нашему, — не одобрили близняшки.

— Нет, — возражал, — дымок из крематория пахнет шашлычком. Не хочу вонять в земле, хочу уйти под запах пирушки. И вы уж, как отброшу копыта, уважьте старика, сделайте, как прошу.

— Трахается за троих молодых, а туда же! — посмеялась Вита.

— А почему мы? — спросила Лариска. — Разве нам позволят командовать?

— Позволять или не позволять будете вы.

— Как это?

— Объясню. И пепел не хороните, пепел развейте у лесного озера, пацаны в курсе,

где. Когда захочется поведать — приезжайте, я буду там. А пацаны о вас знают. И что оставляю вам всё, тоже знают. Ну-ка, подъём! Подъём, подъём!

Поднялись. Он влез в байковую — подарок друзей — пижаму, они — в его ношенные футболки, в которых — на голое тельце — привыкли шастать у него по дому, а в жару и по саду.

— Вот, — выдвинув ящик стола показал список имён и телефонов. — Контакты всех наших. Оповестите, если что.

Потом повёл в кладовую, оттуда в дальний угол веранды, к доске, которая вынималась в подшивке сбоку крыльца. Показал тайники, где прятал деньги, наставляя:

— Если вдруг что внезапное, взяли список ребят, и дальше держите его при себе, пригодится. Потом собрали все деньги и одна ушла с ними, заныкала дома, а вторая звонит в полицию и «скорую». И пацанам.

— Ну и разговор вы завели!

— Когда-то нужно. Начали — значит, слушайте. Дом ваш. Железно ваш. Что бы кто ни заявлял — всех нахрен! В списке ребят — нотариус, там подчёркнуто. Свяжетесь и подпишите у него две давно готовых бумаги. Где бы ни возник вопрос — вы ухаживали за мной все эти годы. Понятно?

— А что, мы не ухаживали? — слукавила Лариска.

— Вот и я говорю — ухаживали. Всё делали по дому, кормили, поили. Теперь сюда, — повёл к навесному шкафчику на кухне. — Дверцу открыли, сдвинули банки с крупой. Видите краник? Пробуй повернуть! Своей рукой пробуй! Не в ту, в обратную сторону! Вот. Это газ пошёл мимо счётчика. Как куда выходите или кто позвонил — кран на место и всё шито-крыто. Усекли? Умницы. Теперь айда на чердак!

Дюралевую лестницу на тягах с шарнирами отвёл от стены, нацелил на люк в потолке. Бойко, как юнга, вскарабкался вверх, макушкой толкнул обшитую снизу мягким откидную дверцу.

— Не бойтесь так открывать, — пояснял девчонкам. — Тут амортизаторы поставлены,

само уходит.

Наверху их, осторожно ступающих по зыбучей керамзитовой отсыпке, привычно подталкивал под нежные попки. Показал припрятанный у стропил переключатель, ворующий электричество.

— Ух ты! — заинтересованно разглядывая, поднялась на цыпочки Лариска, а он, снизу пробравшись лапой под футболку, гладил голенький её бочок.

— Там кто-то живой! — прошептала Виктория, указывая на картонную коробку из-под какой-то кухонной техники. Она и вправду пошевеливалась и чем-то скреблась и шелестела внутри.

Подойдя, пугливо приподняла картонную закрывашку и, словно ужаленная, отдернула руку.

— Осы! Ну, я их!.. — и, на цыпочках отступив, юркнула в прорезь люка.

А Лариска, отзывчивая на ласку, прильнула к Ягодке, обвила тонкими руками его шею и, замерев, таяла под его поглаживаниями.

Тем временем Вика уже взбиралась обратно, держа выше и впереди себя чайник. Когда она нацелилась носиком в опять приоткрытую коробку, Ягодка одёрнул:

— Куда кипятком, глупая?! Их только дихлофосом!

Но струя уже барабанила по пустотам внутри и шипела, обливая нечто пористое.

Тут из коробки, словно подброшенные пружиной, взвились и замерли на полутораметровой высоте несколько ос. С нарастающим гудением они, как истребители на палубе авианосца набирают тягу, разгоняли крылья, но оставались абсолютно неподвижными, словно прикованными к месту. Это было завораживающе жутко. Первой

52

вышла из оцепенения Вика и, уронив чайник, кинулась наутёк.

Осы, будто управляемые одним механизмом, все разом развернулись, нацелившись теперь на Ягодку с Лариской, и одна из них, сорвавшись первой, со скоростью запущенного из рогатки чугунка выстрелила собою Ягодке в лицо. Он чудом успел увернуться, и оса звучным шлепком вляпалась точно Лариске в лоб.

Здесь они опомнились и, согнувшись в три погибели, почти на четвереньках дали дёру. Кубарем она слетела по лестнице, он, захлопнув ляду, соскользнул следом.

Витка хохотала, как подорванная, Лариска, слезливо скривившись, ощупывала место укуса.

Ягодка поманил её к свету, чтобы оценить ущерб и определиться с помощью. В комнате опустился на край кровати, усадил её рядом.

— А это не осы — пчёлы, дикарки, — проговорил он и поднял, было, руки к напухающей шишке, чтобы выдавить и вынуть жало, как тут откуда-то изнутри затылок его обдало чем-то раскалённым.

Через секунду или две он почувствовал подступающую тошноту и с удивлением слышал своё сердце, которого никогда не замечал. А вот услышал — оно остановилось. И грудь не могла дышать. Где-то отнялось или лопнуло нечто управляющее всем этим. Он ясно это чувст-

вовал. И с хитринкой умудрившегося обмануть кого-то беспредельно властного, с настроением всех обыгравшего подумал, что успел. Успел!



СОДЕРЖАНИЕ

Александр ВИН ДВА БРАТА и «КРАСНАЯ РОЗА»	3
Евгений Савченко «НАПОЛЕОН И ФЕДЯ»	9
Сергей Калабухин АННА И ЕЁ МУЖЬЯ	21
Георгий Кулишкин СЕРГЕЙ	35
Сергей Игнатьев ПОТЕШНИК	51
Павел Рыков СТИХИ: ВАНЬКА-ЦАРЬ. ПОЖАР В МОСКВЕ.	65
Алексей Караванов БЕЗ ПРОДОЛЖЕНИЯ	75
Дарья Странник РОГАТАЯ ПРОБЛЕМА	79
Игорь Книга БУДЕТ ВОЙНА	87
Илья Цой МАВКА КУНСУНСКИЙ ВОЛКОДАВ	93 104

Игорь Бёзрук	
КОГДА К ТЕБЕ ПРИХОДЯТ СНЫ	115
НОЧЬ В ЛЕСУ	121
ОТДАЙ МОИ ЦВЕТЫ, ДЕВОЧКА!	125
«НИ ДВА, НИ ПОЛТОРА»	130
Эрих фон Нефф	
СТИХИ	135
Карен Миро (Karen Mireau)	
СТИХИ	138
Вячеслав Кушнир	
СТИХИ	143
Дмитрий Учитель	
СТИХИ	155
Яков Курдяпин	
PAROLIMANIA	158
БЕСПОЛЕЗНОЕ ИСКОПАЕМОЕ	161
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ (С КОНФИСКАЦИЕЙ)	163
ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ	165
СТАРЫЙ ЧЁРТ	166
ЧЕРТОВЩИНА	168
РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ	170
Вадим Волобуев	
КОНГРЕСС	172
Тимофей Николайцев	
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ СМЕЩЕНИЯ	205
Георгий Кулишкин	
ВЕЗУНЧИК	281

**Литературный
альманах
«Без цензуры»
UNZENSERT № 71**

**ЛИТО
«Edita Gelsen»**

edita gelsen

logobo2023@gmail.com
ISBN 978-3-910935-40-2

